

Э. Герштейн



СУДЬБА
ЛЕРМОНТОВА





Э. Герштейн

СУДЬБА
ЛЕРМОНТОВА



Издание второе,
исправленное
и дополненное



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1986

ББК 83.3Р1
Г42

Рецензент канд. филолог. наук
В. ВАЦУРО

Оформление художника
Р. ВЕЙЛЕРТА

Герштейн Э: Г.
Г42 Судьба Лермонтова. 2-е изд. испр. и доп. — М.:
Худож. лит., 1986. — 351 с.

Эта книга посвящена судьбе и творчеству М. Ю. Лермонтова в последний, самый значительный период его жизни (1838—1841). На основании многолетних архивных изысканий автор знакомит читателя с центральными проблемами социальной биографии поэта, с его друзьями и врагами, с общественным бытом той эпохи, проясняет взаимоотношения Лермонтова с двором, со светским обществом, с оппозиционным кружком аристократической молодежи («Кружок шестнадцати»). Автору удалось также показать совокупность социальных причин, приведших поэта к его трагической гибели.

Второе издание книги дополнено новыми материалами, особенно это относится к главам «Кружок шестнадцати» и «Дуэль и смерть».

Г $\frac{4603010101-048}{028(01)-86}$ 200-86

ББК 83.3Р1

© С изменениями и дополнениями. Издательство «Художественная литература», 1986 г.

Эта книга посвящена узловым проблемам биографии Лермонтова в последний период его короткой жизни (1837—1841 годы). Политическая биография Лермонтова началась с того дня, как передовое демократическое общество признало его своим глашатаем за стихи на смерть Пушкина. Общеизвестно, что за эти стихи Лермонтов был арестован, судим и выслан на Кавказ. Однако не прошло и года, как он был прощен и возвращен в императорскую гвардию, вначале в отдаленный от столицы Гродненский лейб-гусарский полк, а вскоре и в прежний лейб-гусарский, расквартированный в Царском Селе. Приближать ко двору «подозрительных» лиц, чтобы держать их под своим пристальным наблюдением, было излюбленным приемом царя Николая I. Лермонтов, как и Пушкин, был «милостью окован».

Перевод в гвардию не обрадовал его. Он сразу же принял решение выйти в отставку, но родственники воспротивились этому, особенно воспитавшая его бабушка Е. А. Арсеньева. «Надо же ей чем-нибудь пожертвовать», — признавался Лермонтов и остался в полку.

Первые два года он продвигался по службе наравне с другими молодыми офицерами. Но главной ареной его деятельности стала литература. Ведущий сотрудник передового журнала «Отечественные записки», Лермонтов написал за это время свои основные произведения, составляющие его славу: «Демона» и «Героя нашего времени», «Песню про купца Калашникова» и «Сказку для детей», «Думу», «Поэта»...

В то время как роман Лермонтова печатался в типографии, автор его был вторично арестован за дуэль с сыном французского посланника. С этого дня началась вторая, а через год и третья волна явных гонений на поэта. Суровость приговора за дуэль, окончившуюся бескровно, поразила современников. Лермонтов был переведен в пехотный армейский полк и направлен в самый опасный

пункт военной экспедиции на Кавказе. Затем царь систематически отказывал ему в воинских наградах. В 1841 году не пустил в отставку, несмотря на настоятельные просьбы влиятельных лиц.

Так же, как и после смерти Пушкина, общество разделилось на две партии. Одни утверждали, что главной причиной преследований Лермонтова царем были стихи на смерть Пушкина, предрешившие его участь. Эта партия, к которой принадлежали и демократический читатель, и рядовое офицерство, не верили также в случайность гибели Лермонтова на дуэли с Мартыновым, подозревая, что самый поединок был инспирирован властями. Другая партия усиленно распространяла слухи о невыносимом характере Лермонтова, о его возмутительных выходках и неизвинительных проступках. В подспудных рассказах фигурировало таинственное приключение в маскарade, где Лермонтов будто бы оскорбил дам, принадлежавших царскому семейству. Перечитывалась и смаковалась повесть В. А. Соллогуба «Большой свет», где под вымышленным именем издевательски изображен Лермонтов. По свидетельству самого автора, эта повесть была «написана по заказу великой княгини Марии Николаевны» — старшей дочери Николая I. Автор первой обстоятельной биографии Лермонтова, П. А. Висковатов, указывал на связь этих двух эпизодов со стихотворением Лермонтова «1-е января», с его гневной заключительной строфой, адресованной всему петербургскому великосветскому обществу. К этим неподтвержденным сведениям примыкает глухой рассказ Висковатова о вмешательстве поэта в «интимную жизнь» двора, выразившемся в спасении некоей знатной дамы от любовных притязаний «августейшей» персоны. А уже в нашем веке внимание историков литературы было обращено на «кружок шестнадцати», к которому, безусловно, принадлежал Лермонтов, но о котором решительно ничего положительного не было известно.

Изучению перечисленных вопросов были посвящены многолетние разыскания автора настоящей книги. Многое удалось прояснить и уточнить, многое узнать впервые, благодаря привлечению больших пластов неизданных материалов, хранящихся в советских государственных архивах. Из крупных единиц хранения, впервые использованных в этой книге, отмечу: анонимные воспоминания князя М. Б. Лобанова-Ростовского (Государственный Исторический музей), письма П. А. Вяземского к жене

за 1839—1840 годы (Центральный государственный архив литературы и искусства), письма Вяземского же к Э. К. Мусиной-Пушкиной (Центральный государственный архив древних актов), переписку и дневник жены Николая I — императрицы Александры Федоровны (Центральный государственный архив Октябрьской революции), неизвестные страницы дневника М. А. Корфа (там же), неизвестные записи о Лермонтове в дневнике А. И. Тургенева (Пушкинский Дом), личные документы и послужные списки членов «кружка шестнадцати» (Центральный государственный военно-исторический архив и Центральный государственный исторический архив в Ленинграде), неизданную статью А. В. Дружинина о Лермонтове и Руфине Дорохове (Центральный государственный архив литературы и искусства).

Решение поставленных задач обусловило композицию книги. Она состоит из отдельных исследований, рассматривающих судьбу Лермонтова в разных ракурсах. Внутри каждой главы соблюдается хронологический принцип, в большинстве случаев доводящий изложение до трагического конца Лермонтова. Таким образом, история дуэли и смерти поэта рассматривается в разных аспектах на протяжении почти всей книги. В заключительной главе дается критический анализ ходячей версии о причинах дуэли и устанавливается психологический рисунок поведения Лермонтова на месте поединка. К разработке этой темы привлечен материал из художественных произведений Достоевского.

Второе издание «Судьбы Лермонтова» пересмотрено с учетом новых данных, опубликованных в последние годы в советской печати. Основательной переработке подверглась глава «Лермонтов и двор», в которой дано новое толкование стихотворения «1-е января» («Как часто, пестрою толпою окружен...»).

Хочу назвать здесь всех тех, кто в свое время помогал мне в работе над этой книгой своими советами. Это — А. А. Ахматова, М. Г. Ашукина-Зенгер, О. Г. Шереметева, И. Л. Андроников, И. Л. Фейнберг, Н. И. Харджиев и Б. М. Эйхенбаум, на протяжении многих лет делившиеся со мной своими знаниями и опытом.

16 февраля 1840 года на балу у графини Лаваль, в ее особняке на Английской набережной в Петербурге, произошла ссора Лермонтова с Эрнестом Барантом, сыном французского посланника при дворе Николая I.

Согласно официальным показаниям Лермонтова, между ним и его противником произошел следующий диалог:

Барант. Правда ли, что в разговоре с известной особой вы говорили на мой счет невыгодные вещи?

Лермонтов. Я никому не говорил о вас ничего предосудительного.

Барант. Все-таки если переданные мне сплетни верны, то вы поступили весьма дурно.

Лермонтов. Выговоры и советы не принимаю и нахожу ваше поведение весьма смешным и дерзким.

Барант. Если бы я был в своем отечестве, то знал бы, как кончить это дело.

Лермонтов. В России следуют правилам чести так же строго, как и везде, и мы меньше других позволяем оскорблять себя безнаказанно.

Барант вызвал Лермонтова.

Дуэль состоялась 18 февраля за Черною речкою, на Парголовской дороге. Секундантом со стороны Лермонтова был А. А. Столыпин (Монго), со стороны Баранта — приехавший недавно в Петербург с ученой экспедицией виконт Рауль д'Англес. Дуэль происходила на шпагах. После первого же выпада у шпаги Лермонтова переломился конец, и Барант успел слегка задеть противника. Наступила очередь пистолетов. Барант стрелял первым и промахнулся. После этого Лермонтов выстрелил в сторону. Дуэль окончилась бескровно, участники ее разошлись.

В начале марта городские слухи о поединке дошли до начальства. 11 марта Лермонтов был арестован и предан военному суду за «недонесение о дуэли». Секундант его оставался на свободе. Тогда Монго-Столыпин сам явился с повинной к шефу жандармов, 15 марта его арестовали.

Барант не был привлечен к суду, однако ему стало известно содержание официальных ответов Лермонтова. Он обиделся. Барант отрицал, что Лермонтов стрелял в сторону, и выражал свое негодование в обществе. Друзья рассказали Лермонтову о поведении Баранта, и 22 марта арестованный Лермонтов пригласил своего недавнего противника к себе на Арсенальную гауптвахту для объяснений. О разговоре их мы узнаем из показаний Лермонтова:

«Я спросил его: правда ли, что он недоволен моим показанием? Он отвечал: «Точно, и не знаю, почему вы говорите, что стреляли не целя на воздух». Тогда я отвечал, что говорил это по двум причинам. Во-первых, потому, что это правда, во-вторых, потому, что я не вижу нужды скрывать вещь, которая не должна быть ему неприятна, а мне может служить в пользу; но что если он недоволен этим моим объяснением, то когда я буду освобожден и когда он возвратится, то я готов буду вторично с ним стреляться, если он этого пожелает. После сего г. Барант, отвечав мне, что он драться не желает, ибо совершенно удовлетворен моим объяснением, уехал»¹.

За это тайное свидание суд дополнительно обвинил Лермонтова в попытке вызвать Баранта на дуэль повторно.

По «высочайшей конфирмации» от 13 апреля 1840 года Лермонтов был снова переведен на Кавказ, в Тенгинский пехотный полк.

Туда же был отправлен и Монго-Столыпин, назначенный, однако, не в пехотный полк, как Лермонтов, а в блестящий Нижегородский драгунский.

После свидания с Лермонтовым Барант уехал во Францию. Тем не менее шеф жандармов Бенкендорф потребовал от Лермонтова, чтобы он послал Баранту письмо, в котором признал бы свое показание на суде лживым. 29 апреля Лермонтов обратился к великому князю Михаилу Павловичу с просьбой защитить его от этого оскорбительного требования Бенкендорфа. Просьба была доложена Николаю, но никакой «высочайшей» резолюции не последовало. Не написав извинительного письма,

Лермонтов отправился на Кавказ через Москву. Он выехал из Петербурга в самых первых числах мая.

Таковы общезвестные факты. Между тем за этими фактами стояли другие, повлиявшие и на возникновение ссоры, и на тяжелый для Лермонтова исход судебного дела.

2

Тотчас после ареста Лермонтова по городу поползли разноречивые слухи. Говорили, что дуэль была проявлением характерного для Лермонтова светского удалства, результатом «салонного волокитства», любви его к «шумной жизни». Многие считали, что поединок произошел вследствие его «заносчивого характера».

Виновницей дуэли молва называла княгиню Марию Алексеевну Щербатову, урожденную Шгерич.

«Он влюбился во вдову, княгиню Щербатову, за которой волочился сын французского посла», — занес в свои «Памятные заметки» Н. М. Смирнов².

По словам Е. А. Сушковой, Лермонтов считался «женихом Щербатовой», которую Сушкова называла «красавицей и весьма образованной женщиной»³.

А. П. Шан-Гирей тоже решил, что виною всему была Щербатова. «Мне ни разу не случилось ее видеть, — писал он много лет спустя, — знаю только, что она была молодая вдова». От самого Лермонтова Шан-Гирей слышал, что «такая, что ни в сказке сказать, ни пером описать». «Немножко слишком явное предпочтение, оказанное на бале счастливому сопернику, взорвало Баранта...» — заключал Шан-Гирей свои скудные сведения о причинах дуэли⁴.

«По Петербургу таскают теперь историю Лермонтова — глупейшую»⁵, — писал 10 апреля Николай Полевой брату Ксенофонту.

Эти слухи были подхвачены впоследствии биографами Лермонтова, которые решили на основании их, что причиной дуэли была женщина, что соперники дрались из-за княгини Щербатовой. Указывали также, что непосредственным поводом к ссоре якобы послужило четверостишие, которым Лермонтов оскорбил Баранта: «Ах, как мила моя княгиня, за ней волочится француз...» Но этот слух был опровергнут в 1872 году бывшим однокашником Лермонтова по юнкерской школе⁶. Он заявил, что

четверостишие было написано по совершенно иному поводу еще в бытность Лермонтова воспитанником юнкерской школы, адресовано другому лицу и к Баранту отношения иметь не могло.

Поэтому уже в наше время некоторые исследователи заключили, что старая эпиграмма была подсунута Баранту великосветскими интриганам, с тем чтобы втянуть Лермонтова в «историю».

Однако еще современница Лермонтова поэтесса Е. П. Ростопчина понимала, что для объяснения смысла ссоры русского поэта с сыном иностранного дипломата указанного повода недостаточно. Ростопчина назвала совсем другую причину.

Через много лет после смерти Лермонтова, делясь своими воспоминаниями о нем в письме к Александру Дюма, поэтесса назвала прямой причиной ссоры между Лермонтовым и Барантом «спор о смерти Пушкина»⁷.

С версией Ростопчиной совпадает еще одно свидетельство современника, ссылавшегося при этом на слова самого Лермонтова. Караульный офицер Горожанский, дежуривший на Арсенальной гауптвахте в то время, когда Лермонтов находился там в заключении, случайно слышал и передал потом П. А. Висковатову слова самого поэта: «*Je déteste ces chercheurs d'aventures**. Эти Дантесы и де Баранты заносчивые сукины дети»⁸.

Уже два последних свидетельства указывают на то, что причины недружелюбных отношений Лермонтова с Барантом заключались не в простом любовном соперничестве. Мы еще вернемся к этим причинам. А пока приведем ряд откликов современников, которые привлекут наше внимание к другой участнице дуэльной истории.

3

Сенатор Дивов, заносая в свой дневник слухи о дуэли Лермонтова с Барантом, отметил важную подробность.

«В этом месяце, — записал он 15 марта 1840 года, — произошла дуэль между сыном французского посланника бароном Барантом и лейб-гусаром Лермонтовым, которая не имела печальных последствий для обеих сторон. Офицер поступил даже благородно, сделав выстрел на воздух. Дуэль произошла из-за особ прекрасного пола»⁹.

* Я ненавижу этих искателей приключений (*фр.*).

Таким образом, в дни, когда дуэльная история Лермонтова была у всех на устах, называлась не одна княгиня Щербатова, а «особы прекрасного пола».

Подтверждением этому служат дневники современников.

7 марта генерал П. Д. Дурново (зять министра двора П. М. Волконского) записал: «Барант, сын посла, дрался на дуэли с Лермонтовым, гвардейским гусарским офицером. 1-й был легко ранен. Причиной дуэли была г-жа Бахарахт»¹⁰.

17 марта о дуэли сообщает в своем дневнике Л. И. Голенищев-Кутузов:

«Произошла дуэль очень замечательная, потому что один из противников — сын посла, а другой — офицер лейб-гвардии гусарского полка... Геронней, или, вернее, причиной дуэли, была, говорят, мадам Бахарах, не в обиду ей будь сказано, так как она ничего не знала, и оба молодца вызвали один другого, хотя она ни одному из них не давала повода, — несмотря на это, злые языки и сплетницы захотят вышивать по этой канве»¹¹.

И не один Голенищев-Кутузов называет в прямой связи с поединком Лермонтова имя Бахерахт, или, как он пишет ошибочно, «Бахарах». Ту же версию повторил А. Я. Булгаков, который подробно записал в свой московский дневник слухи об этой громкой дуэли:

«Говорят, что политическая ссора была токмо предлогом, а дрались они за прекрасные глазки молодой кокетки, жены нашего консула в Гамбурге, г-жи Бахерахт... Лермонтов и секундант его Столыпин были посажены под арест, а Баранта отправил отец тотчас в Париж курьером. Красавица же отправилась, вероятно, в Гамбург, в объятия своего дражайшего супруга»¹².

В 1841 году в записи о гибели Лермонтова Булгаков, возвращаясь к его дуэли с Барантом, привел ту же версию: «Говорят, что нрава был сварливого — имел уже подобного рода историю с сыном французского посла барона Баранта за жену нашего консула в Гамбурге, известную красавицу».

Теперь, наконец, становится понятной несообразность изложения дуэльной истории 1840 года в книге П. А. Висковатова. Открыто упоминая рядом с Лермонтовым имя княгини Щербатовой, биограф поэта внезапно становится таинственным, когда дело идет о виновнице дуэли, которую он называет «известной особой» или «блиставшею в столичном обществе дамой». При чтении книги Виско-

ватава уже и раньше казалось, что «известная особа» и Щербатова — разные лица. Теперь дело объясняется просто: Висковатову, очевидно, было известно имя второй дамы.

Разъясняется также неточная, как всегда у А. П. Шан-Гирея, но, видно, имевшая под собою реальную почву, запись в рассказе его о Лермонтове:

«История эта оставалась довольно долго без последствий, Лермонтов по-прежнему продолжал выезжать в свет и ухаживать за своей княгиней: наконец одна неосторожная барышня Б***, вероятно, безо всякого умысла, придала происшествию достаточную гласность в очень высоком месте, вследствие чего... Лермонтов за поединок был предан военному суду»¹³.

К этим свидетельствам следует прибавить, что имя Бахерахт называет и П. П. Вяземский в своей литературной мистификации «Лермонтов и г-жа Гоммер де Гелль»: «Лермонтов был в близких отношениях с княгиней Щербатовой; а дуэль вышла из-за сплетни, переданной г-жою Бахарах». П. П. Вяземский дает также беглую характеристику госпожи Бахерахт, называя ее «очень элегантной и прейбойкой женщиной»¹⁴.

Зная, что в своей публикации П. П. Вяземский мистифицировал читателя, нельзя было с доверием отнестись к его упоминанию имени Бахерахт. Однако в ряду других, более достоверных, источников можно опереться и на это свидетельство, тем более что Павел Вяземский близко знал Лермонтова.

Справедливость таких соображений подтверждается новонайденными письмами П. А. Вяземского-отца. 14 марта 1840 года он пишет жене и дочери в Баден:

«Лермонтов имел здесь дуэль, впрочем, без кровопролитных последствий с молодым Барантом (Надинька, не бледней, не с Проспером*). Причина тому бабьи сплетни и глупое ребяческое, а между тем довольно нахальное волокитство петербургское. Тут замешана моя приятельница или экс-приятельница Бахерахт».

19 марта П. А. Вяземский сообщает новые подробности:

«Об истории дуэли много толков, но все не доберешься толку, не знаешь, что было причиной ссоры. Теперь многие утверждают, что Бахерахтша тут ни в чем не виновата. Она, говорят, очень печальна и в ужасном поло-

* Старший сын французского посланника.

жении, зная, что имя ее у всех на языке. Кажется, они скоро едут обратно в Гамбург, не дожидаясь навигации. Петербург удивительно опасное и скользкое место»¹⁵.

«Жаль бедной Бахерахтши! В Гамбурге она не уживется, а Петербург надолго не для нея», — вторит П. А. Вяземскому А. И. Тургенев в письме из Москвы 28 марта¹⁶.

Совсем иначе отнесся к Бахерахт секретарь французского посольства барон д'Андрэ, бывший в это время в Париже. 28 марта (9 апреля) 1840 года он писал оттуда Баранту:

«Господин посол, в понедельник, во время моего посещения министерства, мне были переданы два письма, которые Вы изволили написать мне 24 и 26 марта (12 и 14 марта старого стиля. — Э. Г.).

Я не могу выразить, до какой степени второе письмо меня огорчило. Моя первая мысль была о Вас и о г-же Барант. Потом я очень сожалел, что покинул вас на восемь дней раньше срока; мне казалось, что я мог бы избавить вас от того, что случилось. Ко времени моего отъезда они уже были в очень натянутых отношениях. Я несколько раз уговаривал Эрнеста сделать над собой небольшое усилие, чтобы не придавать слишком большого значения не вполне культурным манерам г-на Лермонтова, которого он видел слишком часто. Я очень не любил известную даму, находя ее большой кокеткой; теперь я питаю к ней нечто вроде отвращения. Я полагаю, может быть, совсем ошибочно, что при некоторой доле ума она могла бы не допустить того, что произошло. Но, в конце концов, дело, которое могло бы кончиться столь несчастливо, не имеет других последствий, кроме доставленных вам мимолетного огорчения и больших забот...»¹⁷

Однако, когда это письмо пришло в Петербург, отношение Барантов к Бахерахт круто изменилось. «Третьего дня, — пишет П. А. Вяземский 27 марта, — на французском рауте все почести были для госпожи Бахерахт. Все подходило к ней *comme avec une députation d'honneur* *. Но она все-таки едет на днях, немного ошиканная и изувеченная, как лафонтеновский голубь. Он говорит о детстве: «*Cet âge est sans pitié*». Можно сказать о Петербурге: «*Cette ville est sans pitié* **¹⁸.

* подобно почетной депутации (фр.).

** Это безжалостный возраст... Это безжалостный город (фр.).

Наблюдая этот эпизод, Вяземский еще не знал о свидании Лермонтова с Барантом на Арсенальной гауптвахте. Но 7 апреля он лаконично писал А. И. Тургеневу в Москву: «Участь Лермонтова все еще не решена, и теперь никто не видит его»¹⁹. О том же писала Е. А. Верещагина своей дочери А. М. Хюгель 11 апреля: «Миша Лермонтов еще сидит под арестом, и так досадно — все дело испортил... Никого к нему не пускают, только одну бабушку позволили...»²⁰ Объяснение бывших противников происходило за три дня до дипломатического приема. Очевидно, между обоими событиями была какая-то связь. Не предупредила ли Бахерахт Барантов об опасности вторичной дуэли? Возможно, что перемена отношения к жене гамбургского консула во французском посольстве была вызвана этой услугой. Правда, Шан-Гирей утверждал, что «из-за болтовни» Бахерахт разгласился факт дуэли 18 февраля, но другие современники полагали, что Лермонтов сам проговорился о своем поединке с Барантом. Так, М. А. Корф записал в своем дневнике 21 марта 1840 года:

«На днях был здесь дуэль довольно примечательный по участникам. Несколько лет тому назад молоденькая и хорошенькая Штеричева, жившая круглою сиротою у своей бабки, вышла замуж за молодого офицера кн. Щербатова, но он спустя менее года умер, и молодая вдова осталась одна с сыном, родившимся уже через несколько дней после смерти отца. По прошествии траурного срока она, натурально, стала являться в свете, и столь же натурально, что нашлись тотчас и претенденты на ее руку, и просто молодые люди, за нею ухаживавшие. В числе первых был гусарский офицер Лермонтов — едва ли не лучший из теперешних наших поэтов; в числе последних, — сын французского посла Баранта, недавно сюда приехавший для определения в секретари здешней миссии. Но этот ветреный француз вместе с тем приволачивался за живущей здесь уже более года женою консула нашего в Гамбурге Бахерахт — известною кокеткою и даже, по общим слухам, — *femme galante* *. В припадке ревности она как-то успела поссорить Баранта с Лермонтовым, и дело кончилось вызовом... все это было ведено в такой тайне, что несколько недель оставалось скрытым и от публики и от правительства, пока сам Лермонтов

* женщина легкого поведения (*фр.*).

как-то не проговорился, и дело дошло до государя. Теперь он под военным судом, а Баранту-сыну, вероятно, придется возвращаться восвояси. Щербатова уехала в Москву, а между тем ее ребенок, остававшийся здесь у бабушки, — умер*, что, вероятно, охладит многих из претендентов на ее руку: ибо у нее ничего нет и все состоянное было мужнино, перешедшее к сыну, со смертью которого возвращается опять в род отца...»²¹

Корф очень правильно распределил роли между Бахерахт и Щербатовой. Как драматична, оказывается, была судьба женщины, вблизи которой Лермонтов провел больше года своей короткой жизни! Преждевременная смерть мужа, вынужденный отъезд в Москву, гибель двухлетнего сына и, наконец, разлука с любимым человеком. «Сквозь слезы смеется. Любит Лермонтова», — записал в своем дневнике А. И. Тургенев, навестивший Щербатову в Москве. Мы не знаем, когда она уехала из Петербурга — после ареста Лермонтова 10 марта или еще до этого — и только ли скандал с Барантом разлучил их. Она не таила своего чувства и одна из первых после гибели поэта отдала в печать посвященное ей стихотворение Лермонтова — «вдохновенный портрет нежно любимой им женщины». Так отзывался о стихотворении «На светские цепи» М. Н. Лонгинов, а М. А. Корф подтверждает, что чувство Лермонтова к Щербатовой было серьезным. Но когда поэт встретился в Москве на именинах у Гоголя с Тургеневым и рассказывал ему о своем деле, он не упоминал ее имени. «С Лермонтовым о Барантах, Бахерахтше и о кн. Долгорукове, — записывает А. И. Тургенев. — Кн. Долгоруков здесь и скрывается от публики»²².

Что именно говорил Лермонтов о роли «Бахерахтши» в истории его дуэли с Барантом, остается неизвестным. Упомянув ее имя рядом с именами Барантов и «колченого» князя Долгорукова, Лермонтов как будто бы причислял ее к своим врагам. Но почему же П. А. Вяземский и А. И. Тургенев с таким сочувствием отнеслись к беде «Бахерахтши»?

Эти загадки заставляют нас ближе познакомиться с женщиной, образ которой мы вводим в биографию Лермонтова.

* Сын Щербатовой умер 1 марта 1840 г. (указано И. П. Стамболи).

Кокетка, сплетница, ревнивица, интриганка и даже «особа легкого поведения»? Но женщина, которую петербургское злоязычие наградило столь двусмысленной репутацией, была известной немецкой писательницей. Правда, романисткой она стала только после вынуждённого отъезда из Петербурга, но и раньше она уже печаталась. Некоторые фельетоны и путевые очерки Бахерахт появлялись на страницах парижских журналов. Занималась она и художественными переводами с немецкого. Обратившись в 1841 году к родному языку, Бахерахт стала печататься в Германии под псевдонимом Therese.

Тереза фон Бахерахт была дочерью русского министра-резидента в Гамбурге Генриха Антоновича фон Струве. Она родилась в 1804 году и выросла в Гамбурге. Там же в 1825 году она вышла замуж за секретаря русского консульства Романа Ивановича фон Бахерахта. В 1849 году развелась с ним, желая узаконить свои многолетние отношения с Карлом Гуцковом. Но писателем-демократ не захотел соединить свою жизнь с аристократкой, не способной, по его мнению, войти в трудовую среду профессиональных литераторов. Пережив тяжелую драму, Тереза стремительно вышла замуж за полковника нидерландской службы фон Лютцова и уехала с ним в Батавию. В 1852 году она умерла на острове Ява.

В немецкой истории литературы Терезе отводится третьестепенное место. Ее считают типичной салонной писательницей. Основная тема ее романов и новелл, вышедших в 1843—1849 годах, — проблема женской судьбы, борьба свободного чувства с условностями и т. п. Материалом для наблюдений ей служила аристократическая среда. Карл Гуцков считал сильными сторонами ее таланта описания природы и психологический анализ женской души, но отказывал в мастерстве композиции²³. Другие считали, что она «приобщила свои малозначащие книги к литературе» только благодаря «своему умению улыбаться»²⁴.

Первая книга Терезы свидетельствует о ее начитанности. В этих путевых записках, веденных в 1835—1836 годах в форме писем к матери, она цитирует Байрона, Гете, Вольтера, Расина, подробно говорит о современных произведениях европейской литературы. Жорж Санд служила ей образцом для подражания в литературе и жизни, у Альфреда Мюссе она заимствовала печальные размыш-

ления о «сумрачном поколении» XIX века. Особенное внимание Терезы привлекали выдающиеся женщины. В своих письмах к матери она делится впечатлениями о Беттине фон Арним («Переписка Гете с ребенком»), об эксцентричной жизни и смерти Шарлотты Штиглиц²⁵, о воспоминаниях художницы Виже-Лебрен и госпожи Неккер, матери де Сталь. Романы этой знаменитой писательницы не нравились Терезе, находившей у госпожи де Сталь тот же порок, что и у себя, — избыток фантазии.

«Тереза-мечтательница», как определил ее первый издатель, была подвержена той «немецкой болезни», которую Герцен называл «идолопоклонство гениям и великим людям»²⁶.

«Откуда эта пылкая любовь и всеподавляющее восхищение перед теми, кто вписал свои имена в книгу истории? — восклицает Тереза. — Мне иногда кажется, что я уже однажды жила, словно не впервые переживаю то, что чувствую. Мне часто представляется, что я знала Данте, Микель-Анджело, Рафаэля. Перед их совершеннейшими творениями меня охватывают чувства, похожие на смутные воспоминания»²⁷.

С юных лет Терезу влекла к себе литературная среда. Отцовский дом в Гамбурге служил притягательным центром для даровитых людей. Муж Терезы был постоянным и услужливым посредником П. А. Вяземского и А. И. Тургенева в их деловых и литературных европейских связях. Когда Бахерахты решили провести зиму 1839—1840 годов в Петербурге, Тереза просила Вяземского представить ее Е. А. Карамзиной, чтобы войти в литературный салон, о котором ей «так много говорили»²⁸. Перебравшись в 1842 году из гамбургского одиночества в Берлин, она укрепила свои литературные связи в известном салоне Фарнгагенов фон Энзе, путешествуя по Европе в 40-х годах, посещала французского поэта Альфонса Карра²⁹.

Общие литературные интересы связывали «Бахерахты» в Петербурге и с Вяземским. «Вы разбудили новые сожаления об умолкнувшей лире Пушкина, — пишет она Вяземскому, прочитав его очерк «Пожар Зимнего дворца». — Поэтические слезы, которые Вы проливаете над дымящимися развалинами, стоят пушкинских. Они напомнили мне возвышенное письмо Плиния Младшего на следующий день после смерти его дяди».

Жена консула перечитывает «Адольфа» Бенжамена Констана по просьбе Вяземского (может быть, в его рус-

ском переводе?) и обменивается с ним свежими впечатлениями. Она тщетно ищет Вяземского на петербургских балах и возвращается разочарованной, потому что «в местах, от которых бежит поэт, нельзя найти поэзии».

Позднее, сблизившись в Германии с автором «Уриэля Акосты», Тереза отнеслась к своей роли подруги писателя как к высокому призванию. «Мне всегда доставляло удовольствие слушать, как она декламировала его произведения, — вспоминал немецкий критик Феодор Вель. — Она делала это с чувством и пониманием, благозвучным, проникающим в сердце голосом. Если же читал их я, она была само внимание. Она не пропускала ни слова, вся отдаваясь чтению. . . И далеко не один, пусть небольшой, по тем не менее важный штрих был внесен ею в работы Гуцкова. . .»

«Вкус и доброжелательность» отмечала у своей «грациозной и любезной» подруги немецкая писательница Людмила Ассинг. По словам того же Веля, Тереза обладала не только гармоничной «первоклассной» красотой, но и «искусством вести беседу поистине увлекательную»³⁰.

Еще раньше Веля в этом убедился П. А. Вяземский. «Бахерахтша здесь в большом ходу, — писал он из Петербурга 16 декабря 1839 года, — и в самом деле она очень мила и имеет более ресурсов и общительности, нежели здешние барыни, которые себе на уме, а не другим»³¹.

Но были в Терезе Бахерахт и некоторые теневые стороны. Намек на них мы находим в дневниковой записи Фарнгагена фон Энзе, сделанной при получении известия о ее смерти. «Красивая, приятная и притом добрая женщина, — пишет немецкий критик, — в последнем отношении, впрочем, не слишком»³².

Фарнгаген фон Энзе, очевидно, намекал на разрыв Терезы с Карлом Гуцковым. Многолетняя связь сменилась жестокой взаимной враждой. «Она была эксцентрична и в любви и в ненависти», — поминал Гуцков былую подругу, узнав о смерти Терезы. . .

. . . Она была слишком настойчива. «Кланяйтесь господину Тургеневу, если он живет еще у Вас, я храню его книги как залог, потому что хочу отдать их ему сама», — пишет она П. А. Вяземскому в 1839 году из загородного уединения. В другом письме к нему признается: «Напишите, князь, где мы увидимся, ибо не буду скрывать, что не люблю ждать, когда чего-нибудь желаю».

Но Вяземский, приняв в «скандале» 1840 года сторону Бахерахт, называл ее уже своей бывшей приятельницей. Поначалу он с удовольствием с нею встречался. «Вчера провел я несколько часов вечером у Бахерахтши, — пишет он 23 июля 1839 года, — которая была здесь на всех праздниках и с большим успехом... В самом деле она очень мила и нежна». 4 августа он пишет: «Сегодня по-экстраординарному обедаю у Лаваль pour les beaux yeux de m-me Бахерахт»*. Постепенно единственным местом, где Тереза могла рассчитывать на внимание Вяземского, остались бальные «пятницы» той же графини Лаваль. Но он редко посещал особняк на Английской набережной и явился туда как раз 16 февраля³³. Вяземский не знал, что, пока внимание гостей было занято особой наследника, в одной из отдаленных гостиных огромного лавалевского дома происходило объяснение Эрнеста Баранта с Лермонтовым. Там обсуждались и повторялись слова «Бахерахтши».

Такова была женщина, которая в 1840 году оказалась причастной к важным событиям в жизни Лермонтова. Эксцентричная и мечтательная, она промелькнула метеором в обществе, где правило — никогда не произносить лишнего слова — было возведено в закон. Пылкое воображение, живая душа и страстная натура Терезы Бахерахт были здесь неуместны. Неосторожное поведение в скованном и замкнутом петербургском свете причинило много вреда и ей самой, и окружающим.

Более подробными сведениями о встречах, беседах и взаимоотношениях Терезы Бахерахт с Лермонтовым мы не располагаем. Но и то, что удалось разыскать, заставляет нас посмотреть на всю историю ссоры и дуэли поэта с Барантом другими глазами. Уже ясно, что старое понимание этого инцидента как пустого бального приключения не может удовлетворить современного читателя. Попробуем же разобраться в других сторонах этого сложного конфликта.

5

«Натянутые отношения» между Эрнестом Барантом и Лермонтовым барон д'Андрэ замечал еще в январские дни. Причину этого он приписывал кокетству гамбург-

* ради прекрасных глаз мадам (фр.).

ской консульши. Ростопчина же, как уже говорилось, утверждала, что причиной ссоры противников был «спор о смерти Пушкина». Но одно не исключает другого. Узнав круг интересов Терезы Бахерахт, мы понимаем, что в ее литературной гостиной могла быть затронута тема гибели Пушкина, особенно потому, что в числе гостей этого салона бывал знаменитый автор «Смерти поэта».

Со своей стороны, караульный офицер Горожанский, как мы помним, передавал, что Лермонтов проводил аналогию между Дантесом и Эрнестом Барантом. Нет ничего невероятного в том, что подобные суждения еще до дуэли проскальзывали в беседах поэта с Бахерахт, которая в пылу какого-то объяснения и передала их Эрнесту Баранту.

Мы должны были бы ограничиться блужданием в области догадок и предположений, если бы не располагали неоспоримым доказательством настороженного внимания к Лермонтову во французском посольстве именно из-за его стихов на смерть Пушкина. И лучше, чем кто-нибудь другой, об этом был осведомлен секретарь посольства, тот же барон д'Андрэ.

Зимой 1839 года на вечеринке у вюртембергского посла Гогенлоэ Андрэ обратился к А. И. Тургеневу с вопросом от имени главы посольства: «Правда ли, что Лермонтов в известной строфе бранит французов вообще, или только одного убийцу Пушкина?»³⁴ Барант желал бы знать правду от Тургенева.

Тургенев не помнил наизусть текста стихотворения и обещал Андрэ достать его. Встретив Лермонтова, Тургенев обратился к нему с этим вопросом. На следующий день Лермонтов препроводил ему точный текст:

«Посылаю Вам ту строфу, о которой Вы мне вчера говорили, для известного употребления*, если будет такова Ваша милость»³⁵.

Однако Тургенева опередили. «Через день или два, — описывал он подробности этого события Вяземскому, — кажется, на вечеринке или бале уже самого Баранта, я хотел показать эту строфу Андрэ, но он прежде сам подошел ко мне и сказал, что дело уже сделано, что Барант позвал на бал Лермонтова, убедившись, что он не думал поносить французскую нацию...»

* Лермонтов пародирует здесь формулу казенных бумаг. Например, в секретном отделении военного министерства «негласные пособия», отпускаемые из личных сумм Николая I, регистрировались по статье «для известного употребления».

Итак, приглашение Лермонтова на новогодний посольский бал было поставлено Барантом в связь с его стихами на смерть Пушкина. Это показывает, что положение поэта в кругу иностранных дипломатов было явлением гораздо большего масштаба, чем это представлялось его биографам. Так, вюртембергский посланник Гогенлоэ-Кирхберг, донося 22 марта своему королю о дуэли Эрнеста Баранта, писал о Лермонтове, что он «возбуждает некоторый интерес достаточно замечательным поэтическим талантом»³⁶.

Барант интересовался не только текстом стихотворения Лермонтова, но также и мнением Тургенева: следует ли ему, Баранту, трактовать эти стихи как вынад против представляемой им страны? Барант выбрал посредником одного из самых просвещенных русских людей, зная к тому же о его дружеской связи с Лермонтовым. Но, видно, возле французского посла были еще какие-то люди, сумевшие поспешно доставить ему нелегальное стихотворение Лермонтова, минуя автора. Мы знаем двух таких коллекционеров в тогдашнем петербургском обществе: князя П. В. Долгорукова-банкаля (колченогого)*, имя которого Лермонтов назвал сам в связи с историей своей дуэли, и графа В. А. Соллогуба, известного тем, что он собирал автографы Лермонтова еще при его жизни. Но тот или иной, а может быть, и кто-нибудь третий услужил Баранту, не в этом дело, — перетолковать смысл строфы оказалось невозможным. Важнее другое: в 1839 было придано значение стихам, написанным в начале 1837 года. Причем тогда, в дни гибели Пушкина, никто из иностранных наблюдателей не отмечал, что в стихах Лермонтова оскорблено достоинство Франции. Очевидно, кто-то напомнил Баранту об этих стихах и внушил, что они заключают в себе оскорбительный для Франции смысл.

Трижды прав был Вяземский, называя Петербург «удивительно опасным и скользким местом»! Это неудавшееся подстрекательство должно было поставить Лермонтова в очень тяжелое положение. Недаром, когда он находился уже под арестом за дуэль и судебный процесс был в разгаре, друзья поэта упрекали Тургенева за то, что он не только (как они думали) ввел Лермонтова к Барантам, но и принимал участие в обсуждении его сти-

* Его подозревали в авторстве анонимного пасквиля, посланного Пушкину.

хов. Цитированное выше письмо Тургенсва к Вяземскому было написано им из Москвы 8 апреля 1840 года в оправдание от возводимых на него обвинений. Напомним, что, изложив с подчеркнутой точностью начало инцидента, Тургенев писал: «Я был вызван к изъяснению моего мнения самим Барантом». И заканчивал горячим уверением: «Вот тебе правда, вся правда и ничего кроме правды. Прошу тебя и себя, и других переуверить, если, паче чаяния, вы думаете иначе».

Тургенев отводил от себя тяжкое обвинение в том, что он принял участие в завязке этой политической интриги. В своем дневнике он отметил в тот же день, 8 апреля: «Писал к к(нязю) Вязем(скому) — о Лермонт(ове) и Барант(ах): оправдался...»

Итак, наиболее осведомленные современники прямо связывали неблагоприятные последствия дуэли Лермонтова с недовольством французского посла по поводу стихов на смерть Пушкина.

Встречу Тургенева с Андрэ и письмо Лермонтова к Тургеневу с присылкой строфы о Дантесе мы датируем декабрем 1839 года на основании уверенного заявления, сделанного во французской статье о Лермонтове, вышедшей в Париже в 1940 году. Автор, пользовавшийся документами из архива Барантов, говорит, что Лермонтов был приглашен во французское посольство на бал, состоявшийся 2(14) января 1840 года³⁷. Отсюда следует, что разговор Андрэ с Тургеневым относится к концу декабря 1839 года. Однако французский исследователь допустил небольшую ошибку: великолепный новогодний бал в посольстве, на котором присутствовали наследник с императрицей, был устроен не 2-го (по старому стилю), а 1 января 1840 года, то есть 13-го по новому стилю.

Появление Лермонтова в дипломатических салонах выходило за рамки обычного светского знакомства. Иностранные представители, среди которых историк и писатель Барант принадлежал к числу самых просвещенных, интересовались литературной позицией поэта.

Но и независимо от этого пролога последовавшая вскоре дуэль Лермонтова с Барантом вызывала в памяти исторический поединок 1837 года. Теперь внимание русского общества уже не задерживалось на семейной драме Пушкина, а было сосредоточено на политическом и общественном значении убийства поэта. «Это совершенная противоположность истории Дантеса, — замечает П. А. Вяземский 22 марта 1840 года. — Здесь действует

патриотизм. Из Лермонтова делают героя и радуются, что он проучил француза»³⁸.

Эти настроения в передаче одних принимали анекдотический характер, но в изложении других подчеркивалось принципиальное значение конфликта между Барантом и Лермонтовым. К числу первых принадлежал московский почт-директор А. Я. Булгаков, среди вторых мы встречаем даже такую реакционную фигуру, как государственный секретарь М. А. Корф.

Булгаков записал следующую версию о ходе поединка:

«Барант потребовал драться а l'ère française *. Лермонтов отвечал, что он не французский маркиз, а русский гусар, что шпагой никогда не владел, но что готов дать сатисфакцию, которую от него требуют. Съехались в назначенное место, дрались, никто ранен не был, и когда секунданты стали их разнимать, то Лермонтов сказал Баранту: я исполнил волю вашу, дрался по-французски, теперь я вас приглашаю драться по-русски на пистолетах, — на что Барант согласился. Русская дуэль была по-серьезнее, но столь же мало кровопролитная, сколь и французская...»³⁹

Корф заключал 21 марта свою запись о происшествии такими словами: «Странно, что лучшим нашим поэтам приходится драться с французами: Дантес убил Пушкина, и Барант, вероятно, точно так же бы убил Лермонтова, если бы не поскользнулся, нанося решительный удар, который, таким образом, только оцарапал ему грудь». Это не оговорка Корфа: он очень уверенно описывает положение противников, подчеркивая серьезность намерений Баранта. «Сперва дрались на шпагах, — рассказывает Корф, — причем одно только неловкое падение Баранта спасло жизнь Лермонтова; потом стрелялись, и когда первый дал промах, то последний выстрелил на воздух, чем все и кончилось».

Проверить достоверность дошедшей до Корфа версии пока не представляется возможным. Но уже появление подобных слухов показывает, что с первого дня дуэли Барант попал в смешное положение — самое страшное для светского человека. Этим объясняются его взвинченность и непомерные претензии к Лермонтову во время суда.

* на французских шпагах (фр.).

Но эти мелкие страсти не затушевывают серьезности самого столкновения. Уже 13 марта П. Д. Дурново отметил общественно-политическое значение этого заседания: «Молодой Барант высылается из России, а Лермонтов посажен под арест. Французы решительно не расположены к нашим поэтам»⁴⁰. Рискую прослыть вторым Данте-сом, Эрнест Барант не затруднился вызвать на поединок русского поэта и целить в него через три года после потрясающей гибели Пушкина.

6

Эрнесту Баранту был двадцать один год. Он окончил высшую школу, носил звание доктора Боннского университета и числился атташе кабинета министра иностранных дел Франции. Отец хотел сделать его дипломатом, но Эрнест Барант интересовался главным образом «многочисленными победами у женщин», вызывавшими «не менее многочисленные отчаянные письма его матери». В 1838 году посланник выписал сына в Россию и стал готовить его к дипломатической карьере. Когда в феврале 1840 года Андрэ уехал из Петербурга, Эрнест уже мог временно заменять его в делах посольства.

«Это теперь единственный помощник, которого я имею при себе, — писал Барант-отец министру иностранных дел Тьеру. — Зная Вашу обязательность, я уверен, что Вы примете во внимание его право на назначение вторым секретарем: это будет справедливо по отношению к нему и знаком расположения ко мне»⁴¹.

Эрнест Барант был посвящен во все дела посольства. Об этом можно судить по его берлинскому письму, написанному уже после отъезда из Петербурга: «чаша терпения была переполнена более, чем вы предполагали», — сообщал он отцу о настроении французского правительства по поводу обострения франко-русских отношений. Касаясь далее секретов дипломатической почты, он проявляет полную осведомленность в делах французского посольства в Петербурге⁴².

Тем не менее Эрнест Барант не производил серьезного впечатления. Рассказывая о своей дуэли Белинскому, Лермонтов охарактеризовал Баранта как «салонного Хлестакова» — такой, по крайней мере, вывод сделал Белинский на основании лермонтовского рассказа.

Посвященный отцом во все сложные перипетии его дипломатической игры, молодой атташе проявил исключительную неосмотрительность, когда бросил в ссоре с Лермонтовым свою запальчивую фразу: «Если бы я был в своем отечестве, то знал бы, как кончить это дело».

Лермонтов тотчас дал ему понять, как прозвучали эти слова в устах дипломата, и придал спору принципиально-политический характер, сказав: «В России следуют правилам чести так же строго, как и везде, и мы меньше других позволяем оскорблять себя безнаказанно».

В его фразе содержался намек на переживаемый политический момент. Именно в это время Барант-отец, сообщая Гизо свой взгляд на положение Франции, утверждал, что ошибки во внешней политике королевского правительства могут повести к оскорблению французской «национальной гордости» и к вооруженному вмешательству держав в дела Франции. «Будет война, — писал Барант 6 марта, — но не 1792 года, а 1813-го»⁴³.

Напряженность положения была, как известно, вызвана англо-французским соперничеством на Среднем Востоке.

В декабре 1839 года русский посол во Франции граф Пален выехал в Петербург. Он оставался в России около трех месяцев в момент, когда внимание мировой дипломатии было приковано к поддержке Францией восстания египетского паши, а царский посол Бруннов вел в Лондоне переговоры о русско-английском соглашении. Долгое отсутствие в Париже главы русского посольства было воспринято французским правительством как враждебная демонстрация. Русский дипломат в Париже барон Медем сообщал 4 января 1840 года в частном письме к вице-канцлеру Нессельроде, что «если пребывание Палена в России продлится, то французский король примет крайние меры и отзовет Баранта из Петербурга на неопределенный срок»⁴⁴.

Между тем Пален выехал в Париж только 6 марта (старого стиля) 1840 года. Весь этот период — с декабря по март — Барант занимал в Петербурге выжидательную позицию, готовый в любой день выехать из России. «Я только что избежал своего рода разрыва. Г-н Пален направляется сегодня к своему посту, — писал Барант 6 (18) марта к Гизо, занимавшему в это время пост французского посланника в Англии. — Таким образом, я остаюсь на своем, не для того, чтобы трудиться, как Вы, над соглашением, имеющим важнейшее значение, но что-

бы ничего не делать, мало говорить, наблюдая за одним из важнейших пунктов Европы»⁴⁵.

Подробности дипломатических отношений России и Франции не были, конечно, известны в широких кругах, однако в русской и французской столицах возбужденно обсуждалась общая политическая ситуация. Так, Медем передавал Нессельроде, что один из членов французского правительства выражал «сожаление» по поводу всеобщей антипатии к России, возникшей во всех классах французской нации из-за позиции, занятой Россией, и ее усилий не столько ущемить прямые интересы Франции, сколько ранить ее национальное самолюбие»⁴⁶.

Отголосок этих настроений прозвучал в вызывающей фразе, брошенной Лермонтову сыном французского посла в особняке Лаваль. Обостренным вниманием к французо-русским отношениям объясняется и блестящая реплика Лермонтова о национальном достоинстве России.

Правда, в «Сказке для детей» Лермонтов отзывается несколько иронически об интересе петербургского общества к злободневным событиям («На всех набрел политики туман»), но некоторые стороны французской политики задевали предмет постоянных дум поэта. Речь идет о перенесении праха Наполеона в Париж.

Эта демонстрация, задуманная Людовиком-Филиппом в противовес замыслам племянника Наполеона — Луи Бонапарта, касалась и происков правительства Николая I. Именно в начале 1840 года французские газетчики опубликовали сенсационные разоблачения связи русского императора с претендентом на французский престол. А один из ближайших приверженцев Луи-Наполеона даже явился в декабре 1839 года в Петербург, где не стеснялся делать во всех гостинных дерзкие намеки на готовящийся в самом ближайшем будущем бонапартистский переворот⁴⁷.

Все это привело к тому, что атмосфера международных закулисных интриг проникла из канцелярий III Отделения, министерства иностранных дел и дворцовых кабинетов в петербургские гостинные. Разговоры о Франции и ее политических порядках занимали весь великосветский Петербург и заставляли Баранта осторожно относиться к суждениям русских о французах. Каждое отрицательное слово воспринималось в этой обстановке как недоброжелательное отношение к существующему во Франции режиму.

Этим и объясняется попытка недругов Лермонтова настроить Баранта-отца против русского поэта, указав ему на обличительную строфу Лермонтова против Дантеса. Эта провокация, как мы видели, не удалась. Прямые высказывания Лермонтова по текущим вопросам до нас не дошли. Но Лермонтов откликнулся на круг современных проблем французской политики в поэтических образах «Воздушного корабля». По свидетельству Белинского, поэт занялся переводом баллады Цедлица (легшей в основу этого стихотворения), как только попал в Ордонансгауз. Следовательно, одушевлявшие его мысли он вынашивал еще до ареста.

Как ни романтична гениальная баллада Лермонтова, в ней ясно выражено его отрицательное отношение к буржуазно-мещанскому общественному строю «июльской монархии». Вот почему современники, знавшие о ненависти Николая I к королю Людовику-Филиппу, полагали, что привлечение к суду не будет иметь для Лермонтова серьезных последствий. Мало того — многие считали, что происшествие может обернуться в невыгодную для посла сторону.

«Всех более мне тут жалок отец Барант, которому эта история должна быть очень неприятна. Лермонтов, может быть, по службе временно пострадает, да и только», — писал П. А. Вяземский 14 марта⁴⁸. Такое же мнение высказал Гогенлоэ-Кирхберг, полагавший, что Лермонтов «будет выслан на Кавказ, где он в скором времени найдет возможность отличиться и заслужить опять эполеты»⁴⁹.

По городу прошел слух, что царь отнесся к Лермонтову снисходительно. «Государь сказал, — писал Белинский в тот же день, — что если бы Лермонтов подрался с русским, он знал бы, что с ним сделать, но когда с французом, то три четверти вины слагается»⁵⁰. Эти впечатления имели под собой реальную почву. Вспомним, что даже военно-судная комиссия установила, что Лермонтов «вышел на дуэль не по одному личному неудовольствию, но более из желания поддержать честь русского офицера».

Все понимали, что Эрнесту придется отправиться «во свояси». «Я полагаю, что Баранту неприлично здесь оставаться. Необходимо, чтобы он уехал, либо навсегда, либо хотя бы в отпуск, — замечает 17 марта Голенищев-Кутузов. — Наш августейший монарх, всегда настроенный против Людовика-Филиппа и французов, безусловно

рад, имея вескую причину засвидетельствовать свое не-удовольствие, и Барант-отец, возможно, тоже уедет в отпуск на некоторое время»⁵¹.

Но, правильно толкуя отношение Николая I к Людовику-Филиппу, современники не представляли себе всей ненависти русского императора к Лермонтову.

7

«Государь был отменно внимателен к семье Баранта, которой все высказали величайшее сочувствие. Сын их уезжает на несколько месяцев», — писала 16 (?) марта * М. Д. Нессельроде, жена вице-канцлера⁵².

Николай с самого начала предупредил своего министра, что «офицера будут судить, а потому его противнику оставаться здесь нельзя». Об этом М. Д. Нессельроде сообщала сыну в предыдущем письме, посланном 6 (?) марта, когда Лермонтов еще не был арестован. «Государь не может решиться отпустить Палена, — пишет она далее, — однако мой муж надеется, что медлить с этим больше не станут... Некоторые из здешних дипломатов утверждают, что Барант уедет, если Пален продлит свое пребывание» (Нессельроде еще не знала, что в этот день русский посол уже выехал в Париж). «Со вчерашнего дня я в тревоге за Баранта, которого люблю, — продолжает она, — у сына его месяц тому назад была дуэль с гусарским офицером: дней пять только это стало известно»⁵³. Таким образом, вопрос об участии Лермонтова и Эрнеста царь обсуждал с министром иностранных дел в самых первых числах марта, когда в городе о дуэли еще не говорили.

М. Д. Нессельроде, выражавшая свое горячее сочувствие Геккернам после убийства Пушкина, теперь сострадает Барантам. Так же, как и сам Нессельроде, она вникает в их частные интересы, сожалея о предстоящем отъезде Эрнеста: «Это расстроит семью, что огорчает твоего отца. Напрасно Барант тотчас не сказал ему об этом: он бы посоветовал ему тогда же услать сына».

Но Барант-отец сам узнал о дуэли не сразу. «Вы избежали ужасающего беспокойства, — сочувственно писал

* При первой публикации писем Нессельроде даты были явно перепутаны (отнесены к январю и февралю, поэтому принимаю условные даты, см. примеч. 52—53).

ему из Рима зять, — так как узнали обо всем этом уже после события»⁵⁴. Тем не менее Барант имел еще время отправить Эрнеста в Париж до ареста Лермонтова. Однако момент был упущен.

Посол медлил; убедившись, что остается по-прежнему на своем посту в Петербурге, он мог надеяться, что Тьер согласится на назначение его сына вторым секретарем. Отъезд юноши разрушил бы эти планы, грозя оглаской дела за границей.

Эрнест оставался в Петербурге, продолжал бывать в свете и, пользуясь своей свободой, всюду называл Лермонтова лжецом, опровергая его официальные показания. Казалось бы, лучший способ их оспорить заключался в том, чтобы дать суду свои встречные. Но отстраненный от участия в судебном следствии Эрнест Барант нисколько не стремился последовать примеру Монго-Стюльпина.

Тут надо отметить, что дипломатическая неприкосновенность фактически на него не распространялась.

Хотя Эрнест Барант не был арестован, великий князь Михаил Павлович, командир Отдельного гвардейского корпуса, отнюдь не считал, что молодой француз освобождается от дачи показаний. Он распорядился только, чтобы военно-судная комиссия «о всех предметах, до г. Баранта касающихся, не сносилась прямо с французским посольством, но представляла о том начальству для доклада».

18 марта комиссия военного суда заготовила вопросы для Баранта и направила их «через кого следует» при секретном рапорте для передачи противнику Лермонтова. Михаил Павлович, в свою очередь, приказал, «переведя вопросы на французский язык, препроводить их г. министру иностранных дел»⁵⁵.

Нессельроде получил перевод лишь 23 марта и распорядился: «Отвечать, что Барант уехал...»⁵⁶ Ответ был послан великому князю уже 24-го. Получив отосланные ему назад вопросы, Михаил Павлович вскипел. «Почему не отправлены вопросы на русском языке? — написал он на письме Нессельроде. — Немедленно исполнить это! послав при записке в дежурство кавалерийского корпуса»⁵⁷. Очевидно, Михаил Павлович знал, что Эрнест Барант еще не уехал: только что открылась скандальная для военного начальства встреча его с Лермонтовым на Арсенальной гауптвахте. 25-го Лермонтов уже был допрошен об этом петербургским плац-майором.

Трения между братом царя и министром иностранных дел показывают, что освобождение Баранта от судебной ответственности не вытекало из действующего законодательства. Оно было допущено согласно личной воле Николая I, а Нессельроде был ее исполнителем.

Если бы педантичный и прямолинейный Михаил Павлович не распорядился отобрать показания у противника Лермонтова, Барант-посол пренебрег бы советом самодержца и оставил сына в Петербурге. Это видно из хронологической последовательности событий. Хотя Баранту еще в начале марта сообщили от имени царя, что отъезд его сына необходим, он обратился в министерство иностранных дел за визой только 21 марта⁵⁸. Очевидно, приказ великого князя заставил Баранта-отца поторопиться. Отъезд он назначил на 22 марта, но в восемь часов вечера этого дня Эрнест явился к Лермонтову на гауптвахту по его приглашению. Из Петербурга он выехал лишь 23 или 24 марта.

Ожидали, что его отъезд разрядит атмосферу. Но родители не теряли надежды на скорое возвращение сына для устройства его дипломатической карьеры. Как ни странно, но эти частные мотивы повлияли на судьбу Лермонтова.

28 марта (9 апреля) Андрэ, описывая Баранту свои впечатления от беседы с одним из крупных чиновников министерства иностранных дел в Париже, передавал ему свое мнение: «Это не может принести... никакого вреда», «...это — обыкновенная история...»; «Вы скоро увидите вашего сына, — уверял Андрэ своего патрона, — он от этого ничего не потеряет».

Но 31 марта (12 апреля) Эрнест осторожно сообщал отцу уже из Берлина, что дело его стало известным в тамошнем французском посольстве, правда, «в немного искаженном виде». «Я в нескольких словах исправил фактическую ошибку», — добавляет он, имея, очевидно, в виду дошедшие до Берлина слухи о его неловком падении на поединке. Через несколько дней из Парижа пишет Андрэ, уже встревоженный: «Дело Эрнеста теперь известно. Я надеюсь, что газеты ничего не будут об этом сообщать...» Но в том же письме он вынужден рассказать Баранту, что Тьер отказался вернуть молодого атташе в Петербург, после того как ему, Андрэ, пришлось доложить премьеру и министру иностранных дел о дуэли. Но вот 13 апреля (25 апреля) Андрэ успокаивает посла: «Возможно, что Вам... через несколько недель

вернут Эрнеста. Мне кажется, что для этого имеются очень хорошие шансы. Я совершенно уверен, что он будет моим заместителем. Но когда? этого я не знаю...»

Пока Андрэ защищал интересы Барантов в Париже, посол подготавливал почву в Петербурге. 20 апреля (2 мая) он отвечает своему секретарю: «Эрнест может возвратиться. Лермонтов вчера должен был уехать, полностью и по заслугам уличенный в искажении истины; без этой тяжелой вины едва ли он был бы наказан. Я хотел бы большей снисходительности — Кавказ меня огорчает, но с таким человеком нельзя было бы полагаться ни на что: он возобновил бы свои лживые выдумки, готовый поддержать их новой дуэлью. После одной или двух бесед, которые я должен иметь, я напишу г-ну Тьеру о том, что прошу об этой доброй услуге, чтобы ему обеспечили командировку в первой половине июня».

Посол не ожидал, что царь пошлет поэта под чеченские пули, но, уже зная о суровом приговоре, не отказался от своих смешных претензий. В этом его охотно поддерживали два лица, как можно понять из упоминания об «одной или двух беседах», предстоящих Баранту в связи с делом его сына. С кем должна была состояться первая встреча, ясно из всего предыдущего: это министр иностранных дел К. В. Нессельроде. О второй встрече мы уже догадываемся. Человек, который внушал Баранту свое отрицательное мнение о моральном облике Лермонтова, был, конечно, шеф жандармов.

8

Барант очень уверенно говорит, что Лермонтов был осужден, собственно, не за дуэль, а за показание, которое обидело его сына. К своему великому удивлению и негодованию, Лермонтов пришел к такому же выводу. Это особенно ясно видно не из того письма, которое получил от поэта командир гвардейского корпуса, а из черновика этого послания. «Получив приказание явиться к господину генерал-адъютанту графу Бенкендорфу, — писал Лермонтов Михаилу Павловичу, — я из слов его сиятельства увидел, к неописанной моей горести, что на мне лежит не одно обвинение за дуэль с господином Барантом и за приглашение его на гауптвахту, но еще самое тяжкое, какому может подвергнуться человек, дорожащий своею честью... Граф Бенкендорф изволил пред-

ложить мне написать письмо господину Баранту, в котором я бы просил у него извинения в ложном моем показании насчет моего выстрела» (VI, 479).

Лермонтов вынужден был просить великого князя «защитить» его «от незаслуженного обвинения». В белом письме, переданном Михаилу Павловичу, он прямо просил передать сущность его жалобы царю и был в этом совершенно прав. Дополнительное обвинение, предъявленное уже после окончания суда, — вещь беспрецедентная даже в крепостном государстве Николая I.

«...Я не мог на то согласиться, ибо это было против моей совести, — горячо писал Лермонтов Михаилу Павловичу. — ...Я искренно сожалею, что показание мое оскорбило Баранта; я не предполагал этого, не имел этого намерения; но теперь не могу исправить ошибку посредством лжи, до которой никогда не унижался. Ибо, сказав, что выстрелил на воздух, я сказал истину, готов подтвердить оную честным словом...»

Письмо сохранилось в делах III Отделения. На его полях начальник штаба корпуса жандармов Дубельт пометил 29 апреля: «Государь изволил читать. К делу»⁵⁹.

Николай Павлович не мог допустить, чтобы кто бы то ни было вносил поправки в его приказы. Объявив 19 апреля, что «желает ограничить наказание» «переводом Лермонтова в Тенгинский полк», царь считал дело конченным.

Бенкендорфу оставалось только успокаивать Баранта тем, что Лермонтов «полностью уличен в искажении истины» и наказан за эту «тяжелую вину» «по заслугам».

Французский посол не сомневался в своем праве ставить судьбу национального поэта в зависимость от своих эгоистических интересов. Однако он получил неожиданный отпор от русского общества. Барант понял, что, добиваясь высылки и унижения Лермонтова, он совершил большой тактический промах. «Я еще не тороплю с возвращением Эрнеста, приличия требуют, чтобы он задержался, потому что г. Лермонтов был строго наказан», — пишет он к Андрэ 23 мая (4 июня).

Как и в предыдущем, пропущенном мною, письме, посол жалуется на «досадную изоляцию», в которой он очутился, — ему не хватает Андрэ, который за много лет пребывания в Петербурге сумел установить там многочисленные дружеские связи. Он жалуется, что дело Эрнеста, такое для него ясное, получило непредвиденный оборот. Оказывается, нашлись люди, которые были возму-

щены поведением Барантов и целиком стали на защиту Лермонтова. «Все согласны, что вина его, — рассказывает Барант, — но говорят, что друзья его добиваются уменьшить его вину и делают вид, что удивляются, что мы приняли это так близко к сердцу. Для того, чтобы выяснить, что они об этом думают, нужно это хорошенько разузнать, потому что среди всех, с кем мы встречаемся, воцарилось равнодушие и забвение после строгого и справедливого осуждения поведения г. Лермонтова».

Не желая ссориться с русским обществом, посол склоняется к тому, чтобы принять участие в хлопотах о прощении Лермонтова, но Бенкендорф всячески отклоняет его от этого, продолжая чернить поэта. В своем письме Барант впервые раскрывает свою непосредственную связь с шефом жандармов.

«Граф Бенкендорф, — пишет он, — будучи в этом деле, как и во всех других, рассудительным и услужливым, думает так же, как и я, и с еще большим знанием дела, что нельзя иметь никакой гарантии в случае, если бы мы получили полное снисхождение для г. Лермонтова, в том, чтобы он полностью признал правду, поскольку он является человеком способным на следующий же день повторять свои лживые выдумки».

Таким образом, всемогущий Бенкендорф настаивал на своем: он готов был бы хлопотать перед царем о прощении Лермонтова, если бы осужденный заплатил за это признанием своей мнимой лжи.

Барант колеблется, — он не решается пойти по этому пути. Но родительские чувства заслоняют в нем такт дипломата. Он говорит о вздорных претензиях своего мнительного сына как о серьезном политическом осложнении.

«Если бы Эрнест несколько не беспокоился о том, что тот или иной может подумать или делать вид, что думает, то его присутствие здесь не доставило бы мне никакой заботы. Но, по моим представлениям, он не таков и не будет относиться совершенно хладнокровно, и, по-моему, хорошо, что он несколько запаздывает», — пишет Барант 23 мая (4 июня).

Рана, нанесенная самолюбию Эрнеста Баранта, не заживала. «Я более чем когда-либо уверена, что они не могут встретиться без того, чтобы не драться на дуэли», — сообщает мужу из Парижа госпожа Барант 21 декабря 1840 года (2 января 1841 года). Это сказано уже в конце года, в течение которого Лермонтов, забыв

об инциденте, храбро воевал на Кавказе. Чем же была вызвана тревога?

Глава французского кабинета Тьер смотрел на вещи более трезво. Он не разрешил Эрнесту вернуться в Петербург и занять там официальную должность. Но когда во главе кабинета стал Гизо, госпожа Барант добилась у него согласия. Это совпало по времени с хлопотами Е. А. Арсеньевой о помиловании ее внука.

«Очень важно, чтобы ты узнал, не будет ли затруднений из-за г. Лермонтова, — пишет г-жа Барант послу. — ...Поговори с г. Бенкендорфом, можешь ли ты быть уверенным, что он выедет с Кавказа только во внутреннюю Россию, не заезжая в Петербург. Справься, возвратили ли ему его чины. Пока он будет на Кавказе, я буду беспокоиться за него. Было бы превосходно, если бы он был в гарнизоне внутри России, где бы он не подвергался никакой опасности. . .»

Невозможно читать без горечи эти строки. Историк, писатель, дипломат — Барант (и его супруга) считает лучшей участью для поэта пребывание в провинциальной казарме николаевской армии! И все это для того, чтобы обеспечить карьеру своему легкомысленному сыну!

Происки Барантов и Бенкендорфа на этот раз успеха не имели. В начале февраля Лермонтов приехал в Петербург в отпуск, а Эрнест Барант так и не получил вожаденного назначения. Он был отправлен в Дрезден, а впоследствии служил в Константинополе.

В свете этих событий становятся яснее причины, из-за которых оказывались бесплодными все усилия многочисленных друзей поэта исхлопотать для него «прощение».

Музыкант Ю. К. Арнольд, посещавший в начале 1840-х годов «понеделники» Владимира Федоровича Одоевского, запомнил разговор, истинный смысл которого становится понятным только теперь, после обнаружения приведенных материалов.

«Не помню я, кто именно, — пишет Арнольд, — в один из декабрьских понеделников 1840 года привез известие, что «старуха Арсеньева подала на высочайшее имя трогательное прошение о помиловании ее внука Лермонтова и об обратном его переводе в гвардию». Завязался, конечно, общий и довольно оживленный диспут о том, какое решение воспоследует со стороны государя императора. Были тут и оптимисты и пессимисты: первые указали на то, что Лермонтов был ведь уже раз помилован и что Арсеньева женщина энергичная да готовая на всякие

пожертвования для достижения своей цели, а вследствие того наберет себе массу сильнейших заступников и защитниц, ergo результатом неминуемо должно воспоследовать помилование. С своей же стороны, пессимисты гораздо основательнее возражали: во-первых, что вторичная высылка Лермонтова, при переводе на сей раз уже не в прежний Нижегородский драгунский, а в какой-то пехотный полк, находящийся в отдаленнейшем и опаснейшем пункте всей военной нашей позиции, доказывает, что государь император считает второй проступок Лермонтова гораздо предосудительнее первого; во-вторых, что здесь вмешаны политические отношения к другой державе, так как Лермонтов имел дуэль с сыном французского посла, а в-третьих, что по двум первым причинам неумолимыми противниками помилования неминуемо должны оказаться — с дисциплинарной стороны великий князь Михаил Павлович, как командир гвардейского корпуса, а с политической стороны — канцлер граф Нессельроде, как министр иностранных дел. Прения длились необыкновенно долго, тем более что тут вмешались барыни и даже преимущественно завладели диспутом»⁶⁰.

Прежде всего отметим, что в этой записи говорится о суровости приговора: высылка Лермонтова в «опаснейший и отдаленнейший» пункт кавказской военной линии. От внимания Арнольда не ускользнуло также, что в диспуте у Одоевского подчеркивался политический характер дуэли Лермонтова с Барантом: молодой музыкант запомнил, что в нее оказались «вмешаны политические отношения к другой державе». Наконец, — и это самое важное, — Арнольд называет «неумолимым противником помилования» канцлера графа Нессельроде.

Таким образом, главными врагами Лермонтова были гонители Пушкина — Бенкендорф и Нессельроде.

Было бы, однако, наивным думать, что они действовали против поэта без ведома самодержца.

Читатель, вероятно, уже не раз задавался вопросом: каким образом нам стала доступна семейная переписка Барантов? Ответ прост: она сохранилась в копиях в бывшем архиве царского министерства иностранных дел. Переписка французского посла систематически подвергалась перлюстрации, и Николай Павлович сам читал каждое письмо. Он не оставил следов своего чтения против строк, посвященных Лермонтову, но сделал заметки на полях других листов. Так, ревнивые упреки госпожи

Барант своему мужу вызвали всецелое замечание царя: «Забавно».

Таким образом, Николай I знал о согласии, воцарившемся между французским послом, министром иностранных дел и шефом жандармов в отношении к Лермонтову.

Царь не считал возможным настаивать на извинительном письме к Эрнесту Баранту, но свое истинное отношение к поэту выразил два месяца спустя с циничной жестокостью. «Счастливого пути, господин Лермонтов, пусть он прочистит себе голову», — писал он жене, прочитав по ее просьбе «Героя нашего времени»⁶¹.

Это был отказ на ходатайство императрицы о смягчении участи Лермонтова. Литературный талант так же мало защитил поэта от преследований царя, как и достоинство русского офицера.

1

Отзыв «высочайшего» цензора Пушкина о «Герое нашего времени» поражает тем, что он содержится не в официальной бумаге, а в частной переписке царя с царицей. Уже одно это показывает, как изменилось положение поэта в столице императорской России. При дворе стали уделять больше внимания литературе.

После знаменитого письма В. А. Жуковского к отцу Пушкина, после усилий некоторых друзей поэта представить его верноподданным и смиренным христианином, отношение двора к покойному резко изменилось. Бросились к его сочинениям. Этот перелом наглядно иллюстрируется письмом А. И. Тургенева к П. А. Вяземскому, посланным из Киссингена 4 августа 1837 года и описывающим встречи с великой княгиней Марией Павловной. «Я узнал (между нами), — пишет он, — что великая княгиня Мария Павловна была очень предубеждена против Пушкина и, следовательно, сначала не очень жалела о нем, но, кажется, письмо Жуковского к отцу и мои разговоры о нем, особенно анекдот о стихах после холеры*, переменяли мнение. Теперь она и сочинения его и *Современник* выписывает»¹. Такие же свидетельства имеются в переписке В. А. Жуковского и П. А. Плетнева — воспитателей царских детей.

«Я получила новое издание Пушкина, — пишет великая княжна Мария Николаевна 22 июня 1838 года В. А. Жуковскому, — только три тома. Я с наслаждением его читаю; нет, наслаждение не слово avec recueillement! avec option! ** нет, и то не то! да вы понимаете!»² Как

* Речь идет о стихотворении Пушкина «Герой», сопоставляемом современниками с рассказами о бесстрашном поведении Николая I в Москве во время холеры.

** с самоуглублением! с благоговением! (фр.)

видим, молоденькая Мария Николаевна «примиряется» с Пушкиным, так же как и Мария Павловна Веймарская.

Планомерную пропаганду творчества великого поэта взял на себя «русский чтец во дворце» П. А. Плетнев. «Вчера, — пишет он наследнику 26 мая 1837 года, — во время урока у Марии Николаевны изволила присутствовать императрица. Ее величеству угодно было приказать мне прочесть несколько из «Цыган» Пушкина». 28 мая он сообщает, что «у в. к. Марии Николаевны мы говорили много о Пушкине и читали из него. Государыня изволила читать наизусть некоторые места из поэмы «Цыганы». В Петергофе «государыня изволила спросить меня, привез ли я «Полтаву», которую теперь и читает», — отмечает он в следующем письме к наследнику 4 июня 1837 года³.

Так русская императрица стала впервые знакомиться с теми поэмами Пушкина, звуки которых, как вспоминал Белинский, еще за десять лет до того доносились из каждого растворенного окна в уездном городе Чембаре⁴.

Когда после замужества Марии Николаевны (июль 1839 года) ее занятия русским языком прекратились, императрица продолжала посещать уроки своей второй дочери, Ольги. Плетнев читает лирику Пушкина, «Дубровского», «Капитанскую дочку», «Медного всадника», «Езерского» — «с разными присказками». Высокие слушательницы, уподобляясь Юлию Цезарю, исполняют одновременно два или три дела. Внимая чтению, они рисуют или, болтая, позируют художникам, а в одно подобное литературное утро царице даже приносят новорожденную внучку.

Примерно в то же время императрица заинтересовалась автором «Смерти поэта». В начале января 1839 года В. А. Соллогуб писал В. Ф. Одоевскому: «Императрица просила стихи Лермонтова, которые Вы взяли у меня, чтобы списать, и которые, что более соответствует моему, чем Вашему обычаю, Вы мне не вернули»⁵.

По какому поводу беседовала Александра Федоровна с Соллогубом о стихах Лермонтова, остается еще неясным. Но мы располагаем ее ненапечатанными дневником и перепиской. Имя Соллогуба упоминается императрицей в эти же дни, но в другой связи. «На днях я была на маскированном балу у Энгельгардта, — пишет она сыну-наследнику 12 января 1839 года. — Я очень веселилась,

интригуя Головина*, молодого Салагуба, Апони и т. д. и т. д. Было переполнено и в самом деле очень весело»⁶. Эта же маскарадная ночь описана в дневнике подробней: «9 января... к Сесиль (Фредерикс), там нашли Вишнякову, Труб(ецкую), Катр(ин). После приятного ужина в четырехместной карете в маскарад. Как интересно! Салагуб, Головин, Апони, — объяснялась с Перовским, судорога в ноге прошла...»⁷ Возможно, что именно этот маскарад и дал повод для разговора о Лермонтове с одним из его друзей. Это тем более вероятно, что, описывая 3 февраля свой следующий маскарадный выезд, императрица упоминает друзей поэта — А. А. Столыпина-Монго, А. П. Шувалова, А. Карамзина.

«Вечером Софи Б(обринская), Перовский в кабинете. После 11-ти в карете С(офи) под маской и (в costume) летучей мыши с Лили, Трубецкой в маскарад. Атаковала Монго и Шувалова, Карамзин, Трубецкой...», а 8 февраля отмечен разговор о Лермонтове с В. А. Перовским в Петергофе:

8 февраля: «... Читала с Катр(ин) до 1/2 9. Н(икс) лихорадит... Перовский (нрзб.) о Демоне».

9 февраля: «Н(икс) нездоров, я велела пригласить Арендта, вместе читали, завтракать к Шамбо, назад в ландо одни. Н(икса) мучил сплин. Мишель обедал у меня, Н(икс) нет. Вечером чтение Перовского»⁸.

Смысл этих лаконичных заметок расшифровывается в записке императрицы к Бобринской, очевидно написанной 10 февраля 1839 года:

«Вчера я завтракала у Шамбо, сегодня мы отправились в церковь, сани играли большую роль, вечером — русская поэма Лермонтова *Демон* в чтении Перовского, что придавало еще большее очарование этой поэзии. — Я люблю его голос, всегда немного взволнованный и как бы запинаящийся от чувства.

«Об этом у нас был разговор в вашей карете в маскарадную ночь, вы знаете»⁹.

Таким образом, чтение «Демона» во дворце было связано с маскарадными выездами императрицы, где она забавлялась, окруженная приятелями Лермонтова — Монго-Столыпиным, Шуваловым, А. Карамзиным.

Эти новые факты проливают свет на два эпизода биографии Лермонтова, имеющие важное значение для

* Головин — престарелый царедворец, поэтому его фамилию императрица иронически подчеркивает.

творческой истории «Демона» и стихотворения «1-е января».

А. П. Шан-Гирей писал: «Один из членов царствующей фамилии пожелал прочесть «Демона», ходившего в то время по рукам, в списках, более или менее искаженных. Лермонтов принялся за эту поэму в четвертый раз, обделал ее окончательно, отдал переписать каллиграфически и, по одобрении к печати цензурой, препроводил по назначению»¹⁰.

Шан-Гирей связывал этот эпизод с пребыванием Лермонтова в Петербурге зимой 1838—1839 годов. При этом он добавлял, что после этого «Демон» больше не переделывался. Но существовала другая версия, до недавнего времени фигурировавшая во всех советских изданиях сочинений Лермонтова. Там указывалось, что чтение «Демона» при дворе состоялось в приезд поэта в Петербург в 1841 году в отпуск и поэма была прослушана при дворе наследника. Так когда же Лермонтов переделывал «Демона» в последний раз?

Основанием для второй версии служит рассказ родственника Лермонтова, Д. А. Столыпина (младшего брата Монго), дошедший до нас в передаче П. К. Мартынова. Выступив с новыми материалами о поэте уже после А. П. Шан-Гирея, Мартынов писал: «Между тем, некоторые высокие особы из императорской фамилии пожелали ознакомиться с поэмой, и поэт еще раз занялся пересмотром ее, изменил (...) отдал исправленную поэму переписать каллиграфу и переписанный список представил через генерал-адъютанта А. И. Философова (...) В данном случае «Демон» получил окончательную обработку и засим никаким дальнейшим изменениям не подвергался»¹¹.

Нетрудно заметить, что Мартынов попросту повторяет рассказ А. П. Шан-Гирея, механически присоединив к нему сведения Д. А. Столыпина о посредничестве А. И. Философова в 1841 году. При этом Столыпин указывал, что Философов, одним из первых издавший в 1856 году полного «Демона» в Карлсруэ, печатал его с копии, представленной им ко двору в 1841 году. Когда же в 1939 году список «Демона» действительно был обнаружен А. Н. Михайловой в архиве Философовых, версия Мартынова была предпочтена учеными всем другим.

В архиве Философовых была найдена не только копия «Демона», но и переписка по этому поводу. Выяснилось, что перед отъездом в 1856 году в Карлсруэ Философов

получил список «Демона» от гофмаршала Александра II В. Д. Олсуфьева. В бытность нового царя еще наследником престола Олсуфьев как гофмейстер его двора ведал библиотекой и архивом Александра Николаевича. Отсюда и появилась уверенность, что чтение «Демона» происходило при дворе наследника и, как утверждал Мартыянов, в 1841 году¹².

Тем не менее в новых исследованиях о правильном тексте и творческой истории «Демона» этот вывод решительно оспаривался. Изучая многочисленные дореволюционные бесцензурные издания «Демона», сличая рукописи и варианты и анализируя идейное содержание последних редакций поэмы, два исследователя, Д. А. Гиреев и Т. А. Иванова, независимо один от другого пришли к одинаковому выводу. Оба настаивали на том, что Лермонтов в последний раз переделывал «Демона» в период, указанный Шан-Гиреем, то есть в 1838 году. Правильным текстом, по мнению этих исследователей, нужно считать редакцию, законченную 8 сентября 1838 года. Переделки же, внесенные Лермонтовым в «придворную» редакцию, нужно приводить в вариантах, так как, не вытекая из идейных и художественных соображений, они были сделаны под давлением внешних обстоятельств¹³.

При этом Д. А. Гиреев обратил особое внимание на дату, проставленную на «философовском», так называемом придворном, списке «Демона»: там указано, что поэма была закончена «4 декабря 1838 года». Почему же Лермонтов переделывал «Демона» в это время, если ко двору он должен был представить свою поэму лишь в 1841 году? Решив, что «философовский список является только копией «придворного» списка, указанные исследователи не имели возможности объяснить, чем были вызваны коренные существенные изменения поэмы 4 декабря 1838 года. Разные догадки не решали вопроса. И только теперь мы нашли фактическое обоснование новейшим взглядам на творческую историю «Демона».

Достоверно узнав, что В. А. Перовский прочел «Демона» во дворце 8 и 9 февраля 1839 года, мы понимаем, что в это-то время и были сделаны Лермонтовым последние переделки поэмы для представления «одному из членов царствующей фамилии», не названному А. П. Шан-Гиреем, но оказавшемуся императрицей Александрой Федоровной. Совершенно очевидно, что два раза изменить идейное содержание «Демона» для представления ко двору Лермонтов не мог. И, таким образом, оконча-

ние его работы над своей любимой поэмой надо отнести к концу 1838 года, как и указывал Шан-Гирей*.

Но почему же копия «придворного» списка хранилась в бумагах наследника? Ответ на этот вопрос мы находим во второй дате, вынесенной на титульный лист «философского» списка с левой стороны, внизу: «13 сентября 1841 года». До сих пор значение ее оставалось неразгаданным: в это время Лермонтова не было уже в живых. Но мы скоро убедимся, что смерть поэта вызвала новый прилив интереса к его сочинениям при дворе. Очевидно, это коснулось и наследника. Естественно, что он обратился за рукописью к воспитателю младших царских детей, родственнику Лермонтова А. И. Философову, естественно, что тот должен был для этого разыскать ту «придворную» копию, которая была уже представлена императрице в феврале 1839 года. Пока список был отыскан, пока его переписали, настало 13 сентября.

Таким образом, при дворе было два чтения «Демона» — одно при жизни Лермонтова, другое после его смерти.

2

Как мы видели, разговоры императрицы с Соллогубом и Перовским о ненапечатанных стихах Лермонтова были каким-то образом связаны с ее маскарадными забавами. Известно, что в жизнеописаниях поэта большое место занимает некий маскарадный эпизод. Теперь его следует пересмотреть в свете новых данных.

Ссылаясь на устные рассказы бывшего редактора «Отечественных записок» А. А. Краевского и того же В. А. Соллогуба, П. А. Висковатов писал:

«На маскарадах и балах Дворянского собрания, в то время только входивших в моду, присутствовали не только представители высшего общества, но часто и члены царской фамилии. В Дворянском собрании под новый

* Этот наш вывод подтвердился вновь найденным списком «Демона» 1839 г. и другими материалами, собранными и проанализированными Э. Э. Найдичем (см. его статью «Последняя редакция «Демона» в журнале «Русская литература», 1971, № 1, с. 72—78). Выяснилось также, что 7 марта 1839 г. Лермонтов сдал рукопись «Демона» в цензуру и получил одобрение (см. статью В. Э. Вацура о цензурной истории «Демона» в кн.: М. Ю. Лермонтов. Исследования и материалы. Л., Наука, 1979, с. 310—314).

1840 год собралось блестящее общество. Особенное внимание обращали на себя две дамы, одна в голубом, другая в розовом домино. Это были две сестры, и хотя было известно, кто они такие, то все же уважали их инкогнито и окружали почтением. Они-то, вероятно, тоже заинтересованные молодым поэтом и пользуясь свободой маскарада, проходя мимо него, что-то сказали ему. Не подавая вида, что ему известно, кто задел его словом, дерзкий на язык Михаил Юрьевич не оставался в долгу. Он даже прошелся с пышными домино, смущенно поспешившими искать убежища. Выходка молодого офицера была для них совершенно неожиданной и казалась им до невероятности дерзновенною. Поведение Лермонтова, само по себе невпичное, являлось нарушением этикета, но обратить на это внимание и придать значение оказалось неудобным. Это значило бы предать гласности то, что прошло незамеченным для большинства публики. Но когда в «Отечественных записках» появилось стихотворение «Первое января», многие выражения в нем показались непозволительными¹⁴.

Согласно этому рассказу, между маскарадной ночью и стихотворением «Как часто, пестрою толпою окружен...» прошло всего две недели: стихотворение было напечатано уже в первой книге «Отечественных записок» 1840 года (цензурное разрешение 14 января). Возникает недоумение. Если новогодний инцидент был таким острым, как бы мог решиться Лермонтов отдать в журнал, а Краевский напечатать стихотворение с авторским посвящением «1-е января», в котором заключались такие строки:

Когда касаются холодных рук моих
С небрежной смелостью красавиц городских
Давно бестрепетные руки...

Если согласиться с Висковатовым, что это был непосредственный ответ на маскарадную шутку «августейших» дам, такие стихи были бы уж слишком смелыми.

Между тем Тургенев-писатель задолго до Висковатова тоже утверждал в 1869 году в своих «Литературных и житейских воспоминаниях», что он наблюдал Лермонтова на маскараде Дворянского собрания под Новый 1840 год. И он тоже связывал этот бал со стихами Лермонтова «1-е января», хотя, естественно, ни словом не намекнул на инцидент с «высочайшими» домино. «Лермонтова я тоже видел всего два раза, — писал Тур-

гнев, — в доме одной знатной петербургской дамы княгини Ш(аховск)ой и несколько дней спустя, на маскараде в Благородном собрании под Новый 1840 год... ему не давали покоя, беспрестанно приставали к нему, брали его за руки; одна маска сменялась другою, а он почти не сходил с места и молча слушал их писк, поочередно обращая на них свои сумрачные глаза. Мне тогда же почудилось, что я уловил на лице его прекрасное выражение поэтического творчества. Быть может, ему приходили в голову те стихи...» Далее Тургенев цитирует приведенные выше строки о городских красавицах¹⁵.

Тургенев высоко ценил это стихотворение, полностью принял на веру апокрифический рассказ о новогоднем инциденте, легшем в его основу, и в своих воспоминаниях приурочил запомнившуюся ему встречу с Лермонтовым в маскараде к 31 декабря. Еще раньше на связь между новогодним балом и стихотворением «Как часто, пестрою толпою окружен...» указал А. В. Дружинин. Называя эти стихи «бессмертной элегией», он утверждал в 1860 году, что она была «задумана на бале, дописана в невольном уединении»¹⁶. По этому намеку выходит, что Лермонтов был арестован за новогодний инцидент и прямо с гауптвахты прислал Краевскому для опубликования стихотворение с его гневным заключением:

О, как мне хочется смутить веселость их
И дерзко бросить им в глаза железный стих,
Облитый горечью и злостью!

Это было бы безрассудством, граничащим с пустым удалством.

Очевидно, в основу всех этих рассказов лег какой-то подлинный факт биографии Лермонтова, постепенно обрastaвший вымышленными подробностями.

Все эти противоречия заставляют нас проверить точность рассказа Висковатова.

Обращаемся к тогдашним петербургским газетам, в которых регулярно печатались извещения о публичных балах и маскарадах в Дворянском собрании и Большом Каменном театре. Полезные для нас сведения содержатся также в рукописном камер-фурьерском журнале, где отмечалось по часам ежедневное времяпрепровождение царя и царицы. Что же выяснилось? В зимний сезон 1839—1840 годов в Дворянском собрании вообще не было новогоднего маскарада. Был устроен «великолеп-

ный», по словам «С.-Петербургских ведомостей», неко-
стюмированный бал при стечении полутора тысяч гостей.
Среди них «высокне» посетители — царь, наследник пре-
столоа, царский брат и муж старшей дочери Николая I
герцог Лейхтенбергский. Женская часть царской семьи
не упомянута. Это парадное новогоднее торжество со-
стоялось в Дворянском собрании 30 декабря 1839 года¹⁷.
Следовательно, стихотворение, помеченное датой «1-е ян-
варя», не могло явиться непосредственным откликом на
этот официальный праздник, а тем более не могло быть
связано с маскарадным инцидентом, так как бал 30 де-
кабря не был костюмированным.

Первый публичный маскарад Дворянского собрания
в этом сезоне был устроен вскоре после Нового года —
9 января 1840 года¹⁸. Но эта дата уже не может иметь
отношения к стихотворению Лермонтова, написанному
1 января.

В газетных отчетах о новогоднем бале 30 декабря об-
ращает на себя внимание отсутствие на этом бале импе-
ратрицы и царских дочерей. Это не случайно. Тут мы
должны распутать еще одно недоразумение.

Ввиду того, что Висковатов сообщил о столкновении
Лермонтова с «двумя сестрами», принадлежавшими к
царской семье, а Мария Николаевна «заказала» Солло-
губу повесть, высмеивающую светское значение поэта,
было принято считать, что под «розовым и голубым до-
мино» скрывались старшие дочери Николая I — Марья
и Ольга¹⁹. Но мы должны отказаться от этой версии,
познакомившись ближе с обстановкой тех лет. Мария
Николаевна в июле 1839 года вышла замуж за герцога
Максимиллиана Лейхтенбергского и вскоре перестала
выезжать в публичные собрания. Она ждала ребенка и
28 марта 1840 года родила дочь. Ясно, что она не могла
появиться в домино на маскараде под Новый 1840 год.
Ольга Николаевна, находившаяся еще под надзором при-
дворных учителей и воспитательниц, была в конце
1839 года тяжело больна много недель. Опасались за ее
жизнь. Только 8 декабря миновал кризис, и врачи объ-
явили о начале выздоровления²⁰. После этого дня Ольга
Николаевна даже заново училась ходить, как она пишет
сама в своих позднейших воспоминаниях²¹. Следова-
тельно, предположение о столкновении Лермонтова с цар-
скими дочерьми отпадает.

Между тем публичный новогодний маскарад все-таки
был в Петербурге в 1840 году, но не в Дворянском со-

брании, а в Большом Каменном театре. На этот маскарад указал ряд советских исследователей после того, как в первом издании книги «Судьба Лермонтова» мною было сообщено об отсутствии новогоднего маскарада в Дворянском собрании. Но в театре маскарад был устроен не под Новый год, как ошибочно утверждали упомянутые исследователи²², а уже в новом году, в ночь с 1 на 2 января. Костюмированные балы в Большом театре начинались обычно после окончания спектаклей, в 11 часов 30 минут вечера. Вся знать съезжалась после полуночи. В частности, читаем в камер-фурьерском журнале, что 1 января 1840 года царь выехал «в возке» из дворца в Большой театр уже в «50 минут 12-го часа», а вернулся во дворец в «55 минут 2-го часа пополудни»²³, то есть под утро 2-го. На этом маскараде с ним опять были наследник и великий князь Михаил Павлович. Все это позволило некоторым авторам прийти к выводу, что стихотворение Лермонтова было адресовано не «розовому и голубому» домино, а самому царю и его близким. Но Лермонтов не мог бы его написать ранее 2-го января, а ведь не случайно он поставил над своим стихотворением дату «1-е января». Поэтому для установления прямой связи между маскарадом в Большом театре и стихотворением Лермонтова требуется уж слишком большая натяжка.

Мало того. Состав платных маскарадов, устраниваемых театральной дирекцией, был гораздо пестрее, чем в Дворянском собрании, куда по именным членским билетам съезжалась отборная публика²⁴. Недаром в повести Соллогуба «Большой свет», вышедшей в 1840 году, о разношерстной публике маскарадов в Большом театре говорится так: «Много здесь женщин и первого сословия, и второстепенных сословий, и таких, которые ни к какому сословию не принадлежат». Рядом с этой характеристикой строки Лермонтова о бестрепетных руках городских красавиц не выглядят оскорбительными, если сопоставлять их с театральным маскарадом в ночь с 1 на 2 января.

В советской научной литературе было высказано еще одно предположение: дата «1-е января», выставленная Лермонтовым, ничего не означает. Он, мол, просто хотел отметить начало года²⁵. Но такие намерения более свойственны бухгалтеру, чем поэту. Мы знаем в раннем творчестве Лермонтова восемь стихотворений, где дата играет большую роль, являясь заглавием. Из них только три

посвящены внешним событиям: «10 июля» — политическому, а «7 августа» и «28 сентября» — любовным встречам. Остальные отражают события внутренней жизни поэта — день душевной омраченности, или обостренного видения природы, или озарения глубокой мыслью. Таков философский монолог «1831-го июня 11 дня» («Моя душа, я помню, с детских лет. . .»). Вернее всего, день 1 января тоже был важен Лермонтову внутренним наполнением. Остальное — доделали сочувствующие читатели и политические недоброжелатели.

Все это заставляет нас попытаться установить, где же встречал Новый год Лермонтов, и проверить, действительно ли в стихотворении «Как часто, пестрою толпою окружен. . .» описан маскарадный бал.

По первому вопросу мы не располагаем прямыми материалами, но существуют косвенные, достаточно веские. Так, 3 января 1840 года П. А. Вяземский писал из Петербурга за границу жене и больной дочери: «Новый год встретили мы, разумеется, у Карамзиных. Пили шампанское за себя и за вас, а я вместе с шампанским проглотил несколько слез. После отправились мы к Одоевскому, там пунш и чернильный народ, между прочим и редактор полицейских ведомостей. В Новый год был бал у Баранта, вчера раут у Разумовских, сегодня бал у Юсуповых. . . вчера от раута Разумовских (нрзб.) маленький раутик к Валуевым»²⁶.

Возможно, что встреча Нового года у Карамзиных и В. Ф. Одоевского не прошла без Лермонтова, завсегда-тая этих двух дружественных ему домов. Мы не можем быть уверенными, что поэт посетил все перечисленные Вяземским святочные светские собрания, но в том, что он был на новогоднем балу в французском посольстве, нас уверяет, как уже говорилось, исследователь, пользовавшийся семейным архивом Барантов. Это был блестящий фешенебельный бал, конечно не маскарадный, на который в 5 часов дня приехали ненадолго императрица и наследник²⁷. Можно ли считать «1-е января» прямым откликом на этот бал?

Прежде всего, в стихотворении описан не конкретный бал. Это лирическая медитация, посвященная самоощущению поэта на публичных балах. На это указывают такие обороты: «Как часто. . . когда. . . И если как-нибудь. . . удастся мне забыться. . . Когда ж, опомнившись, обман я узнаю, и шум. . . вспугнет мечту мою. . .» Тут собирательное время, подразумевающее многократное повторе-

ние одинаковой ситуации. Но навеяна эта медитация могла быть балом у Баранта, куда так не хотел допустить приглашения Лермонтова Бенкендорф.

Ну а маскарад? Если обратиться к стихотворению Лермонтова непредвзято, в нем нельзя найти ни одного признака маскарада. Сравним его с двумя произведениями Лермонтова, непосредственно посвященными маскарадам, — «Из-под таинственной, холодной полумаски. . .» и драмой «Маскарад».

Арбенин отзывается о поведении великосветских дам: «. . . Диана в обществе. . . Венера в маскараде. . .» Объяснение этой хлесткой формулы находим в более пространной характеристике тех же дам: «И если маскою черты утаены, // То маску с чувств снимают смело». Вся роль баронессы Штраль подтверждает меткость сарказмов Арбенина. В стихотворении «1-е января» «мелькают» диаметрально противоположные образы — «образы бездушные людей, // Приличьем стянутые маски».

В стихотворении «Из-под таинственной, холодной полумаски. . .» звучит «отрадный, как мечта» голос незнакомки. Ее «живые речи» следует противопоставить «дикому шепоту затверженных речей» нзвогоднего стихотворения.

Тут «шум музыки и пляски», а в маскарадах не танцуют, и Звездич на вопрос Арбенина «не набрели еще на приключенье?» отвечает: «Как быть, а целый час *хожу!*» * Леонин из соллогубовской повести «в двадцатый раз обмерял шагами все залы — и все напрасно: никто с ним не останавливался, никто не обращал на него внимания. Ноги его подкашивались от усталости». Корф наблюдал в Большом театре, как «все *ходят по воле*»²⁸, в соллогубовском маскараде гости «ходят будто по Невскому». П. А. Вяземский шутливо называл маскарады «моционом»: «ходишь себе три часа взад и вперед с шляпой на голове и не боишься, что заденут сани или дышло»²⁹.

Даже «пестрая толпа» лермонтовского стихотворения не соответствует цветовой характеристике маскарадных балов. Соллогуб описывает их так: «Толпы все мерно волновались вокруг залы. Большая часть масок расхаживала *одноцветными* ** фалангами. . .» «Взгляни на этих черных атласных барынь», — обращается один из персо-

* Курсив мой. — Э. Г.

** Курсив мой. — Э. Г.

нажей повести к главному герою, а графиня Воротынская из той же повести наряжена «в прекрасное домино, обшитое черным кружевом». Через несколько часов в длинном ряду кресел мелькнуло пред Леониным «черное домино с кружевом» все той же Воротынской. Этот наряд не случаен. В «Северной пчеле» упоминалось 1 февраля 1840 года «о темных шелковых капуцинах, установленных ныне нашими дамами неизменным маскарадным костюмом». Одни цветные фраки мужчин не создадут, конечно, впечатляющей гаммы красок, характерной для «пестрой толпы».

В лермонтовской драме обстановка маскарада воспроизведена точными чертами. В первой же ремарке читаем: «Толпа проходит взад и вперед по сцене; налево канапе». Приключение Звездича с баронессой начинается с того, что «одна маска отделяется и, ударив его по плечу», заводит с ним интригующий разговор. Арбенин безжалостно «тащит за руку мужскую маску»: «Вы мне вещей наговорили // Таких, сударь, которых честь // Не позволяет перенести...» Сцена потери Ниной браслета не менее груба: «На канапе сидят две женские маски, кто-то подходит и интригует, берет за руку... одна вырывается и уходит, браслет спадает с руки». Все грубо, резко, аритмично. В такой обстановке не рождаются мечтанья, забытые, взгляд на окружающее «как будто бы сквозь сон». В «1-м января» чувствуется «блеск утомительный бала» (как в стихотворении, посвященном М. А. Щербатовой), его эстетическое колдовство. Движенья к знаменитой развязке строятся на борьбе с завораживающей силой бездушного ритуала великосветского бала, частые enjambements * как будто исподволь взрывают плавное течение строф, подготавливая силу удара заключительной инвективы. Но для обличенья маскарада «железный стих» не нужен. «Горечь» и «злость» не покажутся неслыханной дерзостью разнузданным маскам, имитирующим венецианский карнавал.

Очевидно, стихотворение «Как часто, пестрою толпою окружен...» только по инерции связывают с маскарадом. Ложная традиция ведет свое начало от городских толков о какой-то выходке Лермонтова на костюмированном балу в Дворянском собрании. Между тем и без этой выходки стихотворение с датой «1-е января» звучало достаточно вызывающе по отношению к великосвет-

* Перенос части целой фразы из одной стихотворной строки в другую (фр.).

скому обществу, веселящемуся в новогодние дни во главе с царем. И когда во время истории дуэли с Барантом обнаружилось явное преследование Лермонтова Бенкендорфом, все это вместе соединилось в сознании современников со слухами о маскарадном эпизоде. Так в литературных кругах родилась устойчивая легенда, изложенная П. А. Висковатовым в написанной им биографии Лермонтова.

Но следует ли из этого, что никакого столкновения поэта с высокопоставленными «домино» никогда не было? Мы не имеем права так решительно отвергать версию, которую Висковатов передавал со слов А. А. Краевского, одного из ближайших и достоверных свидетелей жизни Лермонтова в Петербурге. Не случилось ли маскарадное происшествие ранее, независимо от Нового 1840-го года? Не связано ли оно с тем временем, когда императрица, как мы видели, интриговала в маскараде Дворянского собрания близких приятелей Лермонтова и одновременно интересовалась им самим и его стихами? Поставленные вопросы заставляют нас обратиться к более ранним событиям, чтобы проследить, как развивались взаимоотношения Лермонтова с двором после его возвращения из первой кавказской ссылки в Петербург в 1838 году.

3

Обращаемся к той поре, когда Лермонтов еще не прославился своими стихами на смерть Пушкина, был незаметным корнетом лейб-гвардии гусарского полка и только узкому кругу его друзей было известно, что он пишет стихи и прозу. Вспомним еще раз драму в стихах «Маскарад», написанную им в 1835—1836 годах и запрещенную цензурой из-за «слишком резких страстей и характеров», а также потому, что в ней «добродетель недостаточно награждена»³⁰. По всей вероятности, Лермонтову не было тогда известно, что в особую вину ему были поставлены нападки на маскарады, устраиваемые Дворянским собранием в доме Энгельгардта. Прямо указав этот адрес в первом действии: «Ведь нынче праздники и, верно, маскарад // У Энгельгардта. . .», во втором действии Лермонтов чрезвычайно резко отзывается об этих празднествах:

Как женщины порядочной решиться
Отправиться туда, где всякий сброд,

Где всякий ветренник обидит, осмеет;
Рискнуть быть узнанной. . .

«Я не понимаю, как автор мог допустить такой дерзкий выпад против костюмированных балов в доме Энгельгардта», — возмущенно писал цензор Ольдекоп. А читая в конце года исправленную Лермонтовым рукопись драмы, повторяет: «В новом издании мы находим те же самые непристойные нападки на костюмированные балы в доме Энгельгардта, те же дерзости против дам высшей знати»³¹.

Отзыв Ольдекопа, как доказано советскими исследователями, был инспирирован самим Бенкендорфом. Характерна догадка цензора Ольдекопа, предположившего, что сюжет «Маскарада» основан на истинном петербургском происшествии.

Негодование III Отделения приобретет в наших глазах особенную остроту, если знать, что уже в эти годы в числе знатных маскированных дам нередко скрывалась сама императрица. В дневниковой записи Д. Ф. Фикельмон от 14 февраля 1833 года подробно описан дебют жены Николая I на этом поприще:

«Бал-маскарад в доме Энгельгардта. Императрица захотела туда съездить, но самым секретным образом и выбрала меня, чтобы ее сопровождать. Итак, я сначала побывала на балу с мамой, через час оттуда уехала и вошла в помещение Зимнего дворца, которое мне указали. Там я переменяла маскарадный костюм и снова уехала из дворца вместе с императрицей в наемных санных и под именем m-lle Тимашевой. Царица смеялась как ребенок, а мне было страшно: я боялась всяких инцидентов. Когда мы очутились в этой толпе, стало еще хуже — ее толкали локтями и давили не с большим уважением, чем всякую другую маску. Все это было ново для императрицы и ее забавляло. Мы атаковали многих. Мейендорф, модный красавец, который всячески добивался внимания императрицы, был так невнимателен, что совсем ее не узнал и обошелся с нами очень скверно. Лобанов тотчас же узнал нас обеих, но Горчаков, который провел с нами целый час и усадил нас в сани, не подозревал, кто мы такие. Меня очень забавляла крайняя растерянность начальника полиции Кокошкина — этот бедный человек очень быстро узнал императрицу и дрожал, как бы с ней чего не случилось. Он не мог угадать, кто же такая эта m-lle Тимашева, слыша, как выкликают ее экипаж. Кокошкин не решался ни последо-

вать за нами, ни приблизиться, так как императрица ему это запретила. Он действительно был в такой тревоге, что жаль было на него смотреть. Наконец, в три часа утра я отвезла ее целой и невредимой во дворец и была сама очень довольна, что освободилась от этой ответственности»³².

Подобное же приключение зафиксировано в дневнике императрицы за 1 марта 1834 года, причем внимание ее привлек не кто иной, как Дантес — ее новый протеже. В камер-фурьерском журнале находим такое описание этого вечера: «После ужина 40 мин. 12-го часа вечера их величества выезд имели в карете в дом г-жи Энгельгардт (...) где изволили присутствовать в публичном маскараде. Государь император, одетый в кавалергардский мундир и венециане*, изволил проходить по комнатам дома, а ее величество с фрейлинами гр. Тизенгаузен и гр. Шереметьевой сидели в ложе»³³. Если императрица, по свидетельству камер-фурьера, только из ложи смотрела на забавляющегося с маскированными дамами Николая I, то после отъезда во дворец она вернулась в дом Энгельгардта уже под маской. Об этом ясно сказано в ее дневнике за 1 марта 1834 года: «... поехали в ложу. Смотрели маскированный бал. Около часу уехали, но опять туда с Соф. Бобр. и Катрин. Немного интриговали. Дантес, *bonj. m. gentille***, но не так красно, как в прошлом году. В $\frac{3}{4}$ 3 домой...»³⁴ Следовательно, присутствие замаскированной императрицы в камер-фурьерском журнале не отмечалось.

Увлечение царствующей четы маскарадами имело политический резонанс. Так, в свое время еще Пушкин, описывая в дневнике «приватный» маскарад в Анничковом дворце, заключал: «В городе шум. Находят все это неприличным» (1835)³⁵.

Видимо, эти толки отразились в «Маскараде» Лермонтова.

Поскольку эта драма не увидела света при жизни автора, «дерзости» его против «дам высшей знати» остались незамеченными современниками. Но хорошо осведомленный писатель А. Н. Муравьев утверждал, что цензура (то есть III Отделение) получила «неблагоприятное мнение о заносчивом писателе, что ему вскоре

* Мужской головной убор, обязательный при посещении маскарадов.

** здравств(вуй), м(оя) милашка (фр.).

отозвалось неприятным образом»³⁶. Муравьев имел в виду небывалое по смелости политическое выступление Лермонтова, охарактеризованное Бенкендорфом как «бесстыдное вольнодумство, более чем преступное»³⁷. В то же время Николай I приказал провести медицинское освидетельствование Лермонтова, чтобы «удостовериться, не помешан ли он». Речь шла о знаменитом «прибавлении» к «Смерти поэта» (то есть о последних шестнадцати строках, направленных прямо против двора: «Вы, жадную толпой стоящие у трона, // Свободы, Гения и Славы палачи!»).

«Надменные потомки // Известной подлостью прославленных отцов» никогда не могли простить до тех пор безвестному нетитулованному гусарскому офицеру его вмешательство в их генеалогические распри.

Однако Лермонтов, высланный за эти стихи на Кавказ, вскоре был прощен царем. Формально это было сделано по личной просьбе Бенкендорфа. Из биографии Лермонтова известно, что Бенкендорф снизошел к мольбам бабушки поэта, не пожалевшей сил и средств для спасения внука. Но думается, что здесь был дальний прицел. Царь и его слуга предпочитали держать неблагонадежного поэта под рукою, в столице и Царском Селе, чтобы легче было над ним надзирать. Это соображение поддерживается тем, что именно «по совету гр. Бенкендорфа» Е. А. Арсеньева «не пускала в отставку» Лермонтова, к которой он стремился с самого начала своей вторичной службы в лейб-гвардии гусарском полку*.

Помилованный царем и прославленный своими стихами, Лермонтов занял в Петербурге совсем новое для себя положение. Зимой 1838—1839 годов он сам об этом писал в подробном письме к М. А. Лопухиной: «Я пустился в *большой свет*; в течение месяца на меня была мода, меня буквально разрывали. Это, по крайней мере, откровенно. Весь этот свет, который я оскорблял в своих стихах, старается осыпать меня лестью; самые хорошенькие женщины выпрашивают у меня стихи и хвастаются ими, как величайшей победой. . .»

В ту же пору, 16 января 1839 года М. А. Корф писал в своем тайном дневнике:

«Элементы, из которых составляются все эти балы *большого света*, довольно трудно обнять какими-нибудь

* Цитирую по рассказу П. А. Висковатова, ссылавшегося на сообщения А. А. Краевского и А. П. Шан-Гирея³⁸.

общими чертами. Разумеется, что на них бывает весь аристократический круг; но *кто именно* составляет этот круг в таком государстве, где одна знатность происхождения не дает сама по себе никаких общественных прав, — объяснить не легко. В этом кругу есть всего понемножку, но нет ничего, так сказать, dokonченного, округленного. Тут есть и высшие административные персонажи, но не все; некоторые отделяются от светского шума по летам, другие по привычке и наклонностям. Точно так же в этом кругу есть и богатые и бедные, и знатные и ничтожные, даже такие, о которых удивляешься, как они туда попали, не имея ни связей, ни родства, ни состояния, ни положения в свете! Между тем весь этот круг, как заколдованный: при 500 000 населения столицы, при огромном дворе, при централизации здесь всех высших властей государственных — он состоит не болес, как из каких-нибудь 200 или 250 человек, считая оба пола, и в этом составе переезжает с одного бала на другой, с самыми маленькими и едва заметными изменениями, так что в этом кругу, то есть в особенно так называемом *большом свете*, невозможно и подумать дать в один вечер два бала вдруг. Молодые люди-танцоры попадают легче, но тоже не без труда. Так, например, флигель-адъютанты и кавалергардские офицеры почти все везде; конногвардейских много; прочих полков можно всех назвать наперечет, а некоторых мундиров, например, гусарского, уланского и большей части пехотных гвардейских решительно нигде не видать. Появление в этом эксклюзивном кругу *нового* лица, старого или молодого, мужчины или женщины, так редко и необыкновенно, что составляет настоящее происшествие. Заключю одним: человеку, не посвященному в таинства петербургских салонов, невозможно ни по каким соображениям угадать à priori, кто принадлежит к большому кругу и кто нет. Есть министры, члены Государственного совета, генерал-адъютанты, статс-секретари, придворные чины, — не говоря уже о сенаторах, которых нигде никогда не увидишь, которые решительно никуда не приглашаются: есть люди знатные по роду и богатству, просвещенные, со всеми формами лучшего общества, которые в том же положении; и есть, напротив, — как я уже сказал, — люди совершенно ничтожные, которые везде бывают, которых *везде* зовут, большею частью потому, кажется, что они играют в высокую игру, до которой некоторые из наших баричей большие охотники»³⁹.

Знаменательно наблюдение Корфа о лейб-гусарских мундирах. Не на Лермонтова ли намекал он, трактуя появление нового лица в «большом свете» как необыкновенное происшествие? Новшеством являлось также появление новых танцоров на балах в Аничковом дворце. В пушкинские времена на эти роли предназначались преимущественно офицеры кавалергардского полка. Теперь выбор хозяйки пал на однополчан Лермонтова. Уже с октября 1838 года в записях камер-фурьерского журнала начинают мелькать имена лейб-гусаров — приятелей или родственников Лермонтова. Так, 9 октября среди приглашенных к званому парадному ужину в Царском Селе мы видим А. Г. Столыпина и Монго-Столыпина. Рядом с ними — А. П. Шувалова и А. Н. Долгорукого, о которых мы расскажем позже подробнее в связи с их участием в «кружке шестнадцати», членом которого был Лермонтов. 3 и 29 января 1839 года эти лейб-гусары приглашаются в Аничков дворец для танцев⁴⁰. Но ведь мы помним, что в эти же дни императрица интриговала под маской Монго-Столыпина и Шувалова, Соллогуба и Александра Карамзина. Не в эту ли пору произошел маскарадный инцидент с Лермонтовым, породивший легенду о стихотворении «1-е января»? У нас нет прямого свидетельства, что поэт присутствовал на маскарадах в доме Энгельгардта в январские и февральские дни 1839 года, но тень его витает на этих собраниях — о нем говорят. Именно в январе императрица просит у Соллогуба доставить ей неизвестное стихотворение Лермонтова, именно в маскарадной карете шел ее разговор с Перовским о Лермонтове и его «Демоне». И в это же время при дворе стали шепотом говорить о маскарадных приключениях жены Николая I. Так, М. А. Корф, описывая 2 февраля 1839 года посещения публичных маскарадов царем, прибавляет: «На некоторых маскарадах бывает и императрица, но всегда маскированная и интригует мужчин не хуже другой какой-нибудь дамы. В таком случае обер-полицмейстеру поручается достать для нее какую-нибудь городскую карету, с лакеями в полуободранных ливреях, и она приезжает в совершенном инкогнито. Завеса поднимается разве только для каких-нибудь самых приближенных, а масса публики никогда не знает с достоверностью, тут ли императрица или нет»⁴¹.

Предположение, что героиней маскарадной выходки Лермонтова была императрица и что произошло это про-

исшествие за год до стихотворения «1-е января», поддерживается одним существенным выпадом в повести Соллогуба «Большой свет», писавшейся в 1839 году*.

Повесть открывается описанием маскарада в Большом Каменном театре: там происходит завязка всего романа. Леонина (Лермонтова) атакует «первая петербургская дама» графиня Воротынская. С этого дня Леонин вовлекается в «большой свет» под покровительством графини, которое он принимает за чистую монету. В эпилоге, когда интрига раскрывается, Сафьев, обращаясь к бабушке Леонина, вспоминает: «В маскараде начались нападения графини на вашего внука, и он, несмотря на мои советы, поверил всем ее заманкам». В дальнейших убийственных разоблачениях Сафьева упоминается «лучший приятель Леонина князь Щетинин» (а его прототип сам Соллогуб!), который «смеялся вместе с графиней над его простотою». Это ключ к замыслу повести.

4

«Самая свежая и поразительная наша новость, — писала императрица сыну-наследнику за границу в конце сентября 1838 года, — Маша Трубецкая выходит замуж за гусарского офицера Столыпина, зятя Философова. Ему 32 года, он красив, благовоспитан, хорошо держится, добр и очень богат, чем тоже не следует пренебрегать. Они купаются в блаженстве, семья действительно нуждалась в утешении после небывалых родов этой весной. Говорят, что Сергей очень похудел, у него сокрушенный вид»⁴².

Сообщая будущему царю Александру II интересующую его новость, императрица упоминает в этом письме о трех близких Лермонтову людях.

Уже знакомый нам А. И. Философов пользовался в царской семье большим доверием. Так, свое известное письмо к Михаилу Павловичу о смерти Пушкина Николай I послал брату через его адъютанта Философова⁴³. В это время Философов уже был женат на родственнице Лермонтова — Анне Григорьевне Столыпиной и хлопо-

* Об этой повести см. ниже главу «За кулисами «Большого света».

тал о Лермонтове во время ссылки его за стихи на смерть Пушкина.

Сергей Трубецкой, родной брат фаворита императрицы, насильно обвенчанный Николаем с беременной Е. П. Пушкиной, был другом Лермонтова, а впоследствии и секундантом его на дуэли с Мартыновым.

А. Г. Столыпин, хотя формально приходился Лермонтову лишь двоюродным дядей, фактически заменял ему старшего брата. По его совету Лермонтов поступил в юнкерскую школу с определением в лейб-гусарский полк. Выйдя в 1834 году в офицеры, Лермонтов поселился в Царском Селе на общей квартире с обоими Алексеями Столыпинными — то есть Монго и будущим мужем княжны Трубецкой.

А. Г. Столыпин опекал молодых гусар, вел общее хозяйство, руководил ими в полку. По-видимому, после возвращения Лермонтова из первой кавказской ссылки все трое опять жили вместе в Царском Селе.

Императрица очень отличала Марию Трубецкую. «И вот Маша сговорена, — пишет она С. А. Бобринской. — Вы поймете, как я обрадована этой новостью, совершенно неожиданной»⁴⁴. В дневнике она отмечает 27 сентября 1838 года: «Трубецкая Маша — невеста Столыпина»⁴⁵.

Какое-то особое значение имел для императрицы и день свадьбы, происходившей уже зимой. В свою маленькую записную книжку она вклеивает на память розовую ленточку и подписывает: «Свадьба Марии Столыпиной. 22 января 1839»⁴⁶.

24 января императрица пишет сыну: «Кстати, позавчера состоялась свадьба Марии Трубецкой и Столыпина: Это была прямо прелестная свадьба. Жених и невеста... восхищенные родственники той и другой стороны. Мы, принимающие такое участие, как будто невеста — дочь нашего дома. Назавтра все явились ко мне, отец, мать, шафера с коробками конфет и молодожены, прекрасно одетые»⁴⁷. Подробно описывая накануне эту свадьбу в дневнике, Александра Федоровна называет еще два имени: «...Шафера с конфетами (Ал(ександр) Тр(убецкой) и Монго-Столыпин)...»⁴⁸

Среди «восхищенных родственников» жениха присутствовал и Лермонтов. При этом надо иметь в виду, что А. Г. Столыпин представил в церемониальную часть список из сорока своих родственников, но на венчании в Аничковом дворце из них присутствовало только семна-

дцать *. Как видим, Лермонтов не был исключен из списка «приглашенных от их императорских величеств», как гласит запись камер-фурьерского журнала за 22 января 1839 года⁴⁹. Вместе с тем на венчании во дворце не было родного брата невесты Сергея Трубецкого: он был в немилости у царя. Следовательно, автор «Смерти поэта» был сознательно допущен на это полусемейное торжество царской семьи. Эти факты создают впечатление, что Лермонтова хотели приручить.

Читая запись камер-фурьерского журнала за 22 января 1839 года, мы можем ясно себе представить, как Лермонтов вместе со своими родными ожидал в церкви Анничкова дворца выхода невесты, окруженной царской четой и их тремя дочерьми, очевидно, тоже «кушал шампанское вино и чай» в белой комнате дворца после венчания и был затем среди тех, кто встретил царя в доме молодоженов. Николай I принял там новобрачную «по обыкновенному порядку иконою», потом «кушал чай» и через полчаса, откланявшись «бывшим в доме обоюго пола особам», возвратился в собственный дворец. Надо думать, что наблюдательный глаз поэта останавливался не только на лицах царя и членов его семьи, но и на других приглашенных со стороны невесты. Среди них были графы Строгановы, Бобринские... Лермонтов не мог не знать, что эти семейства покровительствовали Дантесу и защищали его после гибели Пушкина.

Но заметили ли «высочайшие особы» маленького гузара среди родственников «со стороны жениха»? Упоминалось ли его имя за ужином царской семьи, на который были приглашены только С. А. Бобринская и В. А. Перовский? На этот вопрос ответить трудно, но не далее как через две недели Перовский говорил с императрицей о Лермонтове, читал ей «Демона», а Александра Федоровна делилась своими впечатлениями с Бобринской в одной из своих очередных записочек.

Замужество не отдалило Марию Столыпину от дворца. Напротив, она постоянно обедает за царским столом, дружит с великой княгиней Марией Николаевной, занимает собой наследника.

П. В. Долгоруков в своих позднейших петербургских памфлетах, печатавшихся за границею, отзывался о

* Подробнее об этом см. мою заметку «Лермонтов в Анничковом» — в кн.: М. Ю. Лермонтов. Исследования и материалы. Л., Наука, 1979, с. 178—179.

М. В. Столыпиной как о женщине «ловкой», «бойкого ума», «искусной пройдохе и притом весьма распутной»⁵⁰. Он описывает скандальную историю ее второго брака в 1851 году с князем С. М. Воронцовым после смерти А. Г. Столыпина: ловкий отказ князя А. И. Бярятинского жениться на вдове, хотя его просил об этом наследник, согласие Воронцова, за что эта фамилия получила титул «светлейших». . . Рассказывая об этом, Долгоруков исходил из общеизвестного факта близости М. В. Столыпиной и с наследником и с Бярятинским.

В повести «Хаджи-Мурат» Л. Н. Толстой показывает ничтожество С. М. Воронцова и его полное подчинение жене, «знаменитой петербургской красавице», которую Толстой называет ее настоящим именем.

Теперь мы узнаем, что Лермонтов был ближайшим свидетелем начала специфической придворной карьеры М. В. Столыпиной. Еще тогда наследник был поражен известием о ее свадьбе. «Поручаю тебе поздравить милую Машу [Труб] Столыпину, я не могу себе представить, что она замужем!!» — пишет он из Турина великой княжне Марии Николаевне 9 февраля 1839 года⁵¹.

В связи с женитьбой А. Г. Столыпин вышел из лейб-гусарского полка. 8 июля 1839 года он был назначен адъютантом герцога Максимилиана Лейхтенбергского, вступавшего в брак с великой княжной Марией Николаевной.

Головокружительная карьера этого родственника Лермонтова с самого начала вызывала недоброжелательные и завистливые толки «свинского Петербурга». М. А. Корф приводит 24 мая 1839 года в своем дневнике характерный эпизод: «Наследник не пропускает ни одного курьера, чтобы не прислать императрице какого-нибудь подарка. На днях письмо с такою посылкою вручено было императрице в то время, как она прогуливалась по царскосельским улицам пешком. В нетерпении своем прочесть письмо милого сына, она вошла в один из тех домов, которых прежде никогда еще не удостоивала своим посещением, именно к гусару Столыпину, всплывшему наверх через недавнюю женитьбу свою на княжне Трубецкой, дочери генерал-адъютанта, и вошла без спросу и без доклада. Последствием этого было, что она застала хозяйку в глубоком неглиже за флигелем, а хозяина в архалуке, с гитарою. Между тем, в городе говорят, что императрица была у Столыпиных, тогда

как она зашла собственно к ним как в ближайший дом, чтобы прочесть письмо наследника. . .»⁵²

Как бы ни опровергал Корф городские сплетни о приближении ко двору Столыпиных, в своем дневнике он зафиксировал, что они циркулировали по великосветскому Петербургу. Это должно было ставить в двусмысленное положение и Лермонтова. Недаром, по словам Висковатова, «враги охотно выставляли Лермонтова прихвостнем Столыпина в гостиных столицы»⁵³. К этому времени относятся письма поэта к Лопухиным, свидетельствующие о его чрезвычайно угнетенном состоянии.

Рассказывая московским друзьям о своем литературном успехе в высшем кругу, он говорит о своей скуке, желании бежать на Кавказ или хотя бы в отпуск в Москву. Во втором письме, посланном А. А. Лопухину в конце февраля или начале марта 1839 года, Лермонтов говорил о каких-то конкретных фактах, усугубивших его тяжелое настроение. «Признаюсь тебе, я с некоторого времени* ужасно упал духом. . .» — начинает Лермонтов, но. . . передавая это письмо П. А. Висковатову, Лопухины оторвали его конец.

5

К осени 1839 года относится эпизод, указывающий на дерзкое противодействие Лермонтова растленным обычаям царской семьи и придворного круга. Об этом происшествии глухо рассказал П. А. Висковатов в своей книге, а в позднейшем письме к Е. А. Боброву подробнее. Но так как письмо, по словам Боброва, в полном виде не подлежало опубликованию, мы знаем о его содержании только в его изложении. «Лермонтову и Столыпину-Монго, — писал он, — удалось спасти одну даму от назойливости некоего высокопоставленного лица. Последнее заподозрило в проделке Бярятинского, потому что и он ухаживал за этой дамой. И личный неуспех и негодование на него высокого лица побудили Бярятинского возненавидеть как Столыпина, так и Лермонтова»⁵⁴. А в своей книге биограф поэта сообщил, что Столыпин в связи с этой историей вынужден был выйти в отставку. «У него была неприятность, — объяснял Висковатов, — по поводу одной дамы, которую он защитил от назойли-

* Курсив мой. — Э. Г.

востях некоторых лиц. Рассказывали, что ему удалось дать ей возможность незаметно скрыться за границу (...). В этом деле Лермонтов, как близкий друг Монго, принимал деятельное участие. Смелый и находчивый, он главным образом руководил делом. Всю эту скандальную историю желали замять и придавать ей как можно меньше гласности. Но злоба к Лермонтову некоторых лиц росла. Бенкендорфу, очевидно, хотелось «добраться» до поэта (...). Его проникновение туда (в высшее общество. — Э. Г.), независимая манера держаться, да еще вмешательство в *интимные дела*, вызывали раздражение против него»⁵⁵.

Висковатов правильно относил это происшествие ко времени, предшествовавшему конфликту Лермонтова с Барантами. Но мы можем датировать этот эпизод еще точнее.

«Высочайший» приказ об отставке Столыпина был подписан 4 ноября 1839 года. А 2 ноября Александр Иванович Тургенев ездил к А. С. Меншикову «просить за Лермонтова и за Цынского»⁵⁶. Соединение двух таких несопоставимых имен, как поэт Лермонтов и московский полицмейстер Цынский, позволяет допустить, что хлопоты Тургенева были связаны с попытками переправить даму за границу. Это тем более вероятно, что, согласно документам военно-исторического архива, Цынский с 18 сентября 1839 года находился в шестимесячном отпуске в Одессе⁵⁷. Оттуда дама могла воспользоваться для бегства морским путем. Не следует при этом забывать, что А. С. Меншиков был начальником Главного морского штаба.

Ни в сообщении Боброва, ни в книге Висковатова не открыто имя дамы. Это породило в лермонтовской литературе несколько догадок. Но, так как ни одна из них пока не нашла документального подтверждения, мы не будем здесь останавливаться на них. Для нас важнее другое.

П. А. Висковатов в молодости служил чиновником для особых поручений при фельдмаршале А. И. Бяратинском и часто разговаривал с ним о Лермонтове. В своей книге Висковатов намекал, что Бяратинский мешал служебной карьере поэта. Зная, что военная карьера Лермонтова складывалась из сплошных гонений, мы понимаем, что Бяратинский мог этому содействовать только при посредстве наследника, у которого в лермонтовское время он был адъютантом и ближайшим дове-

ренным лицом. Отрицательные отзывы о Лермонтове исходили из былого окружения наследника даже после смерти Александра II. Так, А. В. Адлерберг, престарелый министр двора, в молодости тоже бывший адъютантом и фаворитом наследника, в 40-х годах грубейшим образом охарактеризовал Лермонтова в разговоре с отцом писателя Д. С. Мережковского. При этом Адлерберг ссылаясь на то, что знал поэта лично⁵⁸. Это показывает, что Лермонтов имел против себя во дворце могущественную «партию» — партию наследника. Все это свидетельствует о той борьбе, которая велась в царской семье вокруг замечательного поэта. Это станет еще яснее, если мы перечтем письмо Николая I о «Герое нашего времени» (в новом переводе с подлинника).

6

Царь взял с собой книгу Лермонтова, прощаясь с больной женой в Эмсе. В сопровождении Бенкендорфа и Орлова 12 июня 1840 года он сел на пароход «Богатырь», доставивший его в Петергоф. 12(24) июня Николай начал свое письмо к императрице и продолжал его во все время плавания.

13(25) июня — первое упоминание о романе Лермонтова: «Я работал и читал всего *Героя*, который хорошо написан. Потом мы пили чай с Орловым и болтали весь вечер; он неподражаем».

Утром 14(26) июня путешественник вновь приступил к чтению. В три часа дня царь пишет: «Я работал и продолжал читать сочинение г. Лермонтова. Второй том я нахожу менее удачным, чем первый. Погода стала великолепной, и мы могли обедать на верхней палубе. Бенкендорф ужасно боится кошек, и мы с Орловым мучим его — у нас есть одна на борту. Это наше главное времяпрепровождение на досуге».

В семь часов вечера роман был дочитан. «За это время, — пишет Николай, — я дочитал до конца *Героя* и нахожу вторую часть отвратительной, вполне достойной быть в моде. Это то же самое изображение презренных и невероятных характеров, какие встречаются в нынешних иностранных романах. Такими романами портят нравы и ожесточают характер. И хотя эти кошачьи вздохи читаешь с отвращением, все-таки они производят болезненное действие, потому что в конце концов при-

выкаешь верить, что весь мир состоит только из подобных личностей, у которых даже хорошие с виду поступки совершаются не иначе как по гнусным и грязным побуждениям. Какой же это может дать результат? Презрение или ненависть к человечеству! Но это ли цель нашего существования на земле? Люди и так слишком склонны становиться ипохондриками или мизантропами, так зачем же подобными писаниями возбуждать или развивать такие наклонности! Итак, я повторяю, по-моему, это жалкое дарование, оно указывает на извращенный ум автора. Характер капитана набросан удачно. Приступая к повести, я надеялся и радовался тому, что он-то и будет героем наших дней, потому что в этом разряде людей встречаются куда более настоящие, чем те, которых так неразборчиво награждают этим эпитетом. Несомненно, кавказский корпус насчитывает их немало, но редко кто умеет их разглядеть. Однако капитан появляется в этом сочинении как надежда, так и не осуществившаяся, и господин Лермонтов не сумел последовать за этим благородным и таким простым характером; он заменяет его презренными, очень мало интересными лицами, которые, чем наводить скуку, лучше бы сделали, если бы так и оставались в неизвестности — чтобы не вызывать отвращения. Счастливый путь, г. Лермонтов, пусть он, если это возможно, прочистит себе голову в среде, где сумеет завершить характер своего капитана, если вообще он способен его постичь и обрисовать»⁵⁹.

Немецкий историк Т. Шиман, получивший доступ к рукописям из библиотеки Зимнего дворца еще при самодержавии, не мог перевести с должной точностью письмо Николая I о Лермонтове. Нельзя было предать гласности грубое сравнение дневника Печорина с кошачьими стенаниями, скуку царя при чтении «Княжны Мери» и «Фаталиста» — произведений, давно вошедших в золотой фонд художественной литературы. В 1913 году, когда вышла книга Шимана, двору было бы уже неловко читать такие эпитеты царского письма, как «грязные» побуждения лермонтовских персонажей или самодовольный приговор самодержца о русском классике — «жалкое дарование». Последнее выражение — «pitoyable talent» — Шиман прочел как «pitoyable livre» (жалкая книга) и поэтому слова «я повторяю» понял как усиление и подтверждение предшествующего отзыва о «Герое нашего времени». Но теперь, когда мы знаем, что во дворце еще раньше читали «Демона», мы понимаем, что спор между

царем и царицей о литературном значении Лермонтова велся уже давно.

Царицу чрезвычайно взволновала дуэль Лермонтова с Барантом. «Лермонтов и Монго Столыпин все еще ждут суда, — пишет она сыну. — Печальная история эта дуэль, она доставит тебе огорчение; молодой Барант *уже уехал в Париж*»⁶⁰.

Видимо, императрица опасалась, что вынужденный отъезд из России сына французского посла произведет неприятное впечатление при немецких дворах, куда наследник направился для обручения с принцессой Дармштадтской. «Вы, конечно, слышали толки о дуэли между г. Лермонтовым и молодым Барантом? — пишет она Бобринской 11 марта 1840 года. — Я очень этим встревожена»⁶¹. Этой записке предшествовал долгий разговор с Екатериной Тизенгаузен. «. . вдвоем с Катрин, — записывает императрица в дневнике 11 марта. — Много говорили о дуэли между Лермонтовым (гусаром) и молодым Барантом не <нрзб.>»⁶².

Из этих беглых фраз не видно, на чьей стороне было сочувствие императрицы — семейства Барантов или Лермонтова. Но в эти же дни она заносит в маленькую записную книжку строки из стихотворения Лермонтова. Они служат как бы эпиграфом к страничке, начатой между 12—21 марта и посвященной каким-то интимным переживаниям императрицы. Воспроизведем текст этой странички:

В минуту жизни трудную
Теснится в сердце грусть.

Ум за разум
Я и он <по-французски>
Пятница 21 марта <по-французски>

Доводы сердца не всегда разумны <по-французски>

Я в постоянном размышлении о том, что вы значите для меня <по-французски>.

28 апреля <по-французски>⁶³

Не случайно выписаны императрицей строки из «Молитвы». Она опять возвращается к этому стихотворению летом 1840 года, когда лечится в Эмсе. Строки Лермонтова подходят к ее настроению, подавленному из-за болезни, разлуки с семьей и свежей утраты — смерти отца, прусского короля Фридриха-Вильгельма III.

Одну молитву чудную
Твержу я наизусть, —

записывает она 23 июля⁶⁴. В это время императрица уже получила от Николая I письмо с резким отзывом о «Герое нашего времени». «Ты находишь, что я правильно оценил сочинение Лермонтова», — пишет царь жене 1 июля. Но вряд ли это согласие Александры Федоровны с приговором мужа было искренним. Если Николай безапелляционно нашел талант Лермонтова «жалким», то религиозная императрица видела залог спасения от «сатанинских» искушений автора «Демона» и «Героя нашего времени» в таких произведениях, как «Молитва». Доказательством этого служит выход в свет романа «Молитва» в феврале 1841 года. Слова Лермонтова были положены на музыку Феофилактом Толстым, придворным композитором, постоянным посетителем литературно-музыкальных вечеров императрицы⁶⁵.

Николай и Бенкендорф следили за печатными выступлениями поэта. Доказательством этому служит негодование, возбужденное стихотворением «1-е января». Вряд ли прошло незамеченным стихотворение «Памяти А. И. О-го», напечатанное в декабрьской книге «Отечественных записок» 1839 года. и оплакивающее смерть А. И. Одоевского, одного из «друзей по 14 декабря» Николая I. «Думу», «Поэта», «И скучно и грустно» царь понимать не мог и, вероятно, находил не менее скучными, чем дневник Печорина. Но во всей печатающейся в «Отечественных записках» лирике Лермонтова он инстинктивно чувствовал враждебную и не подчиняющуюся ему силу.

Начало письма Николая к императрице (опущенное Шишманом) позволяет догадываться об участии в обсуждении «Героя» Бенкендорфа. Дурачась на борту «Богатыря», шеф жандармов сумел, видимо, поделиться с Николаем своим взглядом на творчество Лермонтова. Этот вывод поддерживается сходством царского письма с давним отзывом цензуры III Отделения о «Маскараде», где драма молодого писателя сравнивалась с французскими «романами ужасов». В 1835 году цензор Ольдекоп писал: «Желать, чтобы у нас были введены чудовищные драмы, от которых отказались уже и в самом Париже, — это более, чем ужасно, этому нет названия». Если по содержанию этот инспирированный Бенкендорфом отзыв напоминает позднейшее письмо Николая о «Герое нашего времени», то по стилю он родствен собственноручной записке Бенкендорфа к царю о стихах Лермонтова на смерть Пушкина: «Вступление к этому сочинению дерз-

ко, а конец — бесстыдное вольнодумство, более чем преступное»⁶⁶.

В 3 часа дня 14 июня 1840 года царь сообщает царице, что утром он читал «Княжну Мери» и «работал», то есть занимался делами с Бенкендорфом. После обеда дурачились с кошкой и читали «Героя нашего времени». Тут и родилось уподобление мыслей и страстей Печорина кошачьим серенадам. Глумление над героем лермонтовского романа пропитано личной ненавистью к автору и Бенкендорфа и царя.

Мы знаем из письма госпожи Барант, что Бенкендорф не хотел допустить приезда Лермонтова в столицу в 1841 году, имея намерение предоставить ему отпуск во «внутреннюю Россию». Николай, однако, разрешил Лермонтову приехать в Петербург. Лицемерие деспота теперь уже хорошо известно. Изучена его излюбленная общая тактика — держать подозреваемых им лиц в наибольшей близости к себе, чтобы постоянно иметь их под рукой для пристального наблюдения. Немаловажную роль в проявленной по отношению к Лермонтову мягкости играло нежелание возбуждать общественное мнение, которое так неожиданно заявило о себе в незабываемые дни проводов тела Пушкина. Эта скрытая игра обманула многих современников и биографов Лермонтова. Не было замечено, например, что первый же инцидент по приезде поэта в Петербург в 1841 году был связан с самим Николаем.

В конце февраля Лермонтов писал А. И. Бибикову из Петербурга (т. VI, с. 457—458):

«Скоро еду опять к вам, и здесь остаться у меня нет никакой надежды, ибо я сделал вот такие беды: приехав сюда в Петербург на половине масленицы, я на другой же день отправился на бал к г(рафине) Воронцовой, и это нашли неприличным и дерзким»⁶⁷.

Упомянутый эпизод был обыгран мемуаристами с большими неточностями. В. А. Соллогуб относил его к предыдущему году, связывая с высылкой Лермонтова за дуэль с Барантом, а М. Н. Лонгинов отодвинул к самому концу пребывания Лермонтова в Петербурге в 1841 году. К тому же М. Н. Лонгинов приписывал главную роль в этом эпизоде П. А. Клейнмихелю. Эту же версию принял П. А. Висковатов, который, впрочем, добавлял, что Клейнмихель действовал по настояниям Бенкендорфа. В таком же виде версия о последней высылке Лермонтова перешла в комментарии к письмам Лермон-

това в советских изданиях. Но это плод недоразумения. Клейнмихель по занимаемой им должности дежурного генерала Главного штаба был только непосредственным исполнителем «высочайшей» воли. Не был он также компетентен в решении вопроса о том, какие балы было разрешено посещать Лермонтову. Правда, Соллогуб вспоминал с красочными подробностями, что недоволен встречей с Лермонтовым на балу у Воронцовой-Дашковой был Михаил Павлович. Однако дело обстояло не так.

Масленичный бал у графа Воронцова-Дашкова в 1841 году был устроен 9 февраля. Собираясь туда, М. А. Корф записал в своем дневнике: «Сегодня — масляничное воскресенье — *folle jougnée* празднуется в первый раз у гр. Воронцова. 200 человек званы в час; позавтракав, они тотчас примутся плясать и потом будут обедать, а вечером в 8 часов в подкрепление к ним званы еще 400 человек, которых ожидают, впрочем, только танцы, карты и десерт, ужина не будет, как и в других домах прежде в этот день его не бывало»⁶⁸.

Программа придворного бала в точности совпадает с распорядком дня на таком же балу, устроенном во дворце в 1834 году. Пушкин описал этот бал в своем дневнике: «Избранные званы были во дворец на бал утренний, к половине первого. Другие на вечерний, к половине девятого. Я приехал в 9. Танцевали мазурку, коей оканчивался утренний бал. Дамы съезжались, а те, которые были с утра во дворце, переменяли свой наряд. Было пропасть недовольных: те, которые званы были на вечер, завидовали утренним счастливым»⁶⁹.

Лермонтов, конечно, был зван не на парадный обед, куда ждали наследника и Михаила Павловича, а — так же, как Пушкин в 1834 году и Корф в 1841 году, — на вечер. Этот вечер описан Корфом 10 февраля:

«На вчерашнем вечернем бале Воронцова был большой сюрприз и для публики, и для самих хозяев, — именно появление императрицы, которая во всю нынешнюю зиму не была ни на одном частном бале. Она приехала в 9 часов, и, уезжая в 11, я оставил ее еще там. Впрочем, она была только зрительницею, а не участницею танцев. Государь приехал вместе с нею. Оба великие князя были и вечером и утром»⁷⁰.

Итак, поэт был замечен среди других шестисот приглашенных на том придворном балу, куда неожиданно явилась императрица в сопровождении императора.

«Кабы знал, где упасть, соломки бы подостлал», — писал по этому поводу Лермонтов Бибикову.

Ясно, что сам Николай настиг Лермонтова своим «орлиным взором» и сделал замечание Михаилу Павловичу. Личное раздражение играло большую роль у Николая Павловича при решении судеб своих подданных. Когда в скором времени до него дошли наградные списки кавказских офицеров за летнее сражение при Валерике, царь собственноручно вычеркнул Лермонтова.

Лермонтов не мог не знать, кто лишил его награды, однако, сообщая об этом Бибикову, употребил безличную форму: «Из Валерикского представления меня здесь вычеркнули». Так же, как и в фразе «это нашли неприличным и дерзким», Лермонтов имел в виду Николая I, которого нельзя было называть в письме. Эту аналогию следует распространить и на последнее письмо Лермонтова к Е. А. Арсеньевой из Пятигорска (28 июня): «То, что вы мне пишете о словах г. Клейнмихеля, я полагаю, еще не значит, что мне откажут отставку, если я подам: он только просто не советует; а чего мне здесь еще ждать? — Вы бы хорошенько спросили только, выпустят ли, если я подам» (т. VI, с. 461). И в этом случае Лермонтов имел в виду Николая I, и только Николая I, так как ни один офицер из гвардейских в то время не мог выйти в отставку без «высочайшего соизволения». Краевский и Соллогуб называли инициатором последней высылки Лермонтова Клейнмихеля только потому, что не смели назвать истинного ее виновника.

А. А. Краевский сообщал, что в Петербурге Лермонтов еще твердо надеялся на отставку. Откуда у поэта могла быть такая уверенность?

Тут нам помогут некоторые впервые установленные даты прохождения его дела «по прошению Е. А. Арсеньевой», начатого в военном министерстве 11 декабря 1840 года. По описи (само дело не сохранилось) значится, что датой окончания этого дела было 21 февраля 1841 года. Очевидно, это было предписание Лермонтову выехать обратно в полк 9 марта, о чем он и писал Бибикову. Однако просьбы об отсрочке сделали свое, первоначальная дата окончания дела зачеркнута в описи, и вместо нее появилась помета: «Закончено 31 марта». В этот день было послано два «ответа», как сказано в описи: №№ 2670 и 2671⁷¹. Очевидно, один ответ был послан для исполнения по инстанциям, а другой — Лермонтову. Ему был указан окончательный срок возвраще-

ния — вероятно, скорый. Но Лермонтов медлил, чего же он ждал?

16 апреля, в день бракосочетания наследника, ожидалась большая «милости». Зная это, В. А. Жуковский обращался неоднократно с просьбами о прощении Лермонтова. Это очень подробно документировано в одной из новых публикаций М. И. Гиллельсона «Последний приезд Лермонтова в Петербург»⁷². 24 марта Жуковский передал императрице письмо бабушки Лермонтова. Ответ неизвестен, но, как мы знаем, 31 марта поэт не уехал и, судя по всему, был уверен, что попадет под амнистию. 11 и 13 апреля в дневник Жуковского внесены черновики его обращения к наследнику. Жуковский горячо убеждал его заступиться лично перед царем за декабристов, Герцена и Лермонтова. В просьбе о Герцене, видимо, отказал сам наследник. А Лермонтов в этот же день уже прощался с друзьями: накануне он неожиданно получил предписание в течение двух суток покинуть Петербург. По всей вероятности, император, узнав из обращенных к нему просьб, что Лермонтов еще здесь, пришел в ярость.

Лермонтов уехал 14 апреля, а 17 была объявлена амнистия, так же как награждения и повышения по случаю свадьбы наследника. Арсеньева пришла в отчаяние, не видя там имени своего внука: они оба еще продолжали надеяться. 18-го она обращается к Жуковскому (через С. Н. Карамзину), умоляя его напомнить императрице: «...попросите Василия Андреевича напомнить государыне, вчерашний день прощены: Исаков, Лихачев, граф Апраксин и Челищев; уверена, что и Василий Андреевич извинит меня, что я его беспокою, но сердце мое растерзано...»⁷³

«Как же так? — читается между строк, — ведь было обещано!» И Жуковский опять говорил 20 апреля с императрицей. Безуспешно!

В тот же день П. А. Вяземский писал А. И. Тургеневу:

«Лермонтов был здесь и опять отправился на Кавказ не по новой причине, а все по прежней»⁷⁴.

Да. Нового обвинения Лермонтову не было предъявлено. Но в конце июня, когда царь узнал, что во время прошлогодней осенней экспедиции Лермонтову была предоставлена возможность командовать казачьей сотней охотников, он уже не скрывал своей ярости. «Зачем не при своем полку? Велеть непременно быть налицо во

фронте и отнюдь не сметь под каким бы то ни было предлогом удалять от фронтовой службы при своем полку», — написал он на рапорте командующего Отдельным кавказским корпусом, вторично отказывая Лермонтову в награде⁷⁵. Этим повелением царь отказывал Лермонтову в выслуге — мера, которая применялась к самым опасным или государственным преступникам.

Царский гнев обращался не только на ненавистного ему поэта, но и на тех, кто осмеливался ему покровительствовать. Распекающая резолюция Николая I, очевидно, произвела переполох среди кавказского военного командования. По крайней мере, П. А. Висковатов обронил в своей книге фразу о том, что П. Х. Граббе имел большие неприятности за попустительство Лермонтову. После смерти поэта это было уже бессмысленно. Между тем П. И. Бартенев утверждал, что официальная бумага Клейнмихеля, излагающая 30 июня содержание резолюции Николая о Лермонтове, пришла на Кавказ уже после дуэли. Действительно, путь между Петербургом и Пятигорском был длинным. Так, официальные известия о смерти Лермонтова попали в столицу только на семнадцатый день после события. Однако в Москве о нем узнали еще 26 июля, из частного письма. Кавказские начальствующие лица были связаны разными нитями со многими петербургскими сановниками и канцеляриями, они тоже могли услышать об угрожающей им резолюции Николая еще до дуэли. Нельзя не сопоставить эти факты с неожиданным вызовом Мартынова 13 июля. Безмерно самолюбивый майор был умело доведен кем-то до крайнего раздражения.

7

Когда известие о гибели Лермонтова пришло 2 августа в Петербург, обнаружилась вся сила ненависти к поэту не только Николая, но и всего двора. Так, узнав об участии своего сына в пятигорской дуэли, князь И. В. Васильчиков сказал 5 августа М. А. Корфу: «Не буду, конечно, скрывать, что я опечален происшествием, но наиболее тем, что сын мой мог состоять в тесной связи с таким человеком, каков был Лермонтов, *sans foi ni loi*» *⁷⁶.

В словах ближайшего фаворита Николая отразился взгляд на жизнь и личность поэта, прочно установивший-

* без стыда и совести (*фр.*).

ся при дворе. В рукописных материалах к биографии председателя Государственного совета И. В. Васильчикова Корф пользовался выписками из своего дневника и расшифровал смысл фразы о Лермонтове. «Но наиболее огорчило оно меня в том, — передает он по-новому реплику своего начальника, — что сын мой мог состоять в тесной связи с Лермонтовым — человеком, который, по общему отзыву, не имел ни правил, ни религии, ни высшего нравственного чувства; правда, он имел зато талант, который действует так обаятельно на молодых людей, и мог увлечь и моего молодца»⁷⁷.

15 августа П. А. Плетнев услышал «некоторые подробности о дуэли Лермонтова» от попечителя Петербургского университета князя М. А. Дондукова-Корсакова, тоже осудившего поэта. Он навел Плетнева на мысль, что Лермонтов «не дорожил жизнью и не нашел в ней источника высшей деятельности»⁷⁸. Это почти то же, что и слова Васильчикова об отсутствии у Лермонтова «высшего нравственного чувства». Поэт, пафос творчества которого заключался, по определению Белинского, в «нравственных вопросах современности», был заклеен великосветскими развратниками как человек без высоких моральных идеалов. «Его смерть — событие весьма горестное, так как с ним ушел в могилу и его блестящий талант, но вся его жизнь доказывает, что правительство было совершенно право, когда удалило его из Петербурга: остается только пожалеть, что стремление к добру не преобладало в его моральном облике, ни в его литературной деятельности»⁷⁹. Так вбивал осино-вый кол в могилу Лермонтова Н. И. Греч, написавший по заказу III Отделения и самого Николая ответ на книгу Кюстина «Россия в 1839 году». «Гречеправительственная книга», по словам Герцена, показавшая «все расстояние между народом и Петербургом», была издана на французском языке в Париже в 1844 году.

Ненависть Николая I к поэту мы можем угадать и в беседе царя с И. В. Васильчиковым 8 августа 1841 года. 12-го Корф записал в своем дневнике: «Князь Васильчиков виделся с государем и остался очень доволен результатом аудиенции в отношении к своему сыну... Между тем, быв сегодня у князя, я нашел перед ним раскрытым на столе роман Лермонтова «Герой нашего времени». Князь вообще читает очень мало, и особенно по-русски; вероятно, эта книга заинтересовала его теперь только в психологическом отношении: ему хочется ближе

познакомиться с образом мыслей того человека, за которого приходится страдать его сыну»⁸⁰.

Первый государственный сановник, открывающий книгу у Лермонтова после царской аудиенции, — эта зарисовка с натуры говорит о многом. Очевидно, разговаривая с Васильчиковым о смертельной дуэли поэта, царь повторил ему свою прошлогоднюю оценку «Героя нашего времени». Вряд ли он стеснялся в выражениях. Вот почему Васильчиков-сын впоследствии так уверенно передал в печати слова «одной высокопоставленной особы» об убитом Лермонтове: «Туда ему и дорога». (Фраза «Собаке — собачья смерть» с прямым указанием на авторство Николая распространилась еще в 40-х годах со слов зятя И. В. Васильчикова — флигель-адъютанта И. Д. Лужина⁸¹.)

Вспомним также известный рассказ редактора «Русского архива». «Государь по окончании литургии, — пишет П. И. Бартенев в 1911 году, — войдя во внутренние покои кушать чай со своими, громко сказал: «Получено известие, что Лермонтов убит на поединке». — «Собаке — собачья смерть!» Сидевшая за чаем великая княгиня Мария Павловна (Веймарская, «жемчужина семьи»)... вспыхнула и отнеслась к этим словам с горьким укором. Государь внял сестре своей (на десять лет его старше) и, вошедши назад в комнату перед церковью, где еще оставались бывшие у богослужения лица, сказал: «Господа, получено известие, что тот, кто мог заменить нам Пушкина, убит». Слышано от княгини М. В. Воронцовой, бывшей тогда еще замужем за родственником Лермонтова А. Г. Столыпиным»⁸².

Но почему, описывая эту сцену, М. В. Столыпина умолчала об отношении к поэту императрицы? Не могла же она не знать о сильном впечатлении, произведенном на нее смертью Лермонтова. На это есть указание в дневнике императрицы 7 августа 1841 года: «Гром среди ясного неба. Почти целое утро с великой княгиней, стихотворения Лермонтова...»⁸³ А отплывая 12 августа домой на пароходе «Богатырь», веймарская меценатка везла с собой две книги — «Стихотворения» и «Героя нашего времени». «Подарок, которым Вы меня удостоили — сочинения Лермонтова — сам по себе был для меня слишком дорог, чтобы я не могла не предпочесть в нашем путешествии это чтение всякому другому, — писала Мария Павловна императрице уже из Потсдама 23 августа старого стиля. — Из его стихотворений лучшими в сбор-

нике я нахожу одно под названием «Тучи» и еще две пьесы. . .»⁸⁴

Знал ли Николай, провожая вместе с Михаилом Павловичем великую княгиню до Толбухина маяка, что она везет с собой подарок его жены? В это утро царь подписал «высочайший приказ» об исключении из списков офицеров умерших поручика Тенгинского пехотного полка Лермонтова и капитана Жерве *, умершего от полученных на Кавказе ран⁸⁵.

В тот же день императрица писала С. А. Бобринской:

«Вздых о Лермонтове, об его разбитой лире, которая обещала русской литературе стать ее выдающейся звездой.

Два вздоха о Жерве, о его слишком верном сердце, этом мужественном сердце, которое только с его смертью перестало биться для этой ветреной Зинаиды»⁸⁶.

В письме из Пютсдама Мария Павловна осторожно подсказывает императрице правильное суждение о романе и стихах Лермонтова. «Читая эти сочинения, я часто спрашивала себя, каково было Ваше мнение о том или другом месте, и позволяла себе его угадывать», — заканчивает она свой разбор «Героя нашего времени». Но вряд ли литературные вкусы великой герцогини Саксен-Веймарской совпали в этом случае с пристрастиями ее «высокой сестры». В то время как императрица с непонятым упорством перечитывает и обдумывает роман Лермонтова, отзыв Марии Павловны, по существу, не отличается от оценки, сделанной ее царствующим братом. Прислушаемся к ее словам:

«Его роман отмечен талантом и даже мастерством, но если и не требовать от произведений подобного жанра, чтобы они были трактатом о нравственности, все-таки желательно найти в них направление мыслей или намерений, которое способно привести читателя к известным выводам. В сочинении Лермонтова не находишь ничего, кроме стремления и потребности вести трудную игру за властвование, одерживая победу посредством своего рода душевного индифферентизма, который делает невозможной какую-либо привязанность, а в области чувства часто приводит к вероломству. Это — заимствование, сделанное у Мефистофеля Гете, но с тою большою разницей, что в «Фаусте» диавол вводится в игру

* См. главу «Кружок шестнадцати».

лишь затем, чтобы помочь самому Фаусту пройти различные фазы своих желаний, и остается второстепенным персонажем, несмотря на отведенную ему большую роль. Лермонтовский же герой, напротив, является главным действующим лицом, и, поскольку средства, употребляемые им, являются его собственными и от него же и исходят, их нельзя одобрить».

Мария Павловна, под эгидой которой в Веймаре спокойно жил и творил великий Гете, увидела в Печорине только слепок с Мефистофеля. Николай Павлович сравнивал «Героя нашего времени» с современными иностранными романами и воспользовался этим случаем, чтобы лишний раз засвидетельствовать свою ненависть к «молодой Франции». Михаил Павлович, читая «Демона», выразил на своем грубом языке общее отношение членов царствующей фамилии к личности и творчеству поэта: «Был у нас итальянский Вельзевул, английский Люцифер, немецкий Мефистофель, теперь явился русский Демон, значит, нечистой силы прибыло. Только я никак не пойму, кто кого создал: Лермонтов ли духа зла, или же дух зла — Лермонтова»⁸⁷.

В этой плоской остроте отразилось общее непонимание самобытного значения русской литературы, характерное для всей царствующей фамилии. Грубо интерпретировал также великий князь ханжеские рассуждения царя о высшей нравственной цели, якобы отсутствующей у Лермонтова. Нечего и говорить, что уподобление поэта «духу зла» согласовалось с общим отношением к Лермонтову всех членов царской семьи.

Несмотря на свое несомненное культурное превосходство над братьями, веймарская герцогиня тоже отказалась увидеть в «Герое нашего времени» положительное начало.

Исключением явилась только Александра Федоровна. Это тем более странно, что в своих оценках других русских писателей она не отступала от тривиальных нравственно-религиозных и политических требований, предъявляемых к литературе монархической властью. Так, даже над гробом Пушкина императрица не смогла не попрекнуть его «сатанизмом» в духе Байрона. В 1842 году она отрицательно отнеслась к «Мертвым душам», негодуя на резкую критику русских административных нравов и опасаясь неблагоприятного впечатления за границей в случае перевода поэмы Гоголя на иностранные языки⁸⁸. Не было у нее также увлечения новой фран-

цузской литературой, хотя она и была ее усердной читательницей. Аналитический роман Шарля Бернара, несомненно учтенный Лермонтовым при создании «Княжны Мери», вызвал, например, ее возмущение: «Жерфо! — восклицает она в письме к Бобринской 1840 года. — Какой ужасный конец! Что за человек! Какая расчетливость в глубине этой деланной страсти! Я возмущена этой книгой, но прочитать ее надо»⁸⁹. Почему же аналитическая исповедь Печорина, имеющего много родственных черт с героем романа Бернара, так интересовала императрицу? Трудно найти прямой ответ на этот вопрос.

8

Первые сведения о смерти Лермонтова содержали в себе «ужасные», по словам Ю. Ф. Самарина, «подробности». Очевидцы уверяли, что Мартынов застрелил Лермонтова, нарушив все дуэльские правила. Фраза «убийство, а не дуэль» не сходила с языка взволнованных современников до тех пор, пока власти не приняли мер и не распространили другую, официальную, версию о поединке Лермонтова с Мартыновым. В толках о событии указывались разные мотивы, руководившие убийцей поэта. Большинство искало причины ссоры в личных взаимоотношениях противников. Совсем другое направление приняла беседа П. А. Вяземского с одним из царедворцев, которая происходила 4 августа 1841 года в Царском Селе. Содержание этого разговора передано в известных строках из «Старой записной книжки» П. А. Вяземского. Они часто цитируются, но не становятся от этого понятнее.

«По случаю дуэли Лермонтова, — писал Вяземский, — князь Алек. Ник. Голицын рассказывал мне, что при Екатерине была дуэль между Голицыным и Шепелевым. Голицын был убит, и не совсем правильно, по крайней мере, так в городе говорили и обвиняли Шепелева. Говорили также, что Потемкин не любил Голицына и принимал какое-то участие в этом поединке»⁹⁰.

Известие о гибели Лермонтова не было случайным поводом для исторических воспоминаний старого царедворца. Дуэль Голицына и Шепелева была известным и часто поминаемым в дворцовых кулуарах трагическим и позорным эпизодом. Еще задолго до пятигорской трагедии А. И. Тургенев касается не совсем ясных в его

записи подробностей этой кровавой интриги, ссылаясь в своем дневнике на рассказы того же А. Н. Голицына: «Екатерина и Панин. Смерть к. Голицына — Шепелевым (кн. Прозоровская, его невеста, любила до смерти). В Зимнем дворце Шепелев шпагой задевает ее, она увидела и уехала (со слов кн. Волконской)» (26 августа 1839 г.)⁹¹.

Пушкин писал об этом же эпизоде в «Замечаниях о бунте» Пугачева еще в 1834 году:

«Князь Голицын, нанесший первый удар Пугачеву, был молодой человек и красавец. Императрица заметила его в Москве на бале (в 1775) и сказала: «Как он хорош! настоящая куколка». Это слово его погубило. Шепелев (впоследствии женатый на одной из племянниц Потемкина) вызвал Голицына на поединок и заколол его, сказывают, изменнически. Молва обвиняла Потемкина»⁹².

Голицын и Волконская хорошо помнили эту преступную дворцовую интригу XVIII века, Пушкин и Тургенев знали о ней и оценивали как исторический материал, разоблачающий подлые нравы самодержавия. Вяземскому незачем было вновь излагать это происшествие, если бы он не хотел зафиксировать, что А. Н. Голицын сравнивал предательское убийство екатерининского генерала с гибелью Лермонтова. Находясь на расстоянии более тысячи верст от места катастрофы, Голицын и Вяземский толковали, следовательно, о том, что в кавказской дуэли косвенно принимало участие лицо, равное по могуществу Г. А. Потемкину — морганатическому мужу Екатерины II. Запись Вяземского намекает на прямую аналогию между положением генерала Голицына, имевшего несчастье понравиться императрице, и опального поэта, привлечшего к себе внимание Александры Федоровны. Параллель не покажется слишком смелой, если перенести внимание с автора «Записной книжки» на его собеседника.

Князь Александр Николаевич Голицын известен в русской истории своим мракобесием, особенно в ту пору, когда он был министром духовных дел и просвещения в правительстве Александра I и создателем реакционного Библейского общества. Менее известно, что престарелый царедворец был также ближайшим доверенным лицом Николая I. Голицын пользовался исключительным правом входа к царю без доклада. Ему поручался надзор за царскими детьми во время отсутствия «августейших» родителей. Его советами Николай пользовался при

выборе чтения. В 1840 году Голицын участвовал в духовных песнопениях, устраиваемых Николаем I на «собственной даче» великой княгини Марии Николаевны в специфической обстановке: кроме названных лиц, известной святоши Потемкиной и двух-трех фрейлин, туда никто не имел доступа. Таким образом, Голицын, начавший свою придворную карьеру еще при Екатерине, до тонкости знал интимную жизнь двора Николая I. 8 августа 1841 года, когда царь говорил с И. В. Васильчиковым об участии его сына, он дал также аудиенцию Бенкендорфу, Чернышеву и А. Н. Голицыну⁹³.

Доживая свой век, Голицын занимал должность начальника почтового департамента, где завел параллельно с III Отделением систему перлюстрации корреспонденции. По этому поводу у него возникли трения с Бенкендорфом, жаловавшимся, что жандармы Кавказского округа «не могут быть откровенными» в донесениях своему шефу. Борьба между двумя фаворитами закончилась «высочайшим» повелением (25 апреля 1840 года) о неприкосновенности почты, направляемой в III Отделение, корпус жандармов и лично Бенкендорфу. Тем не менее в тифлисской почтовой конторе был оставлен чиновник, имевший право вскрывать «подозрительные корреспонденции» и представлять из них выписки кн. А. Н. Голицыну, а также главноуправляющему Грузией Е. А. Головину. Последний обязывался «лично распечатывать доставляемые ему для перлюстрации пакеты и сохранять их в строгой тайне»⁹⁴. Так под ревнивым взглядом старого интригана Бенкендорф прибирал к своим рукам кавказскую вольницу.

Осведомленность А. Н. Голицына в секретной деятельности шефа жандармов на Кавказе и во всех извилинах дворцовых интриг, присутствие при беседах Николая о гибели Лермонтова делают ссылку на него Вяземского особенно убедительной.

«Дворцовая» версия о причинах гибели Лермонтова находила, очевидно, тайное распространение. Отсюда купюры в рукописях о личной судьбе поэта, отсюда глухое молчание вместо написанной биографии писателя-классика.

Но рядом с тайной придворной версией сразу после смерти поэта родилась и другая — политическая.

А. И. Тургенев получил известие о гибели Лермонтова, живя под Парижем. Толки о предательском харак-

тере дуэли во Францию не дошли. «Отправился получить грустные письма от гр. Вельгурск(ой) из Гавра, от Мюллера из Дьепа, — а Лермонтова не стало», — записывает Тургенев 23 августа (4 сентября) 1841 года⁹⁵. На следующий день он пишет в Москву А. Я. Булгакову: «Графиня Вельгурская уведомила меня уже о смерти Лермонтова, и я оплакиваю и талант и преступление»⁹⁶.

Л. К. Виельгорская писала из Гавра 19(31) августа:

«Вам, вероятно, уже известна плачевная кончина Лермонтова. Подобно Пушкину, он сделался жертвою неугомонного ума. Неизвестно мне, с кем он дрался, *roué commerage des gamins* (из-за мальчишеской сплетни), как мне пишут о том из Петербурга. В нем мы лишились многообещающего поэта, странная судьба наших даровитых молодых людей. . .»⁹⁷

Не имея подробностей, Тургенев писал Жуковскому 25 августа (6 сентября): «Какие ужасные вести из России! Сердце изныло: Лермонтов убит на дуэли каким-то Мартыновым из-за мальчишеской ссоры, ничего более не знаю. . .»⁹⁸

3(15) сентября на балу у графини Разумовской в Париже Тургенев беседовал «с послом о Лермонтове».

5(17) сентября у знаменитой Рекамье в одном из кружков гостей был затронут вопрос о восточной политике России и «о гонении гос(ударя) на иноверцев». «Я нападаю на православие вообще», — замечает Тургенев в дневнике. Но 1(13) сентября, беседуя с бароном Андрэ о полицейских мерах, при помощи которых Николай I насаждал православие среди инородцев, Тургенев говорил о жестокой политике царя также и в связи со смертью Лермонтова. «У меня Андрэ, — записывает он, — двое, а не один Лунин. О Лерм(онтове): о гонении на иноверцев»⁹⁹.

Декабрист М. С. Луин был отправлен в апреле 1841 года на страшную Акатуйскую каторгу за то, что, находясь на поселении, с безумной смелостью и дерзостью распространял свои «Письма из Сибири».

Барон Андрэ, недавно так сочувствовавший Барантам в их конфликте с Лермонтовым, понимал все же, что причины гибели поэта заключались в том, что он был политическим иноверцем. Таким образом, Тургенев и Андрэ указывали на двух бунтарей, ставших жертвами самодержавия, — революционера Лунина и поэта Лермонтова.

Лермонтов «много потерпел от ложных друзей», — писал Ф. Боденштедт, самый ранний биограф поэта¹.

Иллюстрацией этого заявления служит история литературных и личных отношений Лермонтова с Соллогубом.

В. А. Соллогуб начал свою литературную деятельность одновременно с Лермонтовым, своим сверстником. В 1837 году произведения обоих писателей были напечатаны в посмертном издании пушкинского «Современника». Лермонтов дал «Бородино», Соллогуб рассказ «Два студента», посвященный Карамзиным. В 1838 году в «Литературных прибавлениях» к «Русскому инвалиду» появились без полной подписи «Песня про купца Калашникова» и рассказ Соллогуба «Сережа». В обновленных с 1839 года «Отечественных записках» в первой же книге были помещены «Дума» Лермонтова и повесть Соллогуба «История двух калош». В критических статьях, читательских откликах и письмах современников имена обоих писателей всегда ставились рядом.

В. Г. Белинский приветствовал беллетристический талант Соллогуба, рассматривая его произведения как шаг вперед в развитии русской реалистической повести. В «Истории двух калош» рассказана печальная история бедного скрипача, подвергавшегося унижениям в великосветских музыкальных салонах. В «Сереже», «Большом свете» и в более позднем «Бесе» развенчивается тип ложного светского «льва», тщеславного и суетного (отсюда фамилия «Леонин» в «Большом свете», «Леонов» в «Бесе»; Leo — по-латыни лев). Эту линию продолжил вскоре И. И. Панаев в своих известных очерках о провинциальных «львах».

«Большой свет» был начат в январе — апреле 1839 года: в мае Соллогуб послал первую часть В. Ф. Одоев-

скому с просьбой подыскать эпитафии к главам². Автор долго не приступал ко второй части. Она была готова почти что через год: повесть появилась целиком в «Отечественных записках» только в марте 1840 года.

Прочитав рукопись, Белинский заявил, что Соллогуб «повыше всех Бальзаков и Гюгов»³. По выходе повести из печати Белинский продолжал в обзорных статьях отзываться о ней положительно.

Читательские мнения разделились. Широкий успех повести был обеспечен автору знанием великосветской жизни, описанной живо, достоверно и с превосходством насмешливого наблюдателя. Но некоторые читатели были разочарованы. П. Н. Кудрявцев писал Белинскому 3 апреля 1840 года: «Вот Большой свет, на который я возлагал столько блестящих надежд и которого ждал почти с нетерпением, произвел на меня совершенно противное действие, или почти не произвел никакого: может быть, это тоже одна из превосходных вещей — не спорю, но что касается до меня, я, кажется, предпочел бы ей небольшой рассказ Лермонтова *, недавно напечатанный тоже в Записках, а вся беда в том, что в повести Соллогуба я не нашел ни одного истинного чувства и потому расстался с нею теперь без всякого чувства»⁴.

Разругал «Большой свет» и В. П. Боткин. Его письмо к Белинскому до нас не дошло, но об этом можно судить по ответу критика: «К повести Соллогуба ты чересчур строг: прекрасная беллетристическая повесть — вот и все. Много верного и истинного в положении, много чувствительности, еще больше блеску. Только Сафьев — ложное лицо. А впрочем, славная вещь, бог с ней. Лермонтов думает так же. Хоть и салонный человек, а его не надуешь, — себе на уме. . .»⁵

Ссылку Белинского на мнение Лермонтова обычно приводят в доказательство отсутствия личных намеков в «Большом свете». Сторонники этой версии утверждают даже, что никто и не замечал их до тех пор, пока Соллогуб не написал в 1865 году в своих воспоминаниях: «С Лермонтовым я сблизился у Карамзиных и был в одно время с ним сотрудником «Отечественных записок». Светское его значение я изобразил под именем Леонина в моей повести «Большой свет», написанной по заказу великой княгини Марии Николаевны»⁶.

* «Тамань».

Соллогуб очень ясно провел здесь черту между литературными и личными отношениями своими с Лермонтовым. То же самое сделал и поэт в разговоре с Беллинским. В том обществе, где Лермонтов встречался с Соллогубом, намеки повести были поняты сразу, а из великосветских кругов толки о прототипах «Большого света» проникли в широкую среду. «Как гласят никому уже не секретные литературные преданья, в фигуре Леонина довольно ловко выставлена комическая сторона великосветских стремлений поэта», — писал Аполлон Григорьев в 1862 году⁷. Таким образом, в литературных кругах эти слухи циркулировали еще до опубликования воспоминаний Соллогуба.

Злободневность повести была замечена сразу по выходе в свет третьей книги «Отечественных записок». Подписчикам она была разослана 19 марта, и в тот же день мы встречаем два отклика на «повесть о двух танцах» Соллогуба. П. А. Вяземский сообщал родным: «Соллогуб написал повесть, в которой много петербургских намеков и актуалитетов. Но я недоволен разговорным языком: сцена в фашьонабельных салонах, даже, вероятно, и в воронцовском, а разговор костромской»⁸.

С интересом прочитали «Большой свет» и во дворце. 19 марта императрица записывает: «Одна Бярят(инская). Читали повесть Салагуба *Большой свет*». На следующий день: «...вечером опять читали как вчера, Н(икс) (нрзб.) Виельг(орский?), Трубецкая»⁹.

Произведение представляло для всех собравшихся особый, дополнительный интерес: автор описывал в «Большом свете» историю своей любви к дочери М. Ю. Виельгорского.

Надо думать, что изображение этого чувства и соперничества двух героев — князя Щетинина и Леонина — понравилось Николаю I и двору. Через месяц, 19 апреля, была объявлена помолвка фрейлины императрицы Софьи Михайловны Виельгорской с Соллогубом. «Он каждый день все более и более с нами сходится, — писал М. Ю. Виельгорский В. А. Жуковскому 26 апреля, — и Софья, кажется, начинает к нему нежиться. Она сама решила: уж более двух лет, как он ее любит, чувство к ней он описал в лице Надины его повести (читал ли ее?) в трех танцах»¹⁰.

Братья Виельгорские, оставившие заметный след в истории развития музыкальной культуры в России, были также и тонкими царедворцами. Виолончелист Матвей

Юрьевич носил придворное звание, Михаил Юрьевич, композитор, меценат, эрудит, был в России проводником европейской музыки. В его концертном зале в 1840 году немецкая труппа исполняет «Гугенотов» Мейербера, выступают европейские виртуозы, постоянная гостья — Россия... Дом Виельгорских на Михайловской площади был, собственно говоря, придворной концертной залой. Здесь часто присутствовали члены царской семьи. Так, П. А. Вяземский, сообщая жене и дочери о репетиции у Виельгорских моцартовского «Дон-Жуана», писал 14 марта 1840 года: «Графиня Росси пела дону Анну прелестно. Григорий Волконский Лепорелло. Прочие мужчины и так и сяк, Владимир Соллогуб, Николай Пашков. Правда, что это была только первая репетиция с оркестром, да и всем этим аматерам при го́лосе гр. Росси петь сокрушительно. Собрание было блестящее: Мария Николаевна за дверью*, герцог Лейхтенбергский, принц Ольденбургский, Михаил Виельгорский был в восторге от пения и парил на нем так — катался с боку на бок»¹¹.

В письме Вяземского живо передана та атмосфера музыкальных вечеров у Виельгорских, которая позволила позднему официозному историку П. И. Бартеңеву восторженно назвать этот дом «универсальной академией искусств под сенью царской милости»¹².

М. Ю. Виельгорский занимал при дворе, по выражению одного современника, «высокое, так сказать, совершенно выходящее из ряда общего положение». Сын его Иосиф (умерший в 1839 году) воспитывался вместе с наследником. Старшая дочь, Аполлиария, была другом детства и любимой приближенной великой княгини Марии Николаевны. «Все три дочери Виельгорского все время с нами», — сообщала императрица о своей заграничной поездке в 1837 году. «Я очень рад был, когда узнал, что великие княжны вас полюбили и с вами проводили все время», — писал Иосиф Виельгорский в Петергоф 25 июля 1838 года¹³. Письмо адресовано средней сестре, Софье. 1 января 1839 года она была назначена фрейлиной императрицы. Когда через два года она вышла замуж за Соллогуба, бракосочетание совершилось (13 ноября 1840 года) в малой церкви Зимнего дворца, венчал царский духовник Бажанов, посаженным отцом

* Из-за беременности.

невесты был Николай I. После венчания на вечере у Виельгорских присутствовал весь двор.

Стремительно произошло их обручение 19 апреля 1840 года. «Не могу объяснить вам, каким образом участь моя так неожиданно переменилась», — писала невеста В. А. Жуковскому 28 апреля. О внезапности семейного переворота пишет поэту и будущий тесть: «Вероятно, тебе уже известно важное происшествие в моем семействе. Оно было так неожиданно, некоторым образом наперекор тайных моих желаний и предположений, что первую минуту я не знал (и не мог) радоваться ли или жалеть» (26 апреля)¹⁴. Жуковский в это время находился в свите путешествующего наследника. Виельгорский продолжает: «Свадьбу мы сыграем с помощью божией после вашего возвращения, т. е. в ноябре. Брат из Мюнхена возвращается для этого. Его благословение и присутствие необходимы. Он едет с Марией Николаевной в августе. Это обстоятельство нас решило». М. Ю. Виельгорский был назначен гофмейстером двора великой княгини Марии Николаевны и сопровождал ее в Мюнхен. Как видим, свадьба Софьи Виельгорской и Соллогуба находилась в зависимости от высоких придворных интриг. «Луиза была главным двигателем всего», — подчеркивает Виельгорский свою к ним непричастность. Дело было устроено его женой, надменной внучкой Бирона Луизой Карловной Виельгорской.

Великая княгиня не могла не знать от девиц Виельгорских о всех перипетиях любви Соллогуба к Софье Михайловне. Хороший повод для совета — описать эту «интересную» историю в повести.

Увлекательно было узнавать прототипов в персонажах повести. Надина — Софья. Князь Щетинин — Соллогуб. Мишель Леонид — Лермонтов. Блестящая княгиня Воротынская, кузина князя Щетинина, — графиня А. К. Воронцова-Дашкова (приходившаяся Соллогубу двоюродной сестрой). Сафьев имеет поразительное внешнее сходство с С. А. Соболевским, другом Пушкина, а затем и Лермонтова. Автор использовал характерный жест Соболевского: Сафьев во время беседы закладывает руку за жилет и вскидывает голову¹⁵. Но, по мнению злопыхателей, проникновение Лермонтова в высший круг произошло вследствие возвышения его родственников Столыпиных и благодаря успеху красавца Монго у великосветских «львиц», поэтому свет охотно принимает его за прототип Сафьева. Кстати говоря, в повести

Леонин обращается с просьбами познакомить его с великосветскими львицами также и к князю Щетинину, то есть самому Соллогубу.

В повести Соллогуб тонко отделил живого Лермонтова-поэта от героя Леонина, так же как и самого себя от князя Щетинина. Используя обычный для светской повести литературный прием, он вводит под прозрачными криптонимами упоминание о двух писателях, одновременно завоевавших успех в великосветских салонах: «Хотите, я поеду обедать к Ф., — обращается Щетинин к Воротынской, — и буду разбирать с ним каждое блюдо поодиночке? Хотите, я целый день проведу с устаревшими поклонниками вашими, из которых один открыл Англию, а другой Италию? Хотите, я буду играть в вист с вашей глухой тетушкой, а потом поеду слушать стихи Л(ермонтова) и повести С(оллогу)ба?.. Все жертвы готов я вам принести».

Стихи Лермонтова и повести Соллогуба — модная повинка в великосветских салонах. «Записки Краевского (то есть «Отечественные записки») трещат теперь по всем гостиным и салонам», — писал Соллогуб в январе 1839 года¹⁶. «История двух калош», по свидетельству И. Панаева, «наделала столько шуму, что она читалась даже теми, которые никогда ничего не читали... по крайней мере по-русски; в большом свете с неделю только и говорили об этих «Калошах»... Соллогуб был в ходу»¹⁷. «Дамы, желающие, чтобы в их салонах были замечательные люди, приглашают меня... Самые хорошенькие женщины добиваются моих стихов, — писал Лермонтов М. А. Лопухиной в конце 1838 года, — и хвастаются ими как величайшей победой».

Соллогуб чувствовал себя в своей стихии. Он переписывал, распространял и считал для себя честью и радостью первым доставить новое стихотворение Лермонтова. Известно, что он был ценителем искусства, не страдал литературной завистью, восхищаясь бескорыстно и искренне каждым новым дарованием. Мы не можем заподозрить его в литературном соперничестве с Лермонтовым, но светские успехи поэта не были ему безразличны, поскольку к этому примешивались придворные интриги и твердое желание добиться руки С. М. Виельгорской, которую он ревновал к Лермонтову. На этой почве и возник такой беспримерный замысел, как изображение своего друга и товарища в пародийной повести.

В «свинском Петербурге» обратили внимание только на те грубые места «Большого света», где великосветские претензии Леонина выставлены в унижающем его виде. С удовольствием повторялись реплики маленького корнета, мечтающего об Андреевской ленте и о приглашении в Аничков дворец. Соллогуб, прекрасно знавший об интересе к Лермонтову императрицы, грешил против истины, увлеченный тайным недобрым чувством к другу-писателю и твердым намерением угодить великой княгине Марии Николаевне. Беспринципность будущего зятя Виельгорских, ставшая очевидной современникам только после многих лет его литературной деятельности, была отмечена М. Б. Лобановым-Ростовским: «Соллогуб, умный человек и хороший писатель, многими высоко ценимый и повсюду принятый, но негодяй по своим низменным инстинктам и по цинизму, с которым он насмеялся надо всем»¹⁸.

Цинизм Соллогуба проступает особенно ясно, если учесть, как высоко он ставил дарование Лермонтова и какой тесной дружбой он был с ним связан в первые годы возвращения поэта из кавказской ссылки.

Тем не менее пресловутую повесть Соллогуба нельзя назвать «низкопробным памфлетом», как это делала я сама, не изучив еще с достаточной глубиной этой сложной главы из биографии Лермонтова. «Большой свет» скорее подходит под определение литературной пародии, хотя местами все же опускающейся до уровня пасквиля. Большим сходством с натурой отмечен, например, внешний портрет Лермонтова, который можно было бы принять за пародию на мемуары И. С. Тургенева, если бы мы не знали, что автор «Отцов и детей» писал свои литературные воспоминания гораздо позже Соллогуба. Очевидно, оба писателя сохраняли верность природе. Вспомним, как поразил И. Тургенева облик Лермонтова «какой-то сумрачной и недоброй силой, задумчивой презрительностью и страстью», которыми «вевало от его смуглого лица, от его больших и неподвижно-темных глаз»¹⁹. Соллогуб рисует пародийный портрет Лермонтова, сходный с портретом Тургенева, но дает обидное и пошлое толкование отрешенности героя.

«И Леонин явился по привычке на бал. Поутру заимодавцы не давали ему покоя. Начальник его обещал ему за нерадение к службе отсылку в армию. Графиня не приняла его, извиняясь головною болью, хотя трое сажней стояло у ее подъезда.

Ему было неимоверно душно. Лицо его было бледно, глаза неподвижны. Все на бале его видели и никто не заметил.

Те же «неподвижные глаза», и даже фраза «ему было неимоверно душно» напоминает заключение Тургенева: «внутренне Лермонтов задыхался в той тесной сфере, куда его втокнула судьба».

Разумеется, эта злая пародия не могла не напомнить читателю автопортрет Лермонтова в стихотворении «1-е января». И так же, как с этими стихами легенда связывала маскарадный эпизод, так же «Большой свет» сопоставляли с «1-м января», понимая, что два эти произведения олицетворяют две разные силы, движущие обоими писателями-современниками. Сервиллизм и беспринципность — с одной стороны, «дух независимости и безграничной свободы» — с другой.

При внимательном чтении «Большого света» обнаруживается, что вся повесть пропитана образами и идеями лирики Лермонтова, переданными талантливым беллетристом пародийно. Это дает ключ к более глубокому пониманию не только причин знаменитого литературного скандала, но и некоторых произведений самого Лермонтова.

2

Стихотворение «Есть речи — значенье...», казалось бы, не поддается рационалистическому объяснению:

Не встретит ответа
Средь шума мирского
Из пламя и света
Рожденное слово...

Но, несмотря на библейскую лексику, «слово» Лермонтова не выражает наития древних пророков. Наоборот, оно противопоставлено религиозному чувству:

Не кончив молитвы,
На звук тот отвечу...

Это стихотворение, напечатанное в январе 1841 года, можно сблизить с отроческой «Молитвой» Лермонтова, написанной еще в 1829 году. Религия и искусство изображены здесь как два противоборствующие начала:

Но угаси сей чудный пламень,
Всесожигающий костер,

Преобрати мне сердце в камень,
Останови голодный взор:
От страшной жажды песнопенья
Пускай, творец, освобожусь,
Тогда на тесный путь спасенья
К тебе я снова обращусь.

В стихотворении «Есть речи — значенье...» религии противопоставлено не искусство, а могущественная сила любви:

Как полны их звуки
Безумством желанья!
В них слезы разлуки,
В них трепет свиданья.

Романтический порыв едва ли не бесплотной любви (только к звуку речи) выражен поэтом в очень простых образах. Стихотворение, в котором воплощено почти неуловимое чувство («Есть речи — значенье // Темно иль ничтожно, // Но им без волненья // Внимать невозможно»), нерекликается со стихами, обращенными к реальному лицу. Из промежуточного варианта видно, что здесь поэт отражал обаяние слов живой женщины:

Надежды в них дышат,
И жизнь в них играет, —
Их многие слышат,
Один понимает.

Особенностью неизвестной вдохновительницы этих стихов были «целебные звуки волшебного слова». Эти же строки попали в вариант, напечатанный после смерти Лермонтова как самостоятельное стихотворение под произвольным редакторским названием «Волшебные звуки». У Лермонтова есть другой цикл стихов, посвященный неизвестной девушке, отличительной чертой которой был «звук волшебной речи». Первый набросок из стихотворений этого цикла, покоряющий нас стремительностью и открытостью чувства, повторяет ту же тему, что и вариант:

Слышу ли голос твой
Звонкий и ласковый,
Как птичка в клетке
Сердце запрыгает;

Лишь сердца родного
Коснутся в дни муки
Волшебного слова
Целебные звуки,

Встречу ль глаза твои
Лазурно-глубокие,
Душа им навстречу
Из груди просится...

Душа их с молением,
Как ангела, встретит,
И долгим бниенем
Им сердце ответит.

В первом наброске портрет женщины оживлен теплым штрихом: «глаза твои лазурно-глубокие». Набросок этот и по содержанию и по расположению в рукописи примыкает к двум другим стихотворениям, имеющим вполне законченную форму и не выходящим за рамки, приличествующие мадригалу: «Она поет — и звуки тают...» и «Как небеса, твой взор блистает...». Все три стихотворения обращены к голубоглазой девушке, звук ее голоса сравнивается с поцелуем. Во втором из названных стихотворений встречается и временной признак. В нем прямо говорится, что стихи вызваны действительным жизненным событием — встречей с девушкой, доселе незнакомой:

Но жизнью бранной и мятежной
Не тешусь я с тех пор,
Как услышал твой голос нежный
И встретил милый взор.

Это стихотворение имеет свой сюжет. За «звук один волшебной речи» и «за... единый взгляд» голубоглазой девушки герой «рад отдать красавца сечи, грузинский» свой булат. Образ «бранной и мятежной» жизни и упоминание о грузинском кинжале заставляли комментаторов ассоциировать это стихотворение с пребыванием Лермонтова на Кавказе. Некоторые исследователи придерживаются этой точки зрения и сейчас²⁰. Но «Геурга старого изделие» упоминается и в двух других стихотворениях Лермонтова — «Кинжал» и «Поэт». В первом из них сказано, что «грузинский булат» был поднесен герою стихотворения «в знак памяти в минуту расставанья» (в черновике даже «на вечную разлуку»). Эти наблюдения И. Андроникова позволили ему прийти к правильному выводу, что все названные стихи написаны Лермонтовым уже по возвращении в Россию из первой кавказской ссылки в начале 1838 года²¹. Соображения эти поддерживаются тем, что по положению в рукописи указанные стихотворения (кроме «Поэта») связаны с двумя отрывками из «Тамбовской казначейши». А из письма Лермонтова к М. А. Лопухиной от 15 февраля 1838 года известно, что по возвращении в Петербург поэт тотчас отнес В. А. Жуковскому готовую рукопись своей поэмы, которая и была принята для опубликования в ближайшем номере «Современника». Эта рукопись пропала. Но сохранились два упомянутых отрывка. Естественно предположить, что при подготовке к пе-

чати своего произведения у автора могла возникнуть необходимость некоторых переделок, вот почему мы и находим рядом с обсуждаемыми стихами отдельные отрывки из «Тамбовской казначейши». Следовательно, всю эту группу стихов мы вправе отнести к 1838 году и в дальнейшем нашем изложении мы будем исходить из того, что голубоглазая девушка с обаятельным голосом и певучими движениями впервые встретила Лермонтова в Петербурге в начале 1838 года.

Стихотворение «Есть речи — значенье...» до сих пор не сопоставлялось с рассматриваемым циклом, хотя в печати уже указывалось, что оно «прямым образом связано с речами женщины»²². Окончательный вариант был напечатан при жизни Лермонтова в январской книге «Отечественных записок» 1841 года. Имеется и его автограф, но он не датирован. Редакторы сочинений Лермонтова относят это стихотворение к началу 1840 года. Но нам кажется, что это стихотворение было известно Соллогубу еще раньше.

Обратимся к «Большому свету». «Тень Гамлета» или «рыцарь печального образа», как иронически называет Леопина автор, произносит по ходу действия длинную тираду, обращенную к блестящей графине Воротынской. Тут встречаются такие фразы: «Я не воображаю счастья выше того, как выбрать себе на туманном небе бытия одно отрадное светило. А это светило должно быть и *пламень и свет*: оно должно согревать душу и освещать трудный путь жизни...» Пафос лермонтовской поэзии снижен здесь до пошлости, но создается впечатление, что мы имеем дело с литературной пародией, где чувствуется отклик на образы «Демона» и лермонтовскую строфу: «Не встретит ответа // Средь шума мирского // Из *пламя и света** // Рожденное слово...» В том, что Соллогуб знал «Демона», сомневаться не приходится: уже 29 октября 1838 года Лермонтов читал свою поэму у Карамзиных. Но со стихами «Из пламя и света // Рожденное слово» дело обстоит сложнее. В 1963 году И. Андрониковым была обнаружена одна из ранних редакций стихотворения «Есть речи — значенье...», датированная 4 сентября (1839 года), но пародируемых строк там еще нет. Между тем соллогубовская тирада помещена в первой части «Большого света», не позднее весны 1839 го-

* В обоих случаях курсив мой. — Э. Г.

да. Правда, рукопись этой первой части до нас не дошла, при окончательной редакции повести автор мог внести в нее дополнения, высмеивающие пафос этого стихотворения. Как бы то ни было, хронологические рамки создания четырех стихотворений, ранее разделенные редакторами промежутком в три года (1837—1840), сдвигаются. А несомненная связь ранних вариантов стихотворения «Есть речи — значенье...» со стихотворением «Слышу ли голос твой...» и двумя другими позволяет предположить, что все четыре стихотворения — обращения к одной и той же девушке. Теперь мы можем думать, что Лермонтов встречался с ней в Петербурге в 1838—1840 годах.

Из всех названных стихотворений Лермонтов напечатал только одно — очищенное от портретного сходства «Есть речи — значенье...», в котором любовное чувство сближено с состоянием творческого подъема поэта. Остальные три, обращенные к неизвестной девушке, были напечатаны после смерти Лермонтова. Из них — «Слышу ли голос твой...» и «Волшебные звуки» в сборниках «Вчера и сегодня». Издателем этих сборников был тот же В. А. Соллогуб. Если появление у автора «Большого света» автографа «Слышу ли голос твой...» легко прослеживается по эпистолярной литературе (по-видимому, Соллогуб получил его в 1844 году от Ю. Ф. Самарина)²³, то нам ничего не известно об автографе стихотворения «Волшебные звуки». Эти стихи относятся к числу тех напечатанных Соллогубом произведений Лермонтова, рукописи которых не сохранились. Не принадлежал ли автограф или список «Волшебных звуков» самому Соллогубу? Мы знаем, что писатель собирал ненапечатанные стихи Лермонтова еще при его жизни. До нас дошел даже рассказ его жены Софьи Михайловны, в передаче П. А. Висковатова, о том, что Соллогуб как-то отнял у нее автограф стихотворения, поднесенного ей Лермонтовым. При этом Висковатов называет стихотворение «Нет, не тебя так пылко я люблю...», написанное в 1841 году. Но, так как по расположению чернового автографа этих стихов в альбоме Одоевского видно, что оно было написано уже после отъезда Лермонтова из Петербурга, это сообщение вызывает недоверие. Не посвящены ли Софье Михайловне другие стихи, а именно — «Волшебные звуки» и связанные с ними остальные стихотворения?

Тут нам многое разъяснит сопоставление записанного Висковатовым эпизода со сценой из повести «Большой свет». Висковатов передает:

«Поэт, бывало, молча глядел на нее своими выразительными глазами, имевшими магнетическое влияние, так что невольно приходилось обращаться в ту сторону, откуда глядели они на вас. — Мой муж, говорила Софья Михайловна, очень не любил, когда Михаил Юрьевич смотрел так на меня, и однажды я сказала Лермонтову, когда он опять уставился на меня: — Вы знаете, Лермонтов, что мой муж не любит вашу манеру пристально всматриваться, зачем же вы доставляете мне эту неприятность? — Лермонтов ничего не ответил, встал и ушел. На другой день он принес мне стихи: «Нет, не тебя так пылко я люблю». Муж взял их у меня, и где они остались, я не знаю»²⁴.

Подобную сцену мы находим в повести Соллогуба «Большой свет». Леонин «все более и более приковывался взором и сердцем к Надине, к ее безмятежному лику, к ее необдуманному движению. Он долго глядел на нее, он долго любовался ею с какою-то восторженной грустью. . . И вдруг, по какому-то магнетическому сочувствию, взоры его встретились со взорами Щетинина, устремились вместе на Надину и обменялись взаимно кровавым вызовом, ярким пламенем соперничества и вражды».

Острота этой сцены (мы отвлекаемся от ее невысокого литературного достоинства) уже стала нам понятной, когда мы узнали, что в лице Надины Соллогуб нарисовал свою будущую невесту, Софью Михайловну Виельгорскую, а в лице князя Щетинина — самого себя. Соллогуб, как пишет его будущий тесть, добивался любви Виельгорской с 1838 года и при этом — что видно из повести — ревновал к Лермонтову. Это именно то время, когда было написано стихотворение «Слышу ли голос твой. . .» и другие стихи этого цикла. Наше предположение, что все они посвящены С. М. Виельгорской, подкрепляется.

В приведенной выдержке из повести Соллогуба обращает на себя внимание упоминание о «необдуманных движениях». Мы ощущаем здесь связь со стихами Лермонтова «Она поет — и звуки тают. . .»:

.. Идет ли — все ее движенья,
Иль молвит слово — все черты
Так полны чувства, выраженья,
Так полны дивной простоты.

В другой главе повести Соллогуб дает такой портрет семнадцатилетней Надины, то есть восемнадцатилетней Софьи Виельгорской:

«Она вполне обладала тремя главными женскими добродетелями: во-первых, наружностью, все более и более привлекающей, потом нравом скромным и как будто просящим опоры любимой, наконец, тою неопределительною шеголеватостью движений и существа, которая составляет одно из главных очарований женщины».

Здесь опять говорится о характерной черте Надины — об особой пластической выразительности ее красоты, совпадающей с обликом героини стихов Лермонтова.

В третьем месте Соллогуб называет Надину «полужемным существом», «как будто слетевшим с полотна Рафаэля, из толпы его ангелов». Однако мы не можем придавать решающего значения замеченному сходству, так как должны учитывать общее влияние литературных традиций 30-х годов на беллетристику Соллогуба (в частности, сравнение Надины с ангелом «Сикстинской мадонны» восходит к общему со стихами Лермонтова источнику — стихотворению Пушкина «Ее глаза» *). Поэтому обратимся к эпистолярной и мемуарной литературе.

Настоящая, живая С. М. Виельгорская обладала именно теми чертами, которые отражены в строках Лермонтова, — «как небеса, твой взор блистает эмалью голубой», «небеса играют в ее божественных глазах». П. А. Плетнев, познакомившийся с С. М. Соллогуб сразу после ее замужества, пишет 8 декабря 1840 года: «Она вся была в белом, точно чистый ангел. В ее физиономии, речи и во всем, на что я обращал внимание, выражалось что-то совершенно небесное»²⁵. «Она была растрогана до слез и благодарила меня, как только ангелы умеют благодарить — рукопожатием и взглядом», — пишет он через несколько дней. Кто-то другой сказал о жене Соллогуба, что «она всю жизнь провела на отлете в небо»²⁶. Душа ее кажется как будто еще небеснее прежнего и ангельства в ней еще больше», — пишет Н. В. Гоголь о С. М. Соллогуб 24 сентября 1844 года²⁷. А познакомившись в 1847 году с ее незамужней сестрой, Анной Ми-

*
Какой задумчивый в них гений,
И сколько детской простоты,
И сколько томных выражений,
И сколько неги и мечты!..

Потупит их с улыбкой Леля —
В них скромных граций торжество;
Поднимет — ангел Рафаэля
Так созерцает божество.

хайловной Виельгорской, П. А. Плетнев восклицает: «Это существо еще небеснее (если только уж возможно) и Софьи Михайловны»²⁸. На дошедшем до нас позднем пастельном портрете С. М. Соллогуб-Виельгорской внешняя хрупкость сочетается с глубоким и чистым взглядом, лицо полно экспрессии, и на губах блуждает несколько странная улыбка²⁹.

Но в этих мимолетных замечаниях, так же как и в живописном портрете и описании Соллогуба, ничего не говорится об отличительной черте вдохновительницы стихов Лермонтова — об обаянии голоса. Эту особенность отметил у С. М. Соллогуб П. Д. Боборыкин, познакомившийся с нею, когда она была уже старше. «Первое время она казалась чопорной и даже странной, — пишет Боборыкин, — с особым тоном, жестами и голосом, немного на иностранный лад»³⁰. Здесь впервые в мемуарной литературе мы находим указание на интонационное своеобразие речи С. М. Соллогуб-Виельгорской. Правда, до нас не дошло откликов на ее пенье (ср. «Она поет — и звуки тают...»). Но Соллогуб пишет в своих воспоминаниях, что его жена «понимала и ценила искусство и сама была одарена редкими музыкальными способностями»³¹. А на одной из афиш концерта в Патриотическом обществе имя графини С. Соллогуб названо в составе огромного хора (репетиция 6 марта, концерт 17 марта 1841 года)³².

Теперь посмотрим еще один литературный портрет интересующей нас женщины. Он принадлежит перу Н. В. Гоголя и заключен в статье «Женщина в свете», входящей в состав «Выбранных мест из переписки с друзьями». Исследователи творчества великого писателя говорят нам, что в основу этой публицистической статьи положены письма Гоголя к А. О. Смирновой и к С. М. Виельгорской-Соллогуб. Но автор рисует свою корреспондентку такими индивидуальными чертами, которые могут быть присущи только одной женщине, и мы можем утверждать, что это Соллогуб. Гоголь не устает восхищаться «родными звуками» ее голоса, «всяким простым словом» ее речи, которое «так и сияет». «Душе всякого, кто вас ни слушает, кажется, как будто бы она лепечет с ангелами о каком-то небесном младенчестве человека», — пишет Гоголь. Трудно отделаться от мысли, что автор намекает здесь на стихи Лермонтова. С поэтом он был знаком и встречался в Москве в 1840 году. Гоголь затрудняется «определить словом» «чистую прелесть»

«какой-то особенной», одной С. Соллогуб «свойственной невинности». «Самый ваш голос, — пишет он, — от постоянного устремления вашей мысли лететь на помощь человеку, приобрел уже какие-то родные звуки всем, так что, если вы заговорите в сопровождении чистого взора вашего и этой улыбки, никогда не оставляющей уст ваших, которая одним только вам свойственна, то каждому кажется, будто бы заговорила с ним какая-то небесная родная сестра. Ваш голос стал всемогущ. . .»³³

Описание Гоголя, отражающее особенный характер обаяния его корреспондентки, совершенно совпадает с общим смыслом и деталями стихов Лермонтова. И это приводит нас к окончательному убеждению, что вдохновительницей лирического цикла поэта была Софья Михайловна Виельгорская.

И вот перед нами три литературных портрета одного и того же лица. Но как они различны!

«Ангельская» красота С. Виельгорской-Соллогуб послужила автору книги «Выбранные места из переписки с друзьями» лишним поводом для усиления его проповеднического пафоса и мистической экзальтации. «На всех углах мира ждут и не дождутся ничего другого, как только тех родных звуков, того самого голоса, который у вас уже есть», — пишет он Виельгорской, налагая на нее особую миссию исправительницы нравов. Но всеобъемлющая христианская деятельность, к которой Гоголь призывает Виельгорскую, тут же замыкается им в тесные пределы великосветского круга. «Вам ли бояться жалких соблазнов света? Влетайте в него смело. . . — настойчиво повторяет Гоголь. — Входите в него. . . заставьте его говорить о том, о чем вы говорите. . . вносите в свет те же самые простодушные ваши рассказы, которые так говорливо у вас изливаются, когда вы бываете в кругу домашних и близких вам людей. . .». «Небесный» образ Виельгорской служит Гоголю средством для обоснования реакционной идеи о незыблемости устоев крепостнического общества в России: «Поверьте, что бог недаром повелел каждому быть на том месте, на котором он теперь стоит, — проповедует он. — . . . Не убегайте же света, среди которого вам назначено быть: не спорьте с провидением».

Гораздо грубее высказал ту же идею и по тому же поводу В. Соллогуб в своей повести «Большой свет». Так же как и для Гоголя, образ «полуземного существа» послужил Соллогубу орудием для апологии великосвет-

ского общества. «Ангел, слетевший с полотна Рафаэля», произносит в его повести настоящую оправдательную формулу света. Во второй части, в сцене на балу, где не без остроумия пародированы нападки Лермонтова на низость и лицемерие великосветского общества, «мудрость» Надины противопоставляется словам Леонина.

«— Да жарко здесь очень! — жалуется она.

— Да, — сказал Леонин: — здесь жарко, здесь душно. В свете всегда душно!.. — Все те же мужчины, все те же женщины. Мужчины — такие низкие, женщины такие нарумяненные...

Надина взглянула на него с удивлением.

— Да нам какое до того дело! Если женщины румянятся, тем хуже для них; если мужчины низки, тем для них постыднее.

«Правда», — подумал Леонин.

— И почему, — продолжала Надина, — искать в людях одно дурное? В обществе, я уверена, пороки общие, но зато достоинства у каждого человека отдельные и принадлежат ему собственно. Их-то, кажется, должно отыскивать, а не упрекать людей в том, что они живут вместе.

Неопытная девушка объяснила в нескольких словах молодому франту всю тайну большого света».

Тайна большого света, которую не постиг Лермонтов, но постиг Соллогуб, имела ясный политический смысл. Легкая насмешка над слабостями русских аристократов допустима и даже изящна, но зачем же критиковать все общество в целом? Таков был ответ Соллогуба Лермонтову.

Сусальный образ Надины послужил Соллогубу орудием борьбы с Лермонтовым за Софью Виельгорскую. А для самого Лермонтова образ той же девушки был олицетворением прекрасной женственности. Стихи, посвященные ей, отрешены от быта и представляют собой самое яркое выражение мироощущения романтика.

3

Красота, музыкальность, выразительность движений, манера говорить и самый звук голоса средней дочери М. Ю. Виельгорского производили сильное впечатление на многих. «Мне признавались наизуворотнейшие из нашей молодежи, — пишет Н. В. Гоголь, — что перед вами

ничто дурное не приходило им в голову, что они не отваживаются сказать в вашем присутствии не только двусмысленного слова, которым потчевают других избраниц, но даже просто никакого слова, чувствуя, что все будет перед вами как-то грубо и отзовется чем-то ухарским и неприличным». Немота и робость в присутствии прекрасной девушки отражены и в стихах Лермонтова «Слышу ли голос твой. . .». Там есть зачеркнутая строчка:

Мне больно, холодно.

Далее следует сохранившееся четверостишие:

..И как-то весело,
И хочется плакать,
И так на шею бы
Тебе я кинулся.

Попутно отметим еще раз родство этого стихотворения с обоими вариантами стихотворения «Есть речи — значенье...»: здесь та же стремительность движения. Ср.:

И брошусь из битвы
Ему я навстречу.

Или:

..Их кратким приветом,
Едва он домчится.
(«Волшебные звуки»)

Приведенная строфа из стихотворения «Слышу ли голос твой...» раскрывает нам характер увлечения Лермонтова Виельгорской. Это не любовь и не влюбленность, а высшее напряжение всех духовных сил в ее присутствии. В строках «Мне больно, холодно», «И как-то весело, // И хочется плакать» отражены те черты, которыми Лермонтов обычно описывает свое состояние поэтического вдохновения. Вспомним строки из стихотворения «Журналист, Читатель и Писатель»:

Бывают тягостные ночи:
Без сна, горят и плачут очи,
На сердце — жадная тоска;
Дрожа, холодная рука
Подушку жаркую объемлет;
Невольный страх власы подъемлет;
Болезненный, безумный крик
Из груди рвется — и язык
Лепечет громко без сознанья
Давно забытые названья;
Давно забытые черты
В сияньи прежней красоты
Рисует память своевольноно:

В очах любовь, в устах обман —
И веришь снова им невольно,
И как-то весело и больно
Тревожить язвы старых ран...
Тогда пишу.

Подобное же описание встречаем мы и в последней несовершенной повести Лермонтова, прямо посвященной проблеме романтизма в искусстве:

«...вдруг на дворе заиграла шарманка; она играла какой-то старинный немецкий вальс; Лугин слушал, слушал — ему стало ужасно грустно. Он начал ходить по комнате; небывалое беспокойство им овладело; ему хотелось плакать, хотелось смеяться...»

Мы не случайно привлекли к нашему изложению повесть Лермонтова «Штосс»: в ней нашла свое завершение тема «женщины-ангела», пронизывающая очерченный выше лирический цикл, а в прозе представленная как проблема романтической любви. Платоническая любовь — органическая черта мироощущения романтика — занимает в повести Лермонтова не менее важное место, чем эстетические проблемы. В этом отношении он превосходит Герцена и Белинского, выступивших вскоре после смерти Лермонтова со своими знаменитыми статьями о романтизме. Рассматривая основную проблему эпохи в философском и историко-литературном плане, оба писателя не могли миновать и психологической ее стороны, со всей серьезностью останавливаясь на проблеме романтической любви. На единство взглядов Лермонтова с воззрениями передовых русских мыслителей указывает в исследовании, посвященном повести «Штосс», Э. Найдич. У нас нет нужды возвращаться к этому вопросу во всем его объеме³⁴. Для нашей темы важна автобиографическая основа повести. Родоначальник русского психологического романа, Лермонтов подвергает самый процесс зарождения романтической любви трезвому анализу, привлекая для этого собственный душевный опыт. Он сознательно рисует образ героя автобиографическими чертами. На это указывает и внешнее сходство Лугина с самим Лермонтовым, и признания художника, сделанные с той честной наготой, которая доступна только лирическому поэту, достигшему вершин своего мастерства.

Лугин и сам «не мог забыться до полной, безотчетной любви», сомневаясь в своей внешней привлекательности, и подозрительно-недоверчиво относился к «явной

благосклонности» к нему женщин. В порыве самобичевания Лугин признается, что он и не заслуживал истинной любви:

«...он бросился на постель и заплакал: ему представилось все его прошедшее, он вспомнил, как часто бывал обманут, как часто делал зло именно тем, которых любил, какая дикая радость иногда разливалась по его сердцу, когда видел слезы, вызванные им из глаз, ныне закрытых навеки, — и он с ужасом заметил и признался, что он недостойн был любви безотчетной и истинной, — и ему стало так больно! так тяжело!»

В этом прозаическом отрывке мы находим прямую переключку со стихотворением 1841 года «Нет, не тебя так пылко я люблю...»: «уста давно немые», «огонь угаснувших очей» — в стихах, «глаза, ныне закрытые навеки» — в прозе. Речь идет, очевидно, о какой-то неизвестной нам юношеской встрече Лермонтова с рано умершей девушкой. Память о ней всплывает в сознании поэта рядом с образом Вареньки Лопухиной — его погубленной любви. Вареньку он вспоминал, когда встретился в Пятигорске с Екатериной Быховец, хотя, в сущности, у юной «креолки», как ее называли, не было никакого внешнего сходства с блондинкой Лопухиной, так же как аттический овал лица высоколобой Вареньки несколько не походил на легкий очерк лица голубоглазой Софьи Виельгорской. Сходство было в душевной чистоте и естественной грации всех трех девушек. В поэзии Лермонтова они сливались в один романтический образ одухотворенной женственности, проходящий сквозь всю его лирику, начиная с 1832 года (год переезда в Петербург и разлуки с Варварой Лопухиной): «Она не гордой красотою...», образ Тамары в «Демоне», стихотворение «Она поет — и звуки тают...»

Рисуя в «Тарантасе» образ своей жены (в главе «Сон»), Соллогуб пересказывает в прозе первое стихотворение Лермонтова 1832 года (по-видимому, обращенное к В. Лопухиной). Сравним:

Она не гордой красотою
Прельщает юношей живых,
Она не водит за собою
Толпу вздыхателей немых...

Однако все ее движенья,
Улыбки, речи и черты
Так полны жизни, вдохновенья,
Так полны чудной простоты.

Но голос душу проникает,
Как вспоминанье лучших дней,
И сердце любит и страдает,
Почти стыдясь любви своей.

«Она была хороша не той бурной сверкающей красотой, которая тревожит страстные сны юношей, но в целом существе ее было что-то высоко-безмятежное, поэтически-спокойное. На лице, сияющем нежностью, всякое впечатление ярко обозначалось, как на чистом зеркале. Душа выглядывала из очей, а сердце говорило из уст. В полудетских ее чертах выражалось... доброжелательное радушие... В каждом ее движении было очаровательное согласие...»

Соллогуб, очевидно, знал это стихотворение от самого Лермонтова — оно было напечатано только в 1876 году, а «Тарантас» был написан в 1840 году.

Писатель был посвящен и во всю историю печального романа Лермонтова с Варенькой Лопухиной. Основной мотив этих отношений — тема погибшей молодости и утраченного счастья — схвачен Соллогубом в описании чувства Леонина к Надине. Уносясь в кибитке из Петербурга на Кавказ, Леонин погружен в размышления: «Он думал, что ни за что схоронил заживо свою молодость; он думал, что в Петербурге осталась, и не для него, та, которая рождена была для него, та, которую он сам рожден был любить...» Далее Соллогуб пытается провести психологический анализ любви героя «Большого света» — прием, на который он еще не отваживался ни в одной из своих предыдущих повестей: «Чем более он (Леонин) удалялся, тем более им овладевала мысль о Надине. Чувство, которое в нем рождалось к ней, не было мелочное, честолюбивое и взволнованное, как любовь его к графине, не было жеманное, как отношение его к Армидиной: оно было тихое, смешанное с глубокой грустью, с сознанием утраты невозвратимой, и в то же время в нем была какая-то мучительная отрада».

Как видим, повесть «Большой свет» пропитана мотивами и образами лирики Лермонтова, часто неизвестной еще в то время в печати. Больше того — она указывает на близкое знакомство ее автора с фактами юношеской биографии поэта. В описании «жеманных отношений» Леонина с «коломенской королевой» Армидиной можно уловить отзвук истории Лермонтова с Сушковой (1835 год), не принадлежащей к самому высшему кругу

петербургского общества, а «честолюбивое и взволнованное» чувство к блестящей львице Воротынской — недобрый намек на успех Лермонтова у великосветских модных красавиц. Противопоставление этим двум романтическим историям Леонина его чувства к Надине повторяет психологический рисунок душевной жизни самого Лермонтова.

Так в поверхностной, но актуальной сатире на ложный романтизм обыкновенного петербургского молодого человека Соллогуб опошлил поэтический и личный опыт Лермонтова.

Анализ сердечных увлечений Леонина сильно занимает автора «Большого света», вопреки его позднему заявлению, что в этой повести он изобразил только «светское значение Лермонтова». В иных местах Соллогуб переходит на явно глумящийся тон торжествующего соперника, в других — пытается быть беспристрастным. Но и в тех и в других случаях автор приходит к одному и тому же выводу: Леонин не умел по-настоящему любить. Эта мысль проходит через всю пародийную повесть Соллогуба как лейтмотив. «Но был ли он влюблен точно? — спрашивает автор, описывая роман Леонина с Армидиной. — Должен откровенно сознаться, что нет. Чувство его было какое-то тревожное, полуребяческое, девятнадцатилетнее, которое в каждой хорошенькой женщине ищет осуществления своей мечты; к тому же вкрадывалось и лестное очарование удовлетворенного самолюбия». Не более серьезным оказалось увлечение Леонина графиней Воротынской: к восхищению ее красотой у него прибавлялось «чувство светской суеты», которое «начало мутить его воображение». А когда он обратил внимание на Надину, ему пришлось уступить дорогу Щетинину — именно потому, что чувство его не было полноценным. Эта мысль выражена в словах резонера Сафьева, друга Леонина и секунданта на его расстроившейся дуэли со Щетининым:

«— Что касается до свадьбы твоей, жаль, что она не состоится. Твоя Надина, право, кажется, препорядочная...»

— Я люблю ее! — воскликнул с отчаянием Леонин: — я чувствую, что я всегда ее буду любить.

— Ну, душа моя, жаль мне тебя, а дело это конченное! Она будет любить не тебя, которого она не знает, а Щетинина, за которого она боится, и потом, душа моя, Щетинин князь, богат, хорош, человек светский и влюб-

ленный, а ты что?.. Поезжай себе: ты ни для графини, ни для Щетинина, ни для повестей светских, ни для чего более не нужен... Поезжай на Кавказ...»

Несмотря на признание Леони́на в своей любви к Надине, Сафьев противопоставляет ему «влюбленного» Щетинина. В этих словах слышится недоверие к способности Леони́на глубоко и просто чувствовать. Очевидно, Соллогуб в своей пародии бесстыдно повторил признания самого Лермонтова, не раз слышанные в откровенных с ним беседах. Откуда бы в противном случае попала в повесть реплика Сафьева, в которой Леонин охарактеризован чертой, совсем не подготовленной предыдущим развитием сюжета: «Жаль мне его, добрый малый, но глуп был сердцем»? Для того чтобы убедиться, что этот психологический штрих был подсказан Соллогубу самим поэтом, достаточно обратиться к первоисточнику, то есть к творчеству Лермонтова. «...Есть люди, у которых опытность ума не действует на сердце, и Лугин был из числа этих несчастных и поэтических созданий», — читаем в «Штоссе» — трагической повести, где Лермонтов сам сводит последние счета с романтизмом.

Мнительные и рассудочные отношения с женщинами, порождающие вечную неутоленность сердца, представляют собой, по Лермонтову, благодарную почву для развития «вредной» склонности к романтической любви. «...Подобное расположение души извиняет достаточно фантастическую любовь к воздушному идеалу...», — заключает автор свой мастерской психологический анализ «донжуанской» жизни художника. Индивидуальные особенности характера Лугина, задуманного как автопортрет, Лермонтов осмысляет как типовое явление эпохи. Проблема романтизма освещена в повести в разных аспектах — в философском, эстетическом, литературном, психологическом. В литературном отношении «Штосс» противостоит повестям Гофмана и, главным образом, поэзии Жуковского, которую Лермонтов уже не первый раз тонко пародирует в своей прозе.

Вообще вся повесть, как это свойственно творческой манере Лермонтова, пропитана элементами литературной пародии. Однако нельзя ограничиться, как это делает Э. Найдич, определением этого произведения только как пародии*. На это указывает эволюция центрального образа «Штосса» — ускользающего образа воздуш-

* См. примеч. 34 на с. 334.

ной красавицы. Вначале он появляется как абстрактный, и потому «неприятный», идеал «женщины-ангела». Затем — как естественное и благотворное для юноши прекрасное видение: «...то была одна из тех чудных красавиц, которых рисует нам молодое воображение, перед которыми в волнении пламенных грез стоим на коленях и плачем, и молим, и радуемся бог знает чему...» (Лермонтов иренизирует здесь над своими же ранними стихами — обычный для него прием: достаточно вспомнить «Сказку для детей», где дан сниженный образ «Демона».)

Образ воздушной красавицы претерпевает дальнейшие изменения. Он раздваивается. С одной стороны, Лермонтов рисует его пародийно, а с другой стороны, за чертами абстрактной красавицы проступают иные черты, полные живой жизни. Лермонтов характеризует это видение рядом антитез: «Никогда жизнь не производила ничего столь воздушно-неземного, никогда смерть не уносила из мира ничего столь полного пламенной жизни: то не было существо земное... то не был также пустой и ложный призрак... потому что, — объясняет автор, — в неясных чертах дышала страсть бурная и жадная, желание, грусть, любовь, страх, надежда...» — словом, Лермонтов наделяет возникший в тумане образ всеми теми чувствами, без которых человеческая жизнь вообще невозможна. По мере нарастания напряжения игры с привидением лицо красавицы все больше и больше одушевляется истинно человеческими страстями: «...она, казалось, принимала трепетное участие в игре; казалось, она ждала с нетерпением минуты, когда освободится от ига несносного старика...» Каждый новый проигрыш Лугина повергал ее в отчаяние: на него смотрели «эти страстные, глубокие глаза, которые, казалось, говорили: «смелсе, не упадай духом, подожди, я буду твоею, во что бы то ни стало! я тебя люблю»... и жестокая, молчаливая печаль покрывала своей тенью ее изменчивые черты». Невозможно в этом энергичном, сосредоточенном описании услышать хоть какие-нибудь отзвуки иронии!

Прекрасная и страдающая пленница, за «взгляд и улыбку» которой Лугин «готов был отдать все на свете», постепенно преобразуется под пером Лермонтова в живой портрет. Он нам знаком. Это — все та же красавица, чьи взгляд и речи вызывали у поэта волнение, переходящее в высокое эстетическое переживание. Но в стихотворном цикле она была статична по отношению к лирическому герою — «краткий привет», голос, взгляд и

больше ничего... А теперь она в движении, полном драматизма, — в образе пленницы, рвущейся к своему освободителю. Словом, это — Софья Михайловна Виельгорская до и после замужества.

Обратимся к реалиям.

4

«Штосс» открывается фразой: «У графа В... был музыкальный вечер». В нескольких следующих строках Лермонтов саркастически описал музыкальный салон Виельгорских. Он не восхищается его высоким эстетическим значением и говорит о придворном художественном салоне с холодной иронией: «Первые артисты столицы платили своим искусством за честь аристократического приема...» Показан не многолюдный концерт с присутствием двора, а один из камерных вечеров: «... все шло своим чередом; было ни скучно, ни весело». Упоминается «заезжая» певица, и таким эпитетом Лермонтов намекает на низкопоклонство петербургского «большого света» перед иностранными гастролерами. В этом отношении он был единомышлен с А. О. Смирновой.

Указывалось, что под именем Минской в повести изображена Смирнова³⁵. Внешнее портретное сходство несомненно. Минская — придворная дама, черноволосая красавица, на бледном лице которой «сияет печать мысли». На музыкальном вечере Минская зевает и скучает. «Впрочем, мы тоже очень любим музыку, от скуки чего не сделаешь», — пишет Смирнова в одном из писем. «У вас все высокие интересы, — сообщала она П. А. Вяземскому за границу 14 марта 1839 года, — а мы пока с ума сходим по Тальберге, за него только что не дерутся дамы фешенебельные, особенно полюбила музыку графиня Воронцова, ездят к нему по утрам, зовут обедать, на все вечера, словом *Thalberg est l'homme à la mode**, просто все унижаются даже до подлости, ведь это только может быть в Петербурге»³⁶.

В числе гостей Лермонтов называет «одного гвардейского офицера». Исследователи правильно замечают, что здесь подразумевается сам Лермонтов, — традиционный прием светской повести, которым пользовался еще Пуш-

* Тальберг у нас в моде (фр.).

кин («Роман в письмах», «Гости съезжались на дачу...»). Как мы помним, мы встретились с этим приемом и у Соллогуба: вымышленные герои называют имена своих прототипов («стихи Л(ермонтова) и повести С(оллогуба)»). Теперь мы встречаем Лугина и Лермонтова в одном отрывке.

Фамилия «Минская» и внешняя обстановка первого разговора заимствованы у Пушкина («Гости съезжались на дачу...»), но, следуя своему обыкновению, Лермонтов вкладывает в эту экспозицию свое содержание.

Известно, что Софья Михайловна Соллогуб после замужества особенно сближается с А. О. Смирновой. Вскоре они составят дружественный союз с Гоголем (имевший на него пагубное влияние). Первоначально, называя музыкальный салон, Лермонтов написал вместо начальной буквы «В» букву «С». Была сверху приписана и дата: «17 сентября», дополненная в следующем верхнем слое более точным: «1839 года». 17 сентября по старому стилю — день именин Софьи. Вспомним «Варварин день», отмеченный в записях юноши Лермонтова, посвященных Вареньке Лопухиной, или «26 августа» — день ангела Натальи в драме «Станный человек», где описаны отношения поэта с Натальей Ивановой: именинные дни были для Лермонтова безразличны.

В окончательном варианте Лермонтов останавливается на В(ельгоровском) и снимает все даты. Но это не имеет существенного значения, так как все равно ясно, что действие происходит в доме Виельгоровских на Михайловской площади, где В. А. Соллогуб поселился после своей свадьбы 13 ноября 1840 года.

У Соллогубов были отдельные приемы на своей половине и вечера, на которых была заведена занимавшая всех друзей Лермонтова литературная игра. День приемов — среда, или, как тогда говорили, «среда»³⁷. Лугин в «Штоссе» с удивлением находит под изображением незнакомца вместо фамилии слово «среда». Оживший портрет назначает для игры только один день «среду». Художник с яростью преодолевает это препятствие. «А! в среду! — вскрикнул в бешенстве Лугин, — так нет же! — не хочу в среду! — завтра или никогда! слышишь ли?» Таинственная символика повести, как видим, объясняется событиями действительной жизни, волновавшими Лермонтова.

«Страшная несовременная наружность» квартиры, где

происходила игра, самый образ пленницы, которую старик приводил к Лугину из дальней комнаты, находят соответствие в образе жизни «молодой» Соллогуб. «Софья Михайловна и не видывала большого света, — писал П. А. Плетнев 27 декабря 1840 года, — и живет теперь с мужем, как живали в старинных романах добрые героини»³⁸.

Вспомним прелюдию к обручению Соллогуба с Виельгорской — его повесть. Там он предсказал развязку своего соперничества с Лермонтовым: Леонина отправляют на Кавказ... Повесть Соллогуба вышла в свет 14 марта. Помолвка, задуманная при дворе великой княгини Марии Николаевны и одобренная царем, была объявлена 19 апреля 1840 года. В этот день Лермонтов расписался в ознакомлении с «высочайшей сентенцией» о переводе его на Кавказ, в Тенгинский пехотный полк. Вспомним неожиданный характер этой помолвки. Приходится признать, что Виельгорская, которая до тех пор не любила Соллогуба, путем искусных интриг была выдана за него царской семьей (не в награду ли за пародийную повесть). Игра была нечистой. Не отсюда ли образ шулера, замысленный Лермонтовым для «Штосса»? В первоначальном плане повести записано: «Шулер: старик проиграл дочь, чтобы...» Этот план набросан Лермонтовым, когда он в последний раз приехал в Петербург. Виельгорскую он застал уже замужем.

Образ отца, проигравшего дочь, постепенно преобразуется в образ шулера-старика — в фантастическую фигуру. Лермонтов снова и снова возвращается к центральному эпизоду повести, чтобы найти в новом варианте лучшее выражение волновавшего его образа. В «альбоме Одоевского» он записывает:

«Да кто же ты, ради бога? — чтос? отвечал старичок, примаргивая одним глазом. — Штос! — повторил в ужасе Лугин».

Странный образ старика-привидения с его каламбурной фамилией вызывает у Лугина ужас, а в петербургском варианте — испуг:

«— Хорошо... я с вами буду играть — я принимаю вызов — я не боюсь — только с условием: я должен знать, с кем играю! Как ваша фамилия?»

Старичок улыбнулся.

— Я пначе не играю, — проговорил Лугин, — меж тем дрожащая рука его вытаскивала из колоды очередную карту.

— Что-с? — проговорил неизвестный, насмешливо улыбаясь.

— Штос? — кто? — У Лугина руки опустились: он испугался».

Современные советские исследователи видят в этом каламбуре доказательство иронического отношения автора к Лугину³⁹. Но напряженность этого диалога противоречит такому толкованию. Каламбурная фамилия Штосса — центральный сюжетный стержень повести. Вспомним: таинственный голос подсказывает Лугину адрес доселе ему незнакомого титулярного советника Штосса. Возникающий в пустынном переулке нежилой дом действительно принадлежит Штоссу. Появившееся привидение пугает Лугина зловещим каламбуром: «Не угодно ли, я вам промечу штосс?» Полный напряженной тревоги стиль повести не позволяет видеть в этом шутку.

Да и сам каламбур не был случайной игрой слов, а обязан был своим происхождением событию, о котором говорил весь город. Оказывается, в «Штоссе» мы встречаемся с «цитатой-сигналом», в творческой системе Лермонтова дающей обычно ключ к уразумению смысла его художественных образов.

25 декабря 1839 года А. В. Никитенко записывает в своем дневнике: «Институтка, приятельница моей жены, умненькая, хорошенькая Е. И. Ш., до сих пор очень бедная и жившая в гувернантках, вдруг сделалась обладательницей полумиллиона. Она выиграла в польскую лотерею 900 000 злотых. Вчера она была у нас; богатство пока не изменило ее: она по-прежнему проста, мила, точно не подозревает, каким могуществом вдруг подарила ее судьба. Между тем, весь город толкует о ней. Императрица пожелала видеть ее»⁴⁰.

Об этом же событии писал родным 28 декабря 1839 года П. А. Вяземский:

«Убили мы бобра с Родольфом Валуевым; взяли с ним пополам лотерейный польский билет за сто рублей, а сейчас приходит меня поздравить с выигрышем 30-ти рублей на брата. И другие мои сто рублей пропали, и каналья фортуна тянула меня до конца... А большой выигрыш в 400 000 рублей здесь взят. Выиграла его какая-то бедная девица Штосс, а я-то что-с? — спрашиваю я у судьбы, что я тебе, в дураки, что ли, достался?»⁴¹

Каламбур Вяземского, соотносивший необычайный выигрыш девицы Штосс с образом судьбы, объясняет сцену отчаянной игры Лугина с Штоссом, описанную как смертельная схватка с судьбою. Образ ее неуловим, как все в императорском Петербурге, где решающую роль играла не открытая борьба, а тайные интриги, где поэт столкнулся с тупой, но уклоняющейся силой Николая I — «да кто же ты...», «...я должен знать, с кем играю!».

В самом происшествии, в котором разоренные аристократы завидовали бедной гувернантке, уже заложен зародыш сюжета повести, где действие начинается в великосветском салоне и уходит куда-то в «глухие части города», к Кокушкину мосту, в дом титулярного советника.

Так события действительной жизни, попадая на подготовленную почву строя идей поэта, преображались его творческой фантазией в сложные художественные образы.

В злободневности и в автобиографической основе — такой запутанной и трудной — заключен секрет обаяния последней прозы Лермонтова, увлекающей читателя своим трагическим отблеском и скрытым ритмом бешеного азарта.

1

При отличной способности быстро и точно реагировать на толчки внешней жизни, Лермонтов всегда был погружен в свою думу и поэтические видения. Находясь под арестом, он создал такие шедевры лирики, как «Воздушный корабль» и «Журналист, Читатель и Писатель». Калейдоскоп пестрых событий барантовской истории — «море бед», как по-гамлетовски назвал это Лермонтов в стихах к Соломирской, — только возбуждал вдохновение поэта.

«Герой нашего времени» уже печатался в типографии. Окончание романа знаменовало собой завершение двухлетнего периода жизни Лермонтова в Петербурге. «Большой свет ему надоел, давит его, тем более, что он любит его не для него самого, а для женщин, для интриг... — писал Белинский. — Ну, от света еще можно бы оторваться, а от женщин — другое дело. Так он и рад, что этот случай отрывает его от Питера»¹. За это время Лермонтов успел создать себе репутацию циника, породившую столько легенд о его невероятных похождениях. Передавая и приукрашивая их, современники забывали, что поэт на их глазах создавал своего Печорина и неустанно совершал психологические эксперименты. У него было множество знакомых, он всегда был окружен людьми, но «во всех сношениях с ними держал себя скорее наблюдателем, чем действующим лицом, за что многие его считали человеком без сердца» (Дружинин)².

«Этот человек никогда не слушает то, что вы ему говорите, — он вас самих слушает и наблюдает», — писал Ю. Самарин, понимая, что источником этой пронизательности был психический склад поэта. «Это чрезвычайно артистическая натура, неуловимая и не поддающаяся никакому внешнему влиянию, благодаря своей наблюда-

тельности и значительной дозе индифферентизма. Вы еще не успели с ним заговорить, а он вас уже насквозь раскусил; он все замечает...»³

При уме и проицательности Лермонтов обладал, однако, большой долей наивности. «По годам и по многому другому, он был порядочным ребенком», — замечал Дружинин. «Характером он был моложе, чем следовало по летам», — писал Н. М. Смирнов, человек из пушкинского окружения⁴. «Глупым ребячеством» называл П. А. Вяземский поведение Лермонтова в истории с Барантами. С житейской точки зрения оно действительно безумно. Оглянемся еще раз на события этих бурных двух лет.

Многие разделяли негодование Лермонтова по поводу разнузданных привычек царской семьи, но кто мог бы решиться на дерзкие выходы поэта?

Приглашение на новогодний бал к Барантам... Это был шаг, предпринятый французским послом для сближения с русским обществом в острый момент дипломатических трений. Не далее как 27 марта 1840 года Барант любезно писал П. А. Вяземскому о «подлинной колонии французского языка», какой, по мнению просвещенных европейцев, являлся Петербург, и видел в этом залог «нерушимой франко-русской дружбы». «Если она не всегда проявляется в политике, — добавлял посол, — то никогда не изгладится в области культуры»⁵. Наслышанный о восходящей звезде русской поэзии, Барант пригласил Лермонтова. Какими затруднениями сопровождалась эта дружественная акция, мы уже знаем из письма А. Тургенева. Знал обо всем и Лермонтов. Тем не менее поэт не нашел ничего лучшего, как напечатать стихотворение с датой «1-е января», совпадающей с днем торжественного приема в посольстве. С точки зрения здравого смысла — промах. По большому счету — бесмертное выступление гениального поэта.

Эпиграмму на высших сановников поэт небрежно набрасывает мелом на зеленом сукне*.

Лермонтов не сторонился «житейского волнения», он жил в другом измерении. Его как будто оставляла проицательность, когда он сталкивался с конкретными действиями правительства, направленными против него. Конечно, он не знал о тайных интригах Бенкендорфа, но чего можно было ждать от царя, когда дело его так

* См. с. 252.

осложнилось? Между тем перевод на Кавказ оказался для Лермонтова неожиданностью. «Суд над ним кончен и пошел на конфирмацию к царю, — писал Белинский со слов Краевского. — Вероятно, переведут молодца в армию. В таком случае хочет проситься на Кавказ, где готовится какая-то важная экспедиция против черкес. Эта русская разудалая голова так и рвется на нож»⁶. А в это время «высочайший» приказ о переводе Лермонтова в Тенгинский пехотный полк был уже под-писан.

Несоответствие между житейским легкомыслием и глубоким умом поэта поражало современников. О Лермонтове говорили как о «психической загадке» (М. Н. Лонгинов), «избалованном аристократическом ребенке» (Герцен), вспоминали его «неизвинительные капризы» (А. В. Дружинин). Но большое явление нельзя рассматривать на слишком близком расстоянии. Демократический читатель и Белинский лучше понимали Лермонтова, чем те, кто сталкивался с ним в повседневной жизни. Это сказалось на трудных и сложных сношениях Лермонтова с людьми из круга Пушкина, и главным образом с П. А. Вяземским.

Всем известен оправдательный поход, предпринятый В. А. Жуковским и П. А. Вяземским после смерти Пушкина. Письмо Жуковского к отцу поэта было напечатано в «Современнике». Вяземский написал письмо великому князю Михаилу Павловичу, имевшее целью оградить имя покойного поэта и его живых друзей от обвинений полиции в устройстве политического заговора.

Пожар Зимнего дворца 17 декабря 1837 года послужил Вяземскому поводом для исторического очерка, написанного по-французски и напечатанного в одном из парижских журналов. В апреле 1838 года этот очерк, переведенный на русский язык, появился в «Московских ведомостях»⁷.

Автор отмечал историческое значение царской резиденции, похвалил поступки Александра I во время наводнения и закончил славословиями по поводу новогодних встреч Николая I с народом на площади перед дворцом.

Вернувшись летом 1839 года в Петербург, Вяземский продолжал ненавистную ему службу в департаменте внешней торговли министерства финансов, но стал получать знаки одобрения от властей и консервативного крыла общества.

В августе 1839 года он был избран в члены Российской Академии, возглавлявшейся А. С. Шишковым. В сентябре Вяземский получил чин действительного статского советника. Поэт тяжело переживал свое новое положение, приводившее к трагической внутренней раздвоенности. «Уж теперь лакеи не говорят про меня: карета князя Вяземского, а генерала Вяземского», — с грустной иронией писал он жене. Раздраженно говорит он об успехе в высшей чиновничьей среде его очерка о Зимнем дворце и стихотворения «Самовар», проникнутого духом ограниченного местного патриотизма. В беседах и записках он продолжал остро и резко критиковать порядки и обычаи правления Николая I. Вместе с тем Вяземский все еще чувствовал себя в положении опального и проявлял чрезвычайную осторожность, опасаясь привлечь к себе общественное внимание. «На беду мою не могу показаться на Невский проспект, — писал он в октябре 1839 года, — так все и кидаются поздравить меня с чином. Революция, да и только! Шляпами махают, кричат. Боюсь, чтобы полиция не вмешалась и не подумала, что это я народ подкупаю. А ты знаешь мои привычки на этот счет. Надинька также знает. Эти восторги только что агасируют мои нервы».

Семейное несчастье — смертельная болезнь дочери Надежды — заставило Вяземского сделать еще одну уступку: примириться со злейшими врагами Пушкина, с которыми он демонстративно порвал в 1837 году.

19 декабря 1839 года Вяземский подробно пишет об этом в Баден:

«В последнее воскресенье у Росси* и в полном смысле последнее (ибо она за множеством охотников и посетителей должна закрыть свой салон) вдруг через всю залу ломится ко мне графиня Нессельроде, в виде какой-то командорской статуи, и спрашивает меня об вас. Разумеется, я отвечал ей очень учтиво и благодарно, и вот поневоле теперь должно будет мне кланяться с нею. Видишь ты, Надинька, чего ты мне стоишь? Ты расстроила весь мой политический характер и сбиваешь меня с моей политической позиции в Петербурге. Не кланяться графине Пупковой и не вставать с места, когда она проходит, что-нибудь да значило здесь. А теперь я втерт

* Известная немецкая певица Генриетта Зонтаг, вышедшая замуж за сардинского посланника в Петербурге графа Росси. В 1839 г. выступала в любительских концертах перед знатной публикой.

в толпу. Я превосходительный член русской академии и знаком с племянницею, чем же после этого я не такая же скотина, как и все православные?»⁸

Чтобы оценить весь горький смысл этого письма, нужно вспомнить не только козни графини Нессельроде в последний год жизни Пушкина, но и события 1828 года, когда Вяземского, как и Пушкина, не пустили в армию во время турецкой войны. Одну из главных ролей в этой кампании против Пушкина и «говорунов», как называл в ту пору Николай I Вяземского и А. Тургенева, играл граф К. В. Нессельроде. «Я имел случай убедиться, что наш возлюбленный племянник, вице-канцлер и действительная свинья, Нессельроде, был в этом деле один из противных ветров», — писал П. А. Вяземский 21—26 апреля 1828 года⁹.

Никто лучше самого Вяземского не понимал всего трагизма происходившей с ним метаморфозы.

Графиня Нессельроде, сделав первый шаг к примирению с пушкинскими друзьями, продолжила эту линию: в декабре 1840 года она оказала В. Ф. Вяземской много услуг в хлопотах о погребении Н. Вяземской в Бадене.

Общение с «графиней Пупковой» повлекло за собой также примирение с другим врагом Пушкина — с княгиней Е. П. Белосельской-Белозерской. Эту холодную, хищную и развратную красавицу Пушкин считал соучастницей в авторстве и распространении гнусного «диплома рогносцев». Она была падчерицей А. Х. Бенкендорфа и женой двадцатипятилетнего князя Эспера Белосельского-Белозерского. Вяземский порвал с нею знакомство после смерти Пушкина, но 16 марта 1840 года сообщает жене: «Прежде заезжал я на часок к к(нягине) Зинаиде Белосельской, которая принимает у младших Белосельских, к коим между прочим я не езжу. Но с молодою княгиней с нынешней зимы начал опять кланяться»¹⁰.

Приведенные строки Вяземского многое разъясняют в поведении Лермонтова. Специфические условия, в которых «не кланяться графине Пупковой» уже представляло собой политическую позицию, дают резкое освещение всей повадке Лермонтова в великосветских салонах.

Обратимся к описанию И. С. Тургенева, наблюдавшего Лермонтова в конце 1839 года в доме княгини Шаховской: «На Лермонтове был мундир лейб-гвардии пусарского полка; он не снял ни сабли, ни перчаток и, сгор-

бившись и насупившись, угрюмо посматривал на графиню» Э. К. Мусину-Пушкину¹¹.

Поэза поэта воспринимается как олицетворенный вызов неписаным законам великосветского общества, где каждый молодой человек обучался «тактике гостинных», с математической точностью указывающей, «где встать, где сесть, где поклониться»¹² (Соллогуб).

Надо заметить, что княгиня С. А. Шаховская была невесткой Э. К. Мусиной-Пушкиной. С обеими Вяземский был в дружбе.

Внимание, оказываемое в этих домах Лермонтову, очевидно, раздражало поэта старшего поколения. Добавим к этому, что сын Вяземского Павел, повеса и бездельник, находился под сильным личным влиянием Лермонтова. Поэт поражал воображение юноши рассказами о своих выдуманных и невыдуманных похождениях. Все это подготовило критическое и отчужденное отношение Вяземского-отца к Лермонтову, которого он встречал в домашней обстановке гораздо чаще, чем упоминает об этом в своих письмах.

Особенно недоволен был Вяземский историей с Барантами. Он дорожил этим литературным и политическим салоном, оставшимся единственным каналом для русско-европейских культурных связей после смерти Е. М. Хитрово и отъезда из Петербурга Фикельмонов.

Первая реакция Вяземского на известие о дуэли Лермонтова с Барантом была отрицательной. «Петербургское и довольно нахальное волокитство» Лермонтова навело его на исторические воспоминания. Он сравнивал два поколения и, разумеется, отдавал предпочтение «львам» 20-х годов. «В нынешней молодежи, — пишет Вяземский 14 марта 1840 года, — удивительно много ребячества, но не простого сердечного, а только глупого и необразованного, то есть не воспитанного ни домашним, ни общежитийским воспитанием. Беда, что вовсе нет старших, то есть *d'autorité* *, как, например, в старину Киселев, Орловы и другие. Теперь везде поголовная мелюзга. Нет *arcsпага*, все *une démocratique de mediocrité* **. Странно, что народ мелеет в России. И везде, конечно, миновалась пора великих личностей, *de grande individualité*, но в других местах причина тому, что свет просвещения ровнее разливается на массы, что число дей-

* нет влияния (*фр.*).

** демократия посредственностей (*фр.*).

ствующих, принимающих участие в общем беге, быстро умножается, но у нас этой причины нет. Разумеется, говорю не в политическом отношении, а только в социальном».

Дальнейшее развитие событий, сопровождавшееся всеобщим сочувствием к Лермонтову («Из него делают героя», — удивленно писал Вяземский), не поколебало этого скептицизма. «Лермонтова дело пошло хуже, — сообщает он 2 апреля 1840 года, — под арестом он имел еще свидание и экспликацию с молодым Барантом. Все это глупое ребячество, а Лермонтов, верно, один из героев Павлуши. Дух независимости, претензия на независимость, на оригинальность, и конец всего, что все делает навыворот. Тут много посторонних людей пострададет, во-первых, свидетели и более всех дежурный офицер, который допустил свидание. Между тем, что правда, то правда, Лермонтов в заключении своем написал прекрасные стихи»¹³.

В этих рассуждениях сказалась вся разница между общественной позицией Вяземского и Лермонтова. Не менее сложными были литературные взаимоотношения двух поэтов разных поколений.

2

Стихи Лермонтова, которые Вяземский назвал «прекрасными», — это «Журналист, Читатель и Писатель». 20 марта Соллогуб навестил Лермонтова на Арсенальной гауптвахте и принес оттуда копию этого нового стихотворения. 12 апреля оно было напечатано в «Отечественных записках».

В советское время это стихотворение получило новые толкования. С одной стороны, стремились разъяснить авторскую исповедь, выраженную в заключительном пространном монологе Писателя. С другой — пытались раскрыть злободневный смысл первой части стихотворения, где Лермонтов производит смотр реальных сил современной литературы и журналистики. Ясно, что без полного понимания первой части нельзя правильно истолковать вторую. Между тем в ней остается еще много нераскрытого.

До исследования Н. И. Мордовченко под Журналистом, явившимся к Писателю, обычно подразумевался Белинский. Ученый доказал, что в образе Журналиста

выведен Н. А. Полевой — в прошлом редактор-издатель боевого «Московского телеграфа», а в пору активности Лермонтова критик реакционного «Сына отечества»¹⁴.

Новой удачей в поисках конкретных источников «Журналиста, Читателя и Писателя» явилось указание Э. Э. Найдича на источник французского эпитафия к стихотворению: «Поэты похожи на медведей, сытых тем, что сосут свою лапу». Лермонтов пометил этот эпитафия как «неизданное», но на самом деле это вольный перевод афоризма Гете из его «Изречений в стихах»¹⁵.

Более глубокую связь стихотворения Лермонтова с творчеством Гете вскрывает В. Э. Вацура, указывая на «Пролог в театре» из «Фауста» как на его «жанровый первоисточник», отразившийся на проблематике всего стихотворения (наряду с пушкинским «Разговором книгопродавца с поэтом»). При этом исследователь не проходит мимо эпитафия, скрепляющего эту связь¹⁶. Таким образом в споре между Читателем, Журналистом и Писателем участвовал еще и «великий олимпиец», в имени которого сосредоточена целая философия творчества.

Но кто же в таком случае Читатель? Существует мнение, что в его словах выражены собственные требования Лермонтова к современной поэзии:

Когда же на Руси бесплодной,
Расставшись с ложной мишурой,
Мысль обретет язык простой
И страсти голос благородный?

Эти строки постоянно цитировал с большим сочувствием Белинский. С его легкой руки стали крылатыми фразами и другие реплики Читателя. Прогрессивное их значение породило даже гипотезу, что в этом стихотворении Лермонтов выступил под псевдонимом Читателя, а в образе Писателя предоставил слово другому поэту — А. С. Хомякову¹⁷. Однако гипотеза эта не нашла себе подтверждения ни в дальнейших трудах ее автора, ни у других исследователей. Как видим, образ Читателя причинил немало затруднений знатокам творчества Лермонтова.

В последних изданиях сочинений поэта все комментаторы остановились на мысли, что «авторский голос» Лермонтова слышен и в словах Читателя, и в словах Писателя. Однако это вызывает возражения.

Одна из крылатых фраз Читателя, тоже часто повто-

рванная Белинским в его статьях, относится к внешнему оформлению журналов:

...Во-первых, серая бумага,
Она, быть может, и чиста;
Да как-то страшно без перчаток...

Тут заключена скрытая цитата, не замеченная исследователями. Лермонтов перефразировал давнишний калямбур другого поэта. В 1830 году в альманахе «Деница» был напечатан «Отрывок из письма к А. И. Готовцевой» П. А. Вяземского. Там читаем:

«Кто-то сказал, что с некоторого времени журналы наши так грязны, что их не иначе можно брать в руки, как в перчатках»¹⁸.

Афоризм этот принадлежал самому Вяземскому — он повторяет его в одной из своих «Записных книжек» от первого лица.

Не изображен ли в образе Читателя Вяземский? Это тем более вероятно, что главным оппонентом его после напечатания «Отрывка письма к Готовцевой» в 1830 году был не кто иной, как Н. А. Полевой, то есть Журналист стихотворения Лермонтова.

Попробуем распространить параллель с Вяземским на все реплики Читателя. Положительная часть его требований к литературе характеризуется такими речениями: «изрядный слог», «живое, свежее творенье» и «чувств и мыслей полнота». Такой отбор слов типичен для печатных выступлений П. А. Вяземского. В 1824 году в знаменитом предисловии к «Бахчисарайскому фонтану» он высказывает свои соображения о необходимых условиях развития сюжета: «Слог придает ему крылья или гириями замедляет ход его». Касаясь далее «Бахчисарайского фонтана», он продолжает эту мысль: «В творении Пушкина участие читателя поддерживается с начала до конца. До этой тайны иначе достигнуть нельзя, как заманчивостью слога»¹⁹. В 1827 году, восхищаясь «богатством, роскошью воображения, сильным и живым чувством поэтическим» Адама Мицкевича, Вяземский подчеркивает, что оно везде у него «выдается и в верном, свежем выражении переливается в душу читателя»²⁰. В 1830 году он пишет в том же письме к Готовцевой: «Передавайте стихам своим как можно вернее и полнее впечатления, чувства и мысли свои. Тогда стихи ваши будут иметь жизнь, образ, теплоту, свежесть».

Критические замечания Вяземского тоже легко сопоставимы со словами Читателя: «Литература наша, то есть журнальная... не есть выражение общества, а разве некоторых темных закоулков его» (из письма к Готовцевой, в «Деннице» 1830 года). Эта мысль выражена Лермонтовым в знаменитых строках:

С кого они портреты пишут?
Где разговоры эти слышат?
А если и случалось им,
Так мы их слышать не хотим...

Сравнение образа Читателя с Вяземским может объяснить и некую несообразность. Если принять Читателя за рядового подписчика журнала, остается необъяснимой его придирчивая профессиональная критика современной журнальной поэзии. Совсем другим будет наше восприятие, если мы прочтем следующие строки, соотнося их с литературным вкусом поэта Вяземского:

Стихи — такая пустота;
Слова без смысла, чувства нету,
Натянут каждый оборот;
Притом — сказать ли по секрету?
И в рифмах часто недочет.

В письме к Готовцевой Вяземский хвалит «педантов в рифмах». «Люблю эту звучную игрушку среднего века», — восклицает он. «Не пренебрегайте также верностью рифмы, — советует он поэтессе. — Уважайте истину поэзии, но соблюдайте свято истину и стихотворства... Чем рифма кажется маловажнее, тем рачительнее должно стараться о ней».

Отождествляя Читателя с Вяземским, мы можем найти удовлетворительное объяснение и снисходительно-поучающему тону, с каким этот персонаж стихотворения Лермонтова обращается к журнальным критикам:

В чернилах ваших, господа,
И желчи едкой даже нету —
А просто грязная вода.

Эта строфа, не отличающаяся по духу от оценок Вяземским журналов 30-го года, переносит нас, как показал Н. И. Мордовченко, в период, современный Лермонтову: «Мелкие нападки на шрифт, виньетки, опечатки» отражают беспринципную критику Полевым изданий Краевского 1839—1840 годов.

Таким образом, можно полагать, что в стихотворении «Журналист, Читатель и Писатель» Лермонтов вывел двух оставшихся в живых противников знаменитой полемики 30-го года — «литературного аристократа» Вяземского и «демократа» Полевого. Собственно говоря, на это намекал еще П. А. Висковатов. Но на его слова не обращали внимания, так как они ничем не были мотивированы. Между тем он очень уверенно характеризовал обоих этих персонажей дополнительными чертами, которых нет в стихотворении. Вероятно, на прототипов Журналиста и Читателя ему указал А. А. Красевский или В. А. Соллогуб, на сообщения которых биограф Лермонтова постоянно ссылался. Из характеристики Журналиста было уже ясно, что Висковатов имеет в виду отнюдь не Белинского:

«Этому торгашу литературы, — писал он, — подделывающемуся под общий тон, желающему угодить всякому, лишь бы было ему выгодно, и потому смотрящему на талант как на дойную корову, противопоставлен Читатель, безукоризненный человек хорошего высшего общественного тона, который неудовольствие свое на литературу прежде всего выражает тем, что

...Нужна отвага,
Чтобы открыть... хоть ваш журнал
(Он мне уж руки обломал) ...

Да как-то страшно без перчаток...

Впрочем, — продолжает П. Висковатов, — дальнейшие его замечания доказывают образованность и «хорошее воспитание», словом, лицо из высшего круга, в свою очередь глядящее на литературу, не скажем, как на приятную забаву, нет, глядящее на нее серьезнее, как на полезную пищу для тонкого, воспитанием и вереницей именитых предков дрессированного, ума»²¹.

Упоминание о принадлежности Читателя к высшему кругу, намек на его родовитое происхождение в сочетании с указанием на тонкий литературный вкус и брезгливое пренебрежение к журналистике позволяют узнать в этом описании князя П. А. Вяземского.

Образ Вяземского Лермонтов рисует в развитии. Призыв «романтиков» 20-х годов к созданию полнокровной литературы передан Лермонтовым в уже приведенной нами строфе: «Когда же на Руси бесплодной, // Расставшись с ложной мишурой...» и т. д. Вероятно, поэтому Вяземский и нашел стихотворение Лермонтова

«прекрасным». Написанное в традиционной форме литературного «разговора», оно напомнило ему лучшую пору его жизни, когда он был соратником Пушкина, когда его «Разговор между издателем и классиком с Выборгской стороны» служил их общим манифестом при выходе «Бахчисарайского фонтана». «Что такое народность... — писал там Вяземский. — Она не в правилах, но в чувствах. Отпечаток народности, местности — вот что составляет, может быть, главное, существеннейшее достоинство древних... нет сомнения, что Гомер, Гораций, Эсхил имеют гораздо более сродства и соотношений с главами романтической школы, чем с своими холодными, рабскими последователями».

Борьба «романтиков» за освобождение литературы от пут устаревшего классицизма, так блистательно возглавленная Пушкиным, конечно, была дорога Лермонтову. И он никогда не забывал, что в числе ее главных участников был Вяземский.

В своем стихотворении Лермонтов касается далее второго этапа борьбы пушкинской группы — полемики 1829—1831 годов. Эту страницу литературных боев Пушкина с Булгариным он учитывал, когда полемизировал с «Северной пчелой» в «Тамбовской казначейше». Зная, что в образе Журналиста изображен второй противник «Литературной газеты», то есть Н. А. Полевой, понимаешь ассоциацию, по которой Лермонтов обратился к «Деннице» 1830 года для характеристики Читателя. Он и Журналиста рисует ретроспективно. Когда-то Полевой имел заслуги в воспитании демократического читателя, но после закрытия «Московского телеграфа» опустился, стал продажным журналистом и критиком-поденщиком. Характеризуя Полевого, Лермонтов ввел выражение, бывшее ходовым в кругу Вяземских и Карамзиных. Так, вспоминая в августе 1840 года «старые прибаутки», Вяземский писал: «Войдите в мое положение! — голос значительно возвысить на слоге *же*. Эта фраза с этим ударением была в большой моде прошлым летом у Карамзиных и пущена в ход, кажется, Лермонтовым»²². Все это выражено в строфе:

Войдите в наше положенья!
Читает нас и низший круг;
Нагая резкость выраженья
Не всякий оскорбляет слух;
Приличье, вкус — все так условно;
А деньги все ведь платят ровно!..

Но если для обрисовки нисходящего пути Полевого достаточно было одной строфы, то с характеристикой эволюции Вяземского дело обстояло сложнее. И тут мы подошли к самому важному: почему Лермонтов называет его Читателем?

Обратимся к последней реплике этого персонажа:

Зато какое наслажденье,
Как отдыхает ум и грудь,
Коль попадется как-нибудь
Живое, свежее творенье!
Вот, например, приятель мой:
Владет он изрядным слогом,
И чувств и мыслей полнотой
Он одарен всевышним богом.

Прежде всего разъясним недоразумение: большинство исследователей механически переносит характеристику «приятеля» на Писателя. Это противоречит здравому смыслу, не соответствуя элементарному правилу вежливости: о присутствующих не говорят. Да и рекламирование таланта поэта, к которому критик и без того пришел как к признанному автору, неуместно. Неправильность этой аналогии раскрывается в крылатой реплике Журналиста:

Все это так, — да вот беда:
Не пишут эти господа.

Собирательный образ показывает, что речь здесь идет не о действующем писателе, а о целой группе литературно одаренных, но почему-то молчащих людей. Кто же они, «эти господа»?

Еще при жизни Пушкина Вяземский настойчиво привлекал к литературе двух людей. Это — Александр Иванович Тургенев и князь Петр Борисович Козловский. Оба печатались в «Современнике» Пушкина. Во вступительной редакционной заметке к анонимно напечатанной «Хронике русского в Париже» Вяземский писал об А. Тургеневе: «Глубокомыслие, остроумие, верность и тонкая наблюдательность, оригинальность и индивидуальность слога, полного жизни и движения, которые везде пробиваются сквозь небрежность и беглость выражения, — служат доказательством того, чего можно было бы ожидать от пера, писавшего таким образом про себя, когда следовало бы ему писать про других...»²³

О Козловском и его рецензии на парижский ученый ежегодник, «без сомнения памятной читателям *Совре-*

менника», Вяземский вспоминал в 1840 году: «Новый писатель с первого раза умел найти и присвоить себе слог, что часто не дается и писателям, долго упражняющимся в письменном деле. Ясность, краткость, живость были отличительными чертами сего слога».

Когда Вяземский писал эти слова, он уже не призывал Тургенева к участию в литературе. Напротив, он с удовлетворением сообщает 9 января 1840 года: «У Тургенева есть прекрасная миссия, это — говорить».

Отзываясь положительно о литературном стиле Козловского — «в словах его были и достоинство ценности, и красивость отделки: то есть мысль и выражение», — Вяземский все же придавал большее значение его устной беседе. «Давно замечают, — пишет он, — что тайна и прелесть разговорчивости, коей последние отголоски приетствовали нас во дни нашей молодости, ныне уже преданы забвению. Болтунов найдешь, но говоруны перевелись. Единственные говоруны нашей эпохи: журналы». Вяземский прямо противопоставляет современную, «вульгарную», с его точки зрения, журналистику вырождающейся салонной культуре. С восхищением пишет он о Козловском: «На дипломатических обедах, на вечеринках литературных, в блестящих многолюдных собраниях, в отдельном и немногим доступном избранном и высшем обществе, голос князя Козловского раздавался неумолчно... Но истинное торжество князя Козловского, лучшая сцена для него была приятельская простая беседа»²⁴.

Все это позволяет предположить, что «приятель» лермонтовского Читателя — это Козловский. Он принадлежал к группе, которая не пишет. Это группа бывших сотрудников пушкинского «Современника», переставших писать, и первое место среди них занимал сам Вяземский.

Он все глубже и глубже прячется в узкие закоулки частной беседы, уходит в «малые» литературные жанры дружеской переписки, заметок «для себя» («Записная книжка») или устного рассказа, каламбура, анекдота.

«Письма мои в самом деле чертовски умны, так что самому страшно. Уж не нечистая ли сила пишет за меня?» — обращается он к родным 23 января 1840 года²⁵. Своей эпистолярной деятельности Вяземский придает серьезнейшее значение. «Если Вы сохраните мое письмо, — пишет он графине Э. К. Музиной-Пушкиной 18 октября 1837 года, — потомство получит ключ к Ва-

шей загадке и разглядит Вас сквозь всю шутовскую мишуру, которой я покрыл моего идола или, — если это Вам больше нравится, — мою святую»²⁶. «Нет ли во мне тайной надежды, что вы покажете мое письмо с тем, чтобы знали в Европе, как у нас в России запросто, шутя, без приготовления пописывают дружеские, семейные письма», — пишет он 19 июля 1839 года в Баден.

Уход в свободный, непринужденный эпистолярный жанр сопровождался у Вяземского оскудением его поэтической деятельности. «Хочется написать что-нибудь новое, но не пишется», — заявляет он 22 февраля 1840 года по поводу намерения Мейербера написать романс на его слова. «По старой привычке меня барыни закидывают альбомами, но не тут-то было. Как ни живу, ни стишонка не выжмешь. От того и Мейерберу ничего нет» (9 марта 1840 г.). Послав наконец композитору новое стихотворение, Вяземский сопровождает его самокритическими замечаниями и заключает: «Что же делать? Чем богат, или чем беден, тем и рад»²⁷. «Я ничего не пишу, но если бы когда-нибудь пробудилась рука моя, то охотно принесу вам дань», — пишет он С. П. Шевырсу 25 июня 1841 года²⁸.

Если при начале издания «Современника», в 1836 году, Вяземский призывал А. И. Тургенева писать «про других», то теперь критика тщетно пыталась привлечь его самого к публичной литературной деятельности. Так, в рецензии на «Утреннюю зарю» 1841 года, где были помещены отрывки записей Вяземского о Фонвизине, В. Г. Белинский писал: «Только один князь Вяземский мог бы у нас написать историю литературы русской в отношении к обществу, так, чтоб это была история литературы и история цивилизации в России от Петра Великого до нашего времени». Высоко ценя Вяземского как знатока русского XVIII века, Белинский не забывал роли соратника Пушкина в начале XIX. Он призывал его написать об этом блестящем периоде: «Князь Вяземский играл одну из первых ролей в литературе этого времени, был в приятельских отношениях со всеми его действителями, — напоминает он и заключает: — Да, у нас есть люди, которые превосходно могли бы делать и то, и другое, да они мало делают, или ничего не делают»²⁹.

С других позиций о «молчании» Вяземского и всего литературного круга спутников Пушкина написал весной 1841 года В. А. Солоницкий, сотрудник «Библиотеки для чтения»: «Поседелые рыцари гусиного пера Крылов,

Жуковский, Вяземский и другие, к которым причисляет себя и Плетнев, по-прежнему не принадлежат ни к какой партии или, лучше сказать, составляют особое племя, которое ничего не делает, величественно покоясь на заслуженных и незаслуженных лаврах»³⁰.

Вяземский оправдывает свою пассивную позицию объективными условиями. Сравнивая бурную общественную жизнь революционной Франции с монотонностью русской жизни, он полагает, что в самодержавной России полемика и гласность невозможны. «Их литература не только животрепещущая, — пишет он, — но и грозно волнующая; она стихия, бурями и напастью подвизаемая; наша — такое пристанище жизни созерцательной, где прения, битвы, страсти, голоса житейские или не отзываются, или замирают в глухих отголосках»³¹.

Эти безнадежные слова, подготавливающие дальнейший переход Вяземского на крайние консервативные позиции, помещены им в некрологе Козловского, умершего в октябре 1840 года. «Журналист, Читатель и Писатель» был написан раньше, но подобные идеи Вяземский развивал после смерти Пушкина постоянно — на «маленьких раутиках» у себя дома, на «чтениях» в литературных салонах, у Карамзиных, где Лермонтов бывал ежедневно в 1839 году. Таким образом, положение «зрителя», а не «деятеля» эпохи Вяземский занял принципиально. Это и позволило Лермонтову, не рискуя обидеть поэта, назвать его в своем стихотворении Читателем.

3

Глубокий внутренний спор с Вяземским и «пушкинским» кругом содержится в монологе Писателя. На первый взгляд он солидарен с Читателем. Он прямо отвечает Журналисту, что ничего не пишет. Однако из его монолога выясняется, что пишет-то он очень много, но не все печатает. Он не задает себе вопроса, зачем писать, нет, он только дважды повторяет: «о чем писать?» Иными словами, Писатель ставит вопрос о том, какая именно литература нужна сейчас русскому обществу.

Не надо забывать, что «Журналист, Читатель и Писатель» написан накануне выхода «Героя нашего времени». Вместе с Н. И. Мордовченко и Б. М. Эйхенбаумом мы вправе рассматривать стихотворение как предисловие к роману. В настоящем предисловии к «Журналу

Печорина» (помещенном между первой и второй частями) Лермонтов тоже говорит о тематическом содержании своего творчества, но написано оно сдержанно и даже уклончиво: «Может быть, некоторые читатели захотят узнать мое мнение о характере Печорина? — Мой ответ — заглавие этой книги. «Да это злая ирония!» — скажут они. — Не знаю». В этих осторожных словах слышится еще неуверенность автора: как будет принят его роман читателями и критикой?

Той же тревогой проникнут монолог Писателя, написанный в то время, когда «Герой нашего времени» был известен только узкому кругу слушателей.

До нас дошли некоторые частные отклики на «Героя нашего времени» после выхода книги. Доктор Майер не узнал в авторе романа своего вольнолюбивого, просвещенного и смелого в суждениях друга. Юрий Самарин, собеседник Лермонтова, считал, что поэт умер, не успев «оправдаться» за свой роман «перед Россией»³². Кюхельбекер, прочитав «Героя» в крепости, пожалел, что Лермонтов «истратил свой талант на изображение такого существа, каков его гадкий Печорин»³³. Плетьев «никогда не ожидал, чтобы человек с талантом, как Лермонтов, был до такой степени утомителен и даже несносен, как он, в своей княжне Мери»³⁴. Все приведенные мнения сходятся на том, что роман Лермонтова ниже возможностей его автора. Очевидно предвидя такое отношение к «Герою...» в писательской среде, Лермонтов в стихах дает развернутую мотивировку своего самоограничения.

Совсем незадолго до «Журналиста, Читателя и Писателя» Лермонтов уже откликнулся в альбомном стихотворении к С. Н. Карамзиной на какие-то ее упреки. В стихотворении «Любил и я в былые годы...» Лермонтов перевел спор в бытовой план, отделившись шуткой. Вместо «тайных бурь страстей», эфемерность которых он уже постиг, он открывает новые радости — «поутру ясную погоду, под вечер тихий разговор». Этот образ успокоенности завершается примером уютного, изящного и веселого времяпрепровождения в узком дружеском кругу: «Люблю я парадоксы ваши, и ха-ха-ха и хи-хи-хи, Смирновой штучку, фарсы Саши и Ишки Мятлева стихи». Здесь Лермонтов отдает должное столь излюбленной Вяземским салонной культуре.

В «Журналисте...» он возвращается к той же теме, но говорит о «несвязном оглушающем языке» страстей

с таким нагнетанием, которое позволяет нам узнать в поэте предшественника Достоевского. «Жадная тоска», «соблазнительная повесть», «сокрытые дела», «незримые и упорные» душевные битвы, «порок», «позор», «горькие строки», «знойные страницы», «необузданный поток» — такими словами характеризует Лермонтов отрицательную, разоблачительную струю своего творчества.

Пусть «Герой нашего времени» не принесет автору той литературной славы, которой он мог бы добиться, — он не станет на тот путь, который ему указывают его советчики из «пушкинского» круга. Вот в каком аспекте можно рассмотреть исповедь поэта в «Журналисте, Читателе и Писателе».

Можно вспомнить в этой связи замечание С. Н. Карамзиной по поводу «Демона», читанного у них Лермонтовым еще в 1838 году: «Ты скажешь, что название избитое, но сюжет новый, он полон свежести и прекрасной поэзии. Поистине блестящая звезда восходит на нашем ныне столь бледном и тусклом литературном небосклоне»³⁵. Письмо адресовано сестре, Е. Н. Мещерской, которая не имела никакого отношения к литературе. Но здесь сказывается инерция среды, привычка к чтению и обсуждению созданий лучших поэтов и прозаиков эпохи, запросто бывавших в доме Карамзиных. Если Софья Николаевна допускала, что «Демон» покажется Мещерской банальным, то еще большей опасности подвергался в этом отношении «Герой нашего времени». Увидеть новое в типе Печорина было чрезвычайно трудно среде, воспитанной на «Евгении Онегине» и на «Адольфе». По слову Пушкина, этот роман Бенжамена Констан принадлежал «к числу двух или трех романов,

В которых отразился век,
И современный человек
Изображен довольно верно
С его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтаньям преданной безмерно,
С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом».

«Бенжамен Констан, — продолжал Пушкин, — первый вывел на сцену сей характер, впоследствии обнародованный гением лорда Байрона»³⁶.

Эту заметку Пушкин напечатал без подписи в «Литературной газете» в 1830 году по поводу выхода в свет перевода на русский язык романа Констан. Переводчи-

ком, как известно, был П. А. Вяземский. «С нетерпением ожидаем появления сей книги, — писал Пушкин. — Любопытно видеть, каким образом опытное и живое перо кн. Вяземского победило трудность метафизического языка, всегда стройного, светского, часто вдохновенного. В сем отношении перевод будет истинным созданием и важным событием в истории нашей литературы».

Прошло десять лет, и Лермонтов выступает с новым вариантом образа скучающего и тоскующего молодого человека XIX столетия. Мог ли Вяземский отнестись к роману Лермонтова иначе, как эпигонскому? Последующие его замечания о русской поэзии после пушкинского десятилетия подсказывают нам ответ. У Вяземского не было слуха на новую форму и содержание творчества Лермонтова. Признавая за ним «великое дарование», Вяземский не смог увидеть в нем ничего, кроме «русского и слабого осколка Байрона». Для него, застывшего на позициях политического консерватизма, остался закрытым живой мир творений Лермонтова. Поэт был в его глазах «мастерским художником», «увлекательно и благозвучно» повторявшим поэтическую речь Пушкина³⁷.

Висковатов передавал со слов Краевского, что Лермонтов относился к Вяземскому с уважением, но холодно и отчужденно. Дело обстояло гораздо сложнее. Вяземский оставался для Лермонтова представителем пушкинской эпохи, соратником гения, перед которым Лермонтов, по свидетельству Белинского, «благоговел» в 1840 году, «больше всего любя Онегина».

Как сильно действовало на Лермонтова обаяние атмосферы пушкинского дружеского круга, видно из эпизода, рассказанного С. Н. Карамзиной в письме к сестре. Лермонтов был радушно принят у Карамзинных, привык к ним и, казалось бы, находил полное признание своего таланта. Однако, когда ему пришлось писать стихи в альбом Софьи Николаевны, где до него писали Пушкин, Вяземский, Баратынский, Дельвиг... он смутился. С. Н. Карамзина рассказывает содержание несохранившегося стихотворения Лермонтова, написанного на последней странице ее альбома: «Он-де не осмеливается писать там, где оставили свои имена столько знаменитых людей, с большинством из которых он не знаком; что среди них он чувствует себя, как неловкий дебютант, который входит в гостиную, где оказывается не в курсе идей и разговоров, но он улыбается шуткам, делая вид, что понимает их, и, наконец, смущенный и сбитый с толку, с гру-

стью забивается в укромный уголок»³⁸. Лермонтов, напечатанный к этому времени в «Отечественных записках» «Думу», «Поэта», «Не верь себе», «Русалку», «Ветку Палестины», «Еврейскую мелодию (из Байрона)» и «Бэлу», видевший уже в печати положительные рецензии, робел не только перед Пушкиным, но и перед его современниками — поэтами и знакомыми. Интересно, что когда во второй книге «Отечественных записок» был напечатан «Поэт», А. О. Смирнова отозвалась об этом номере: «очень плох»³⁹.

Она не забыла упомянуть в этом письме к Вяземскому, что Софья Карамзина равнодушна к Лермонтову, но не нашла доброго слова для его стихотворения. «Что делать? — Речью безыскусной ваш ум занять мне не дано...» — писал Лермонтов в альбом Смирновой. В кругу спутников Пушкина Лермонтову было очень трудно завосвать настоящее признание своего поэтического гения.

Все здесь сказанное нам нужно учитывать, когда мы говорим о поэтическом предисловии к «Герою нашего времени», каким можно считать «Журналиста, Читателя и Писателя».

Историко-литературное значение этой декларации Лермонтова достаточно разъяснено советским литературоведением. Поэт производит отчетливое размежевание между старой и новой литературными школами и обосновывает свой переход от юношеского романтизма к реалистической литературе. «Журналист, Читатель и Писатель» был рассмотрен еще в одной связи. В. И. Кулешов в книге «Отечественные записки и литература 40-х годов XIX в.» поставил стихотворение Лермонтова в один ряд с одновременными статьями Белинского, в которых он критически обозревает современную журналистику и говорит о задачах «Отечественных записок» в воспитании демократического читателя.

Исследователь полагает, что в своем стихотворении Лермонтов тоже предъявляет требования к критике, заключая «предварительное условие» и с публикой. «Журналистика — мощное средство «приготовления» читателя к восприятию современных идей, воспитания в нем гражданской отзывчивости, способности и готовности идти вслед за писателем, вслед за журналом в «заговор идей». Но для этого сама журналистика должна быть другой», — формулирует Кулешов основную мысль стихотворения Лермонтова⁴⁰. При этом исследователь опи-

рается на предисловие ко второму изданию «Героя нашего времени», где Лермонтов жалуется на «молодость и простодушие» публики, «дурно воспитанной», не умеющей понимать ни художественные произведения, ни критические статьи.

Если говорить об общественной позиции Лермонтова и о факте опубликования его стихов в «Отечественных записках», то это сопоставление закономерно, а выводы исследователя бесспорны. Но когда мы переводим лирические стихи на язык публицистики, мы неизбежно при этом теряем существо поэтического творчества — его лирическое волнение. В стихах, где Лермонтов с невиданной еще в литературе обнаженностью описывает самый процесс возникновения стихов⁴¹, невозможно видеть только «предварительное условие» поэта с критикой и читателем о согласованных действиях.

Сопоставляя «Журналиста, Читателя и Писателя» с предисловием к первому, а не ко второму изданию «Героя нашего времени», мы улавливаем общую обоим произведениям тревогу автора за судьбу своего создания. Одним из источников этого законного волнения было непонимание творческого развития Лермонтова в литературном кругу, который условно можно назвать «пушкинским». Вскрыть эти ассоциации нам помог образ Вяземского, изображенный в стихотворении Лермонтова. Исповедь поэта представляется нам страстным оправданием писателя, выступающего с произведением, в котором поначалу даже Белинский нашел «что-то неразгаданное, как бы недоговоренное».

Но именно Белинский первый протянул руку Лермонтову. Как только «Герой нашего времени» был напечатан, критик приехал к автору в Ордонансгауз. Знаменитая беседа Белинского с Лермонтовым началась с «Героя...». В следующей, майской, книге «Отечественных записок» уже появилась предварительная заметка критика о прозе Лермонтова, где он назвал ее «явлением истинного искусства». Белинский писал в этой заметке, что «в основной идее романа г. Лермонтова лежит важный современный вопрос о внутреннем человеке, вопрос, на который откликнется все». Через год «Отечественные записки» могли уже заявить, что «Герой нашего времени», «принятый с таким энтузиазмом публикою, теперь уже не существует в книжных лавках: первое издание все раскуплено». Белинский в двух больших статьях о творчестве Лермонтова писал, что его поэзия «совсем

новое звено в цепи исторического развития нашего общества»⁴².

Стихотворения Лермонтова вышли из печати отдельной книгой, сам автор вернулся с Кавказа совсем другим человеком. Вторая ссылка подарила ему встречи, далеко раздвигающие его кругозор. Поэт воевал, сталкивался лицом к лицу с неприятелем, подвергал свою жизнь опасности, приобрел военное умение, узнал радость боевого товарищества. Он наблюдал представителей высшего командования в их действиях и в частных беседах, полюбил армейского офицера, сблизился с солдатом. Освободившись в своем романе от образа петербургского молодого человека, Лермонтов переходил к новым сюжетам, новым жанрам и новым темам.

Вот тогда-то, спокойный и уверенный, намечал он в предисловии ко второму изданию своего романа конкретные задачи для современной критики, несомненно опираясь уже на статьи Белинского. Замечания Лермонтова о «невоспитанности» публики и о все еще недостаточной связи журналистики с читателем стоят в одном ряду с дошедшими до нас осколками мнений поэта последнего года его короткой жизни: о чуждых иноземных влияниях в воспитании юношества (воспоминания Забеллы), о необразованности офицера царской армии («Кавказец»), о политической пассивности крестьянства (беседа с Ю. Самариным) *. Этот строй идей писателя, сознающего свои силы, нельзя смешивать с идеями «Журналиста, Читателя и Писателя», являющегося итогом преемственных отношений Лермонтова с журналистикой и литературой пушкинского времени и написанного под влиянием тревожных сомнений в успехе романа.

* См. дальше, в главе «Кружок шестнадцати».

19 июля 1840 года Ю. Ф. Самарин писал из Москвы своему старшему другу И. С. Гагарину в Париж:

«Я давно уже хотел писать вам; каждый раз, когда мне случится испытать какое-нибудь впечатление, живо постичь какой-нибудь занимающий меня предмет, у меня к радостному чувству движения вперед присоединяется желание поделиться с вами и знать ваше о нем мнение.

Вскоре после вашего отъезда я видел, как через Москву проследовала вся часть шестнадцати, направляющаяся на юг. Я часто видел Лермонтова за все время его пребывания здесь».

Далее Самарин дает свою известную тонкую и глубокую характеристику Лермонтова, заключая ее знаменательными словами: «В моем положении мне жаль, что я его не видел более долгое время. Я думаю, что между ним и мною могли бы установиться отношения, которые помогли бы мне понять многое»¹.

Юрий Федорович Самарин, впоследствии известный публицист и общественный деятель, один из лидеров славянофилов, в описываемое время готовил магистерскую диссертацию о русских религиозных проповедниках XVII—XVIII веков и напряженно вырабатывал свое мировоззрение. Поэтому он так тянулся к старшим собеседникам, заслужившим его уважение. В те годы у князя Ивана Сергеевича Гагарина уже был опыт общения со знаменитым немецким философом Шеллингом, с которым он встречался во время своего пребывания в Мюнхене на службе в русской дипломатической миссии. Там же Гагарин сблизился с поэтом Ф. И. Тютчевым, служившим в той же миссии. В 1835—1837 годах Гагарин много жил в России. В Москве он был связан с П. Я. Чаадаевым и по его поручению привез Пушкину в Петербург отпечаток «Философического письма», напечатанного в ноябрьской

книге «Телескопа» за 1836 год. Он был также посредником между Пушкиным и Тютчевым, приславшим в Петербург свои стихи, вскоре напечатанные в «Современнике». Гагарин находился в Петербурге и в трагические дни гибели Пушкина. По ряду причин он навлек на себя подозрение в участии в рассылке анонимного пасквиля. Эти подозрения вскоре рассеялись. Это видно из того, что близкие друзья Пушкина охотно встречались с Гагариным и за границей в 1837—1838 годах, и в Петербурге в 1839 году.

Отчасти под воздействием Чаадаева Гагарин уже в молодости склонялся к католицизму. Но только в 1843 году, перейдя в католическую веру, он вступил в орден иезуитов, покинув навсегда Россию. Столь решительный перелом его жизни вызвал большой шум в обществе. Царское правительство лишило его русского гражданства, да и современники его осуждали.

Но вернемся к лермонтовским временам.

По упоминанию молодого Самарина о «шестнадцати» можно заключить, что и Гагарин, и Лермонтов принадлежали к этой группе. По-видимому, это был петербургский кружок, поскольку его участники были в Москве только проездом. Это впечатление подтверждается поздним свидетельством эмигрировавшего из России Ксаверия Браницкого. Речь идет об изданной им в 1879 году в Париже французской книге «Славянские нации». Она написана в форме писем к тому же И. С. Гагарину. Во вступительном письме Браницкий писал:

«В 1839 году в Петербурге существовало общество молодых людей, которое называли по числу его членов «шестнадцатью». Это общество составилось частью из окончивших университет, частью из кавказских офицеров. Каждую ночь, возвращаясь из театра или с бала, они собирались то у одного, то у другого. Там после скромного ужина, куря свои сигары, они рассказывали друг другу о событиях дня, болтали обо всем и все обсуждали с полнейшей непринужденностью и свободой, как будто бы III Отделения собственной его императорского величества канцелярии вовсе и не существовало, — до того они были уверены в скромности всех членов общества.

Мы оба с вами принадлежали к этому свободному веселому кружку — и вы, мой уважаемый отец, бывший тогда секретарем посольства, и я, носивший мундир гусарского поручика императорской гвардии.

Как мало из этих друзей, тогда молодых, полных жизни, осталось на этой земле, где, казалось, долгая и счастливая жизнь ожидала их всех!

Лермонтов, сосланный на Кавказ за удивительные стихи, написанные им по поводу смерти Пушкина, погиб в 1841 году на дуэли, подобно великому поэту, которого он воспел.

Вскоре таким же образом умер А. Долгорукий. Не менее трагический конец — от пуль дагестанских горцев — ожидал Жерве и Фредерикса. Еще более горькую утрату мы понесли в преждевременной смерти Монго-Столыпина и красавца Сергея Долгорукого, которых свела в могилу болезнь. Такая же судьба позднее ожидала и Андрея Шувалова.

Из оставшихся в живых кое-кто оставил некоторый след в современной политике. Но лишь один занимает блестящее положение еще и поныне. Это — Валуев, принадлежащий к министерству, при котором совершилось освобождение крестьян и про которого говорят в последнее время, что ему предстоит получить наследие князя Горчакова*.

Что касается нас обоих, то мы, согласно с нашими убеждениями, пошли другими путями, совершенно отличными от путей наших товарищей»².

Бросается в глаза, что Браницкий называет только умерших членов кружка, а из живых указывает на одного П. А. Валуева. Видимо, он считал, что при высоком положении Валуева его нельзя было скомпрометировать политически.

На осторожность Браницкого указывает и то, что он назвал еще одного участника кружка только после его смерти. Так, в письме к Гагарину, не попавшем в книгу, Браницкий писал 7 января (нового стиля) 1879 года: «Может быть, вы уже знаете: один из бывших «шестнадцати» Борис Голицын умер»³. Это — Борис Дмитриевич Голицын, сын московского генерал-губернатора, унаследовавший от него титул светлейшего князя и умерший в высоких чинах в Париже 22 декабря (нового стиля) 1878 года. Голицын принадлежал к тем из «шестнадцати», которые пришли в кружок со студенческой скамьи. Он учился в московском университете, но перевелся в

* А. М. Горчаков — с 1856 по 1882 гг. русский министр иностранных дел.

петербургский, который и окончил одновременно с Васильчиковым и Сергеем Долгоруким⁴.

Предусмотрительность Браницкого наводит на мысль о конспиративном, а следовательно, политическом характере этого аристократического кружка. В 1935 году Б. М. Эйхенбаум сопоставил скудные сведения Браницкого и Самарина с двумя групповыми портретами работы Григория Гагарина (двоюродного брата Ивана)⁵. На обоих рисунках — названные Браницким персонажи. Гагарин сам надписал имена над каждым. Но один рисунок сделан в Петербурге, приблизительно в январе 1840 года, а другой подписан самим художником: «Кисловодск. 28 августа 1840 год»⁶. В Петербурге изображены Монго-Столыпин, Ксаверий Браницкий, Сергей Долгорукий, Андрей Шувалов, его младший брат Петр Шувалов и Александр Васильчиков, будущий секундант на дуэли Лермонтова с Мартыновым. Художник нарисовал их в свободных, непринужденных позах. Браницкий, стоя, самозабвенно говорит, подняв руку ораторским жестом. Сергей Долгорукий, тоже стоя или расхаживая по комнате, возражает ему, остальные внимательно слушают, удобно расположившись в креслах и покуривая свои трубки. На переднем плане еле набросана карандашом сидящая в кресле фигура. В ее контурах некоторые исследователи склонны признать Лермонтова. Очевидно, Григорий Гагарин нарисовал одно из собраний кружка. Из всех изображенных лиц только двое — Васильчиков и Петр Шувалов — не указаны Браницким в числе «шестнадцати». Но они были еще живы во время выхода книги «Славянские нации». Между тем оба они тоже были однокурсниками Сергея Долгорукого. Напрашивается мысль, что они могут быть причислены к членам кружка, влившимся в него со студенческой скамьи. Заметим, что А. Васильчиков, по словам его биографа, «уже в юношеском возрасте... начал обнаруживать поведение», обращавшее на себя внимание, это поведение не нравилось, и на нем были построены вскоре замечания о каком-то непохвальном «свободомыслеии». Как будет видно из дальнейшего, Васильчиков проявлял эти черты еще в университете*.

В Кисловодске изображены в пустой комнате за карточным столом Монго-Столыпин, Сергей Долгорукий, Александр Долгорукий, Жерве, Сергей Трубецкой (тоже

* См. главу «Тайный враг», с. 243.

будущий секундант на дуэли Лермонтова), Александр Васильчиков, его сослуживец по Закавказской комиссии сенатора Гана Ю. К. Арсеньев и боевой товарищ Лермонтова Карл Ламберт. На дверях комнаты надпись: «Здесь я проигрался. Славянин». Первые четверо, без сомнения, принадлежат к «кружку шестнадцати». Да и сам художник Григорий Гагарин, умерший только в 1893 году, входил, по-видимому, в кружок. Это убедительно показал искусствовед А. Савинов, рассмотревший рисунки с точки зрения взаимосвязи художника и его натуры⁷. Савинов писал, что петербургский групповой портрет «не просто воспроизводит черты того или иного члена кружка в небольшом и нейтральном портрете, но показывает этих людей в их общении, в их отношении друг к другу». В кисловодской группе А. Савинов отмечает «тонкую передачу дружественной атмосферы». Вспомним, что на Кавказе Гр. Гагарин был тесно связан с Лермонтовым, нередко работая совместно с ним над изображениями разных боевых эпизодов или кавказских пейзажей.

Если к этому добавить, что иногда Гр. Гагарин делал акварели, основываясь на зарисовках Александра Долгорукого и Сергея Трубецкого, то предположение А. Савинова о принадлежности Гр. Гагарина к «шестнадцати» представится весьма правдоподобным.

Но почему же они все оказались вместе на Кавказе?

Б. М. Эйхенбаум выдвинул три предположения. Либо члены кружка добровольно перевелись на Кавказ вслед за Лермонтовым, либо конспиративный кружок был раскрыт и члены его высланы на Кавказ, либо им «посоветовали» уехать.

Против первого варианта говорит то, что, по свидетельству П. А. Валуева, в 1840 году кружок уже распался. На это он указал в своем позднем дневнике (опубликован уже после кончины Б. М. Эйхенбаума). Узнав о смерти Андрея Шувалова в 1876 году, Валуев посвятил ему в своем дневнике несколько строк. Он упомянул о прикомандировании А. Шувалова к лейб-гвардии гусарскому полку и продолжал: «В 1838—1840 — связь с Браницким, Столыпиным, Долгоруковым, Паскевичем, Лермонтовым и пр. (*les seize* *, к которым и я принадлежал)⁸. Помимо того, что здесь назван еще один из «шестнадцати» — Паскевич (очевидно, очень еще юный сын фельдмаршала И. Ф. Паскевича), эта запись Ва-

* шестнадцать (фр.).

луева важна тем, что является третьим документом, где прямо встречается название «кружка шестнадцати». Больше в литературе таких упоминаний не обнаружено. Что касается даты, указанной Валуевым, то ее можно понять как время существования всего кружка: зима 1838—1839 и весна 1840 года.

Для того чтобы проверить гипотезу Эйхенбаума, необходимо было уточнить сведения о названных участниках кружка, так как Браницкий не указал даже их инициалов. После того как они были найдены, стало возможным изучать их биографии по официальным документам. Выяснилось, что к числу бывших кавказских офицеров принадлежали Николай Андреевич Жерве, Алексей Аркадьевич Столыпин (Монго), граф Андрей Павлович Шувалов, барон Дмитрий Петрович Фредерикс и, разумеется, Лермонтов, вернувшийся из первой кавказской ссылки. Жерве и Шувалов были высланы на Кавказ еще в 1835 году, причем Шувалова в одной из военных экспедиций ранили в грудь.

Сойдясь в 1838 году в Петербурге, большинство из них, действительно, в начале 1840 года было переведено в разные полки Отдельного кавказского корпуса. Тогда же А. Васильчикова и Сергея Долгорукого прикомандировали к Закавказской комиссии сенатора П. В. Гана, и только А. Шувалов и Кс. Браницкий получили назначения в Варшаву адъютантами фельдмаршала Паскевича. Ни в формулярных списках каждого из «шестнадцати», ни в приказах о награждениях и повышениях, ни в прочих официальных документах не было обнаружено никаких признаков репрессий или опалы членов кружка. Напротив, выяснилось, что они уехали добровольно. Казалось бы, подтвердился первый вариант гипотезы Б. М. Эйхенбаума. Связанное с этим убеждение о главенствующей роли Лермонтова в «кружке шестнадцати» подкрепилось тем, что, как выяснилось, члены его вновь съехались в Петербурге в 1841 году, когда Лермонтов был там в отпуске*.

Однако обращение к частной переписке, хранящейся в архиве бывшей библиотеки Зимнего дворца и в фонде «Остафьевского архива» князей Вяземских, изменило это представление. Оказывается, добровольный отъезд «шест-

* Подробные сведения приведены в моей работе «Лермонтов и «кружок шестнадцати» (см.: Литературный критик, 1940, № 9-10, с. 222—249) и в сб. «Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова» (М., Гослитиздат, 1941, с. 77—124).

надцати» из Петербурга был только формой, право на которую они завоевали при помощи своих влиятельных родителей.

Обратимся к этим материалам.

Лейб-гусар Андрей Шувалов, который вместе с Монго-Столыпным привлек к себе внимание императрицы в маскараде 3 февраля 1839 года *, был сыном княгини Ди-Бутера (в первом браке была за графом П. А. Шуваловым). Княгиня Ди-Бутера присутствовала на венчании Геккерна с Екатериной Гончаровой, была связана с С. А. Бобринской и состояла с родстве с Строгановыми. Не удивительно, что, озабоченная судьбой старшего сына, она обратилась за содействием к близкой этому кругу старой фрейлине — тетке Натальи Николаевны Пушкиной. 30 декабря 1839 года императрица отмечает в дневнике: «Мадемуазель Загряжская о молодом Шувалове»⁹.

Последствия этого разговора не заставили себя ждать. 9 января 1840 года в Инспекторском департаменте военного министерства была начата переписка, закончившаяся 28 января высочайшим приказом о переводе Андрея Шувалова в Варшаву, адъютантом наместника польского — фельдмаршала князя Паскевича-Эриванского¹⁰. Но не о повышении по службе своего подопечного просила императрицу Загряжская, — Шувалову грозил перевод в армию. Обо всех закулисных действиях, сопутствовавших назначению его адъютантом Паскевича, рассказывается в письме императрицы к С. А. Бобринской, тоже беспокоившейся за судьбу молодого человека. «Потом я говорила с императором об Андрее Шувалове, — пишет императрица. — После многих попыток мне удалось его смягчить, и когда прошение об отставке будет доложено императору, он не согласится, но определит его к Паскевичу, чтобы дать ему возможность продолжать службу, не подвергая опасности свою больную грудь. Это самое большее из того, что было возможно. Но не говорите ничего матери, я этого решительно не хочу. Я говорю это только вам, чтобы, вселяя надежду, доставить вам маленькую радость»¹¹.

Встревоженный тон императрицы, трудность, с какой ей удалось добиться у царя милости к сыну любимицы двора, осторожность, с какой она вела это дело, показывают, что положение было очень напряженным.

Какими-то трудностями сопровождался добровольный

* См. выше, в главе «Лермонтов и двор», с. 38.

перевод в Кавказский корпус Дмитрия Петровича Фредерикса, товарища детских игр наследника, сына ближайшей подруги императрицы, известной баронессы Цецилии Фредерикс. Морской офицер, недавно переведенный в гвардию и назначенный адъютантом к начальнику Морского штаба А. С. Меншикову, внезапно обнаружил «особую склонность к кавалерийской службе». Он просит своего начальника ходатайствовать о «всемилоостивейшем дозволении ему перейти в кавалерию с состоянием при Кавказском корпусе». Так пишет Меншиков военному министру А. И. Чернышеву 6 марта 1840 года¹². Со своей стороны, мать Фредерикса пишет о том же Чернышеву:

«Дорогой граф. Обращаюсь к вам, так как вполне уверена в Вашей дружбе и доброжелательном отношении ко мне. Пожалуйста, возьмите под свое покровительство моего старшего сына, он желает быть при Кавказском корпусе по кавалерии. Император был предупрежден князем Меншиковым, у которого он адъютант. Дело скоро дойдет до Вас, и я поручаю судьбу моего сына Вам, так как от Вас зависит исполнение его желаний; из дружбы ко мне, сделайте для моего сына то, что он просит, поддержите его, и этим Вы упрочите его будущее. Я сама бы приехала к Вам, но я совсем больна и нахожусь в тревоге, так как ребенок моей дочери умирает. Передайте привет графине, а Вас, дорогой граф, прошу быть покровителем моего сына»¹³.

10 марта высочайший приказ о прикомандировании Фредерикса к Гребенскому казачьему полку был уже подписан. Почему же мать так горячо добивается у Чернышева покровительства ее сыну? Это показывает, что царь был недоволен Дм. Фредериксом и не выказал своего благоволения его родителям в такой трудный для них момент.

Удивляет также лаконичный тон письма императрицы к наследнику, уехавшему за границу 5 марта. Среди новостей, происшедших со времени его отъезда, она без всяких пояснений извещает о переводе Фредерикса на Кавказ, причем непосвященному читателю трудно разобраться, в чем существо этой новости: в том ли, что он уехал, или в том, что перевод на Кавказ был добровольным: «Митя Фредерикс уехал на Кавказ с белым султаном*, где по его доброй воле».

* Белый султан — украшение на головном уборе офицеров кавалерийских полков.

Письмо написано 26 марта 1840 года ¹⁴.

Таким же телеграфным стилем извещает М. П. Валужева П. А. Вяземского о переводе на Кавказ других «шестнадцати». 3 мая 1840 года она пишет из Петербурга в Москву:

«Лермонтов уехал, читайте его *Княжну Мери*. Кравец Столыпин вступает в Нижегородский драгунский полк, но по своей доброй воле. Грегуар Гагарин тоже едет на Кавказ, прикомандированный к Гану... Васильчиков и Серж Долгорукий тоже» ¹⁵.

М. П. Валужева пишет, что Столыпин-Монго вступает в Нижегородский полк добровольно. Но это только форма. Мы знаем, что Столыпину было приказано вновь вступить в военную службу, «в его лета стыдно оставаться праздным», — отозвался царь о секунданте Лермонтова в сентенции по делу о дуэли с Барантом. Остальное было сказано на словах Бенкендорфу: 6 мая 1840 года шеф жандармов направил военному министру А. И. Чернышеву официальную бумагу о том, что, согласно высочайшей сентенции, Столыпин «добровольно» вступает в Нижегородский драгунский полк, стоящий на Кавказе ¹⁶.

Сообщение Валусовой не носит характера нового известия. Интонация письма показывает, что она рассказывает отцу о развязке уже известных ему событий. Какое было бы дело Вяземскому до отъезда на Кавказ молодых Васильчикова и Сергея Долгорукого, если бы они не были в одном кружке с его зятем — П. А. Валухевым?

Не гладко прошел и перевод на Кавказ А. Васильчикова. Его отец, председатель Государственного совета, обратился с официальным письмом к Гану, в котором, ссылаясь на «соизволение его императорского величества», просил о прикомандировании сына к возглавляемой им комиссии по административному переустройству Закавказья. Так же поступил в апреле обер-штабмейстер князь В. В. Долгорукий относительно своего сына Сергея. Но М. А. Корф приоткрыл завесу, описывая в своем дневнике некоторые обстоятельства дела Васильчикова ¹⁷.

8 апреля 1840 года Корф пишет:

«Нельзя не повторить, что Ган мастер устраивать свои дела. Он едет, правда, за Кавказ: это решено; но едет уже не сенатором, а членом Государственного совета; и тот, который сперва наиболее тому противился... — словом, князь Васильчиков, наиболее теперь об этом хлопочет. Где не помогли ходатайства, там пособила ловкость Гана, и старик, с обыкновенным своим добро- и

слабодушием, попал в тенета. Барон Ган предложил ему взять с собою за Кавказ его сына, молодого человека, теперь только выпущенного из университета, а рука руку моет, и выходит, что теперь уже Васильчиков должен искать в Гане»¹⁸.

В 1841 году Корф, узнав, что молодой Васильчиков был секундантом на дуэли Лермонтова, опять вспоминает прошлогодние обстоятельства: «Это тот самый молодой человек, которого барон Ган, в одолжение отцу, взял прошлого года в свою закавказскую миссию». При этом Корф называет Александра Васильчикова «беспокойным» молодым человеком¹⁹.

Если председатель Государственного совета, фаворит Николая I должен был заискивать перед сенатором, чтобы уладить судьбу сына, значит, у Александра Васильчикова были серьезные затруднения.

Эти примеры заставляют нас отнестись с сомнением к делам остальных из «шестнадцати», о которых частная переписка не найдена. Основываясь только на официальных документах, выяснить подлинные причины выезда «шестнадцати» из Петербурга нельзя. В этом смысле удалось обнаружить только краткие сведения. Так, в январе 1840 года в списке добровольцев, ежегодно отчисляемых от каждого гвардейского полка в Отдельный кавказский корпус, появилась фамилия лейб-гусара А. Н. Долгорукого²⁰. 26 марта вновь вступил в военную службу отставной капитан Н. А. Жерве. Он был определен в Отдельный кавказский корпус по представлению командира этого корпуса Е. А. Головина²¹. А по поводу назначения Ксаверия Браницкого адъютантом Паскевича сам фельдмаршал обратился в военное министерство 21 марта²². (Цитируется по описи, а самая переписка не сохранилась.) Но вот что предшествовало ходатайству Паскевича о Браницком.

Среди записок, которыми часто обменивались Николай I с Бенкендорфом, внимание привлекает одна, не датированная, но по содержанию упоминаемых в ней секретных бумаг относящаяся к концу декабря 1839 года или январю 1840-го. Это те документы, которые царь получал прямо из рук шефа жандармов, минуя официальные каналы. К их числу принадлежало перлюстрированное письмо «графа Браницкого к Мосцинскому», копию с которого Бенкендорф препроводил Николаю в переводе с польского на французский язык²³.

Обнаружить посланное царю письмо пока не удалось. Но, и не зная подробностей, можно быть уверенными, что Браницкий уже был под пристальным надзором Бенкендорфа.

Неясны также причины неожиданного назначения И. С. Гагарина на внештатную должность секретаря посольства в Париже. 11 марта об этом еще ничего не было известно П. А. Вяземскому, который писал А. И. Тургеневу: «Сестра Гагарина идет замуж за Бутурлина. О нем также поговаривают, будто он женится на Ольге Трубецкой, но невероятно»²⁴. А 16 марта того же 1840 года Вяземский уже пишет родным: «Иван Гагарин назначен вновь к парижской миссии, чему, кажется, очень рад, стало быть, не женится на Ольге Трубецкой»²⁵. Эти письма не указывают на добровольное возвращение Гагарина в Париж.

Процесс постепенного разъезда членов кружка протекал с конца декабря 1839 года по апрель 1840-го. По времени он точно совпадает с обстоятельствами жизни Лермонтова. Перед Новым годом началась интрига против него в связи с интересом к нему французского посланника. Затем стихотворение «1-е января» производит неприятное впечатление на Бенкендорфа. В феврале ссора Лермонтова с сыном французского посланника Эрнестом де Барантом, дуэль с ним. В марте — апреле суд над Лермонтовым и Столыпиным за эту дуэль и высочайший приказ о переводе Лермонтова на Кавказ, подписанный 13 апреля.

Одновременность всех этих событий приводит к убеждению, что они связаны с раскрытием существования «кружка шестнадцати». Таким образом, обращение к более глубокому слою архивных материалов опровергло мой первоначальный вывод о добровольном разъезде «шестнадцати» из Петербурга. Очевидно, надо принять третий вариант гипотезы Б. М. Эйхенбаума: им «посоветовали» уехать.

Однако концепция ученого не ограничивалась вопросом об отношении властей к этому кружку. Б. М. Эйхенбаум наметил схему его предполагаемого идейного направления. В общих чертах она сводилась к следующему. Кружок вырос на почве оппозиционных настроений старинной родовой знати и подвергся воздействию историко-софских идей П. Я. Чаадаева. Поддержку этой гипотезе Эйхенбаум находил в творчестве Лермонтова: «прибавление» к «Смерти поэта», написанное в развитие идей

«Мсей родословной» Пушкина, было как бы провозглашено от лица группы единомышленников, а переключка идей «Думы» Лермонтова с «Философическим письмом» Чаадаева подкрепляла мысль о влиянии московского мыслителя на петербургский кружок нового поколения. Живым посредником между ними был назван И. С. Гагарин, как давний знакомый Чаадаева.

Вопрос о влиянии на судьбу и творчество Лермонтова «кружка шестнадцати» ставил также в конце прошлого века публицист Н. Викторов (В. Л. Бурцев) ²⁶. Но он придавал решающее значение фигуре Ксаверия Браницкого, а не Гагарина. Исходя из последующей политической деятельности Браницкого, он устанавливал оппозиционный характер всего кружка, окрашивающий, по его предположению, всю гражданскую лирику Лермонтова. Никакими дополнительными материалами Викторов не располагал. «Если когда-нибудь, — писал он, — будут опубликованы тогдашние письма, дневники, записки лиц, знавших близко таких членов кружка шестнадцати, как Столыпин, Браницкий, мы узнаем много нового о тех влияниях, под которыми развивался и писал Лермонтов. Принадлежность к «кружку шестнадцати» не была для Лермонтова малозначающим эпизодом в его жизни, а определяла его отношение ко многим общественным и политическим вопросам». Так ли это?

Теперь мы можем выполнить пожелание Викторова, собрав письма и дневники отдельных членов кружка, узнав их настроения и убеждения. Сопоставляя эти новые материалы с творчеством Лермонтова, мы найдем ответ и на поставленные вопросы о степени влияния на него «кружка шестнадцати».

2

30 сентября 1839 года И. С. Гагарин писал из Москвы П. А. Вяземскому в Петербург:

«После отъезда императора и великих князей Москва вновь обрела свое спокойное и безмятежное лицо. Я сейчас нахожусь в деревне, в большой комнате, где меня окружают *Сборник*, *Патерик* и другие почтенные творения и откуда я вдосталь наслаждаюсь осенним пейзажем. Вокруг меня три точки, которые притягивают меня к себе попеременно: Узкое, где обитает госпожа С. Апраксина,

Валуево, где живет графиня Эмилия *, и Москва, где никто не живет, хотя там можно встретить колоссальное количество ворон и сорок, несколько прехорошеньких молодых особ и небольшое число мужчин блестящего ума. Они отличаются громадным достоинством уметь сохранять пыл и живость в своих идеях, не черпая для них пищи нигде кроме как в самих себе. Тут собираются скоро организовать балы и литературные вечера, но до сих пор, по остроумному замечанию одного московского философа, берет верх центробежная сила. Кстати о литературе: Соллогуб едет сегодня или завтра в Казань вместе с Григорием: союз романиста и художника для использования *couleur locale* **. Я ими восхищаюсь, но сам не имею мужества встретиться с дурными дорогами, холодом и клопами» ²⁷.

«Московский философ» — это П. Я. Чаадаев, «мужчины блестящего ума», создающие умозрительные теории, — зарождающиеся славянофильские кружки во главе с Иваном Васильевичем Киреевским и А. С. Хомяковым.

Гагарин пишет далее Вяземскому, что собирается обосноваться в Петербурге с ноября — декабря. И верно, 12 ноября А. И. Тургенев записывает в своем дневнике: «У нас *** кн. Ив. Гагарин, о Москве, и о Чаадаеве: о православии Киреевского» ²⁸.

Григорий Гагарин и Соллогуб вернулись в Петербург уже зимой. 26 января 1840 года А. Тургенев встретил художника у Валуевых, а 13 февраля П. А. Вяземский писал в Баден: «Соллогуб ездил по России с Григорием Гагариным, и они готовятся издать свои *impressions de voyage* **** под именем *Тарантас*. Говорят, что иллюстрации Гагарина, удивительная прелесть. Я их еще не видал» ²⁹.

В своих поздних воспоминаниях Соллогуб, совершенно утративший к этому времени былую литературную славу, стремился убедить читателей, что он никогда не был профессиональным писателем. В пример он приводил «Большой свет», написанный «по случаю», а насчет «Тарантаса» уверенно сообщал, что эта повесть выросла из подписей к рисункам Г. Гагарина. Теперь мы видим, что это неверно. Впервые из писем И. Гагарина и П. А. Вяземского мы узнаем, что Соллогуб ездил в Казань вместе

* Эмилия Карловна Мусина-Пушкина.

** местный колорит (*фр.*).

*** А. И. Тургенев жил в это время у Вяземских (см. ниже).

**** дорожные впечатления (*фр.*).

с Гагариным с ясно выраженной целью совместно создать художественное произведение.

Первые семь глав «Тарантаса» были напечатаны в октябрьской книге «Отечественных записок» 1840 года без рисунков Гагарина. Однако в редакционном примечании было указано, что в скором времени полная редакция повести (20 глав) выйдет «особым изданием с множеством полнотиражей, рисованных нарочно для него князем Гагариным». Это иллюстрированное издание вышло только в 1845 году, но имя художника означено не было. Впоследствии это породило так называемую «проблему «Тарантаса»». Была выдвинута версия, что большинство рисунков принадлежит карандашу А. Агина. В настоящее время искусствоведом А. Савиновым доказано, что иллюстрации «Тарантаса» приписывались иллюстратору «Мертвых душ» совершенно необоснованно, и утверждено авторство Григория Гагарина³⁰. Доводы Савинова подкрепляются неоспоримыми документальными свидетельствами, приведенными выше. Рецензируя издание «Тарантаса» 1845 года, В. Г. Белинский назвал анонимного иллюстратора «великим художником, знающим Россию». Гораздо сложнее было отношение критика к писателю В. Соллогубу.

Начиная с 1840 года, когда в «Отечественных записках» появились первые семь глав «Тарантаса», Белинский хвалил это произведение, причисляя его к прогрессивным явлениям современной литературы. Положительно отзывался он и о полном издании повести. Но это была уже другая эпоха, когда идеологическая борьба между двумя течениями русской общественной мысли — «западничеством» и «славянофильством» — достигла самого высокого напряжения. «Тарантас» послужил новым поводом для определения позиций враждующих лагерей. В. Г. Белинский написал свой знаменитый памфлет на вождя славянофилов И. В. Киреевского, воспользовавшись тем, что его именем и отчеством Соллогуб назвал главного героя. «Иван Васильевич» решил изучать Россию с высоты своих умозрительных теорий о величии и самобытности русского народа и о вреде, нанесенном России европейской цивилизацией.

Бурная полемика, разгоревшаяся вокруг «Тарантаса» в 40-х годах, заслонила тот факт, что повесть эта, так же как и рисунки Гагарина, была целиком готова еще в 1840 году.

В «Тарантасе» есть признаки, по которым можно судить, что герой повести списан не прямо с И. В. Киреевского и что образ мыслей его заимствован Соллогубом не полностью у славянофилов 40-х годов, а взят из какого-то другого источника. Иван Васильевич предстает перед читателем как тип европеизированного русского патриота. Эта специфическая смесь не была характерна для Киреевского, Хомякова и Самарина, давно не выезжавших в Западную Европу и не состоящих на службе. Автор имеет в виду «государственных юношей». «Прежде, — пишет он, — когда молодой человек возвращался из Парижа, он необходимо должен был привозить с собою наружность парикмахера, несколько ярких жилетов, необыкновенное хвостовство и разные несносные ужимки. Благодаря бога все это вывелось. Но теперь другая крайность: теперь молодежь наша прикидывается глубокомысленною, и как бы вы думали? — за границей делается она русскою, даже чересчур русскою, думает только о России, о величии России, о недостатках России и возвращается на родину с каким-то новым фанатизмом, который иногда преувеличен и смешон, но все-таки похвальнее прежнего ничтожества. Из-за границы привозят наши государственные юноши только горячий восторг к парижской и итальянской опере. Все прочее дрянь».

В полном издании все это описание несколько смягчено, выражение «новый фанатизм» заменено выражением «странный восторг», а прямому указанию на «государственных юношей» придан обобщенный характер: «...наподобие прочих наших государственных юношей привез он из-за границы горячий восторг к парижской опере и нежные воспоминания о парижских загородных балах». Встречаются в повести и другие текстуальные изменения, приближающие ее к тематике идеологических споров 40-х годов. Журнальный же вариант отражает злободневную для Лермонтова атмосферу. Он прямо адресован реальным «государственным юношам». Кто же они?

Прежде всего — оба брата Гагарины, которым принадлежал замысел «Тарантаса» наравне с Соллогубом. Иван Гагарин только по барственной лени не поехал вместе с художником и писателем по России для изучения местных обычаев. Но зато он окружил себя древнерусскими книгами (Сборник и Патерик), погружаясь в истоки русской национальной культуры. «Я видел парижского Гагарина. Это весьма замечательный человек, — писал

младший брат И. В. Киреевского, студент А. Елагин. — Гагарин дипломат, франт и между тем ходит каждый день на Никольскую покупать старые книги. Это замечательно. По-русски говорит он дурно, по-французски так хорошо и скоро, что не поймешь. Сболтнет фразу, так что и не слушаешь, а между тем на Никольскую ходит»³¹.

Григорий Григорьевич Гагарин тоже был на дипломатической службе — так же, как и его отец. Поэтому он воспитывался за границей, много лет жил в Италии, в конце 30-х годов служил в дипломатической миссии в Турции. Из Константинополя он вывез интерес к византийской архитектуре и много зарисовок.

В 1838—1839 годах братья Гагарины дышат атмосферой парижских литературных и политических салонов.

«Я часто выдаюсь здесь с князем Иваном Гагариным, — писал из Парижа А. И. Тургенев П. А. Вяземскому 9 апреля 1838 года. — Он попал в первоклассные фешьонэбль и имеет на то полное право: богат, умен, любезен и любопытен. Здесь он опять проветрился и освежился. И в Лондон не тянет его; но мой совет — здесь не заживаться, а, узнав Париж от кедра до иссопа, возвратиться на вечно зеленеющий остров и там выдержать душу и ум в живительной атмосфере, напитаться ею и направить путь в Москву»³².

Иван Гагарин прислушивался к советам Тургенева. «Я еще не знаю, что буду делать, — писал он из Парижа Ю. Ф. Самарину 7 апреля 1838 года. — Может быть, скоро буду в Москве»³³. Побывав в Англии, он вернулся осенью во Францию. «Князь Гагарин уже в Париже. К нему пиши», — сообщает оттуда А. Тургенев 3 октября 1838 года Вяземскому. Через две недели Тургенев опять упоминает в письме из Парижа «Гришу Гагарина и Жана»³⁴.

Григорий и Иван Гагарины были связаны не только родственными, но и дружескими узами.

Приехав в Петербург в 1839 году, оба Гагарина постоянно бывали в доме Вяземского на Б. Морской. На верхнем этаже жили Валуевы, в квартире самого Вяземского, как уже говорилось, остановился А. И. Тургенев, приехавший из Парижа 11 августа 1839 года. Все они постоянно встречались с Карамзиными, у которых так часто бывал Лермонтов.

В своих письмах Вяземский нередко упоминает о присутствии на его вечерах Ивана Гагарина. Тургенев отме-

чает в своем дневнике встречи с Григорием Гагариным в домах, где идут беседы об искусстве, например о древней и современной русской архитектуре. Лермонтов редко бывает на вечерах у Вяземского, но сближается с А. Тургеневым, посещает его, выезжает вместе с ним к общим знакомым³⁵. У Валуевых Лермонтов бывает часто, обычно вместе с Карамзинными. Однако, при широком круге знакомств, Вяземский, перечисляя в письме к родным своих гостей, все же выделяет 30 ноября «валуевскую молодежь». При этом он называет три имени: «Шувалов, Жан Гагарин, Соллогуб». В предыдущем письме, 25 ноября, он писал: «Иван Гагарин, Лев Соллогуб * и Шувалов неразлучны. Софья Карамзина говорит, что если бы их объединить, они составили бы вместе одного неотразимого молодого человека: Гагарин умеет говорить, Шувалов опускать глаза, Соллогуб вздыхать». В этих письмах, несомненно, отражена сплоченность членов «кружка шестнадцати».

Обстановку на половине Валуевых характеризует письмо Вяземского от 9 января 1840 года.

«Вверху после отъезда Родольфа утихло, — пишет он, — а то при нем между братьями всегда были ученые, богословские, нравственные, светские прения. О каждом слове начинал он рассуждение и готов был спорить целый день. Лягут спать, на другое утро, как только встанет, начнет он с той точки, на которой накануне остановились»³⁶.

Фраза Вяземского о диспутах «вверху» иллюстрируется записью в дневнике П. А. Валуева: «Спор о национальности заставляет меня изложить на бумаге свое мнение по этому вопросу, хотя бы для того, чтобы отдать самому себе ясный отчет в том, как я на это смотрю. — Начато 6 декабря 1839 года». Эпиграфом к этой записи Валуев ставит перефразированную известную латинскую поговорку: «*Amicus Gagarinus, magis amica veritas*» — «Гагарин друг, но больший друг истина»³⁷.

Спор о национальности — это тематика «Тарантаса». И. С. Гагарин не только информировал петербургских знакомых об идеях И. В. Киреевского и его антагониста П. Я. Чаадаева, но развивал свои самостоятельные взгляды. Так, Валуев решительно возражает против отождествления политического понятия государства с внутренней национальной культурой. «Мы в нашем споре совсем

* Старший брат писателя.

не так поняли слово национальность», — пишет он. Валуев убеждает своего собеседника принять более широкое и прогрессивное определение: «Применяя это слово к внешним политическим формам, ограничивая национальность рубежами, установленными правительством, сводя ее, так сказать, только к костюму, маске, под которой народ появляется в политическом мире, забывают, мне кажется, основные элементы национальности, занимаются тем, что восстанавливают на зыбучем песке дипломатические переговоры, то есть здание, фундамент которого должен покоиться на внутренней жизни, нравах и истории нации. Я думаю, что мы употребляли слово национальность в том смысле, которым обозначают национальный дух, национальные обычаи, национальные песни».

Свои мысли о национальности Валуев хочет «представить одобрению» Гагарина. Между тем, судя по письмам И. С. Гагарина к Ю. Ф. Самарину 1838—1842 годов, у него были другие идеи. Он придавал особый, мессианский смысл завоевательным тенденциям европейских государств. Их внешнюю политику он рассматривает с высших философских позиций.

России Гагарин отводит высокую роль наследницы умирающей европейской культуры. «И если старая Европа должна погибнуть, — пишет он, — если бы у нас Мысль должна была расцвести самым пышным цветом, — это было бы лишним доводом, чтобы не отделяться от этого источника света и кропотливо собирать все ценности цивилизации, стать ее достойными наследниками»³⁸.

О влиянии личности Ивана Гагарина на атмосферу споров в «кружке шестнадцати» можно судить по тому огромному значению, которое он придавал всякому обмену мнениями. Он исповедовал подлинный культ творческой дружбы, вкладывая и в эту сторону интеллектуальной жизни свойственный ему пафос. «Ваше письмо доставило мне большую радость, мой друг, — пишет он Ю. Ф. Самарину, — и я припоминаю, что, читая его, я ощущал вокруг как бы аромат одной из великих дружб XV и XVI веков, когда дружеские признания разрешали великие проблемы науки, порождали произведения искусства, откровения человеческого разума... как знать? открытие Америки или реформу Лютера? Такие дружбы долговечны и плодотворны: они основаны не на сходстве привычек, не на случайностях человеческой судьбы или на общности второстепенных интересов. Они связывают

умы и воли более могущественными узами. Такова дружба, связывающая и нас, и хотя мы с вами не Лютер, не Эразм, не Христофор Колумб, великие имена, перед которыми почтительно склоняется потомство, вопросы, обсуждаемые нами, велики. Светочи человечества, которые принесли на землю долго и пламенно ожидавшееся решение вечных проблем, имели на этом поприще предшественников, вопрошавших будущее и подготовивших их творения, и я смею надеяться, что их труды не были бесполезны перед лицом Истины». Тут знаменательно уподобление двух русских друзей, ищущих «Истину», деятелям европейского Возрождения.

Вопросы о национальном возрождении России обсуждались И. С. Гагариным со своими друзьями и в социально-экономическом плане. В. А. Бильбасов, знакомившийся с дневниками И. С. Гагарина 30-х годов, дает такую характеристику тогдашних взглядов будущего иезуита: «Он не видел совершенства в западноевропейском строе жизни, сознавая уродливое развитие русского строя, и готов был посвятить все свои силы на служение родине, горячо им любимой. Как Чаадаев и Самарин, он признавал необходимость прежде всего освобождения крестьян, причем дальнейшие задачи должны быть указаны требованиями самого освобожденного народа, а не западными теориями и не русскими вождениями рабовладельцев»³⁹. Тут есть указание или на конституцию, или на Земский собор — пункты, как известно, привлекавшие и декабристов в их конструктивных планах. А в выдержке из дневника Гагарина, приведенной В. А. Бильбасовым, есть намек на способность «верных сынов» родины к большим жертвам для ее внутреннего переустройства. «Тебе, отчизна, посвящаю я мою мысль, мою жизнь, — пишет он. — Россия, младшая сестра семьи европейских народов, твое будущее прекрасно, велико, оно способно заставить биться благородные сердца. Ты сильна и могуча извне, враги боятся тебя, друзья надеются на тебя; но среди твоих сестер ты еще молода и неопытна. Пора перестать быть малолетнею в семье, пора сравняться с сестрами, пора быть просвещенною, свободою, счастливою. Положение спеленатого ребенка не к лицу уже тебе: твой зрелый ум требует уже серьезного дела. Ты прожила уже много веков, но у тебя впереди более длинный путь, и твои верные сыны должны расчистить тебе дорогу, устраняя препятствия, которые могли бы замедлить твой путь».

В. А. Бильбасов относит эту запись к 1833—1834 годам. Но круг вопросов, обсуждавшихся Гагариным в Петербурге в 1839 году, не изменился. «Я прошу Вас, — обращается к нему в своей книге «Славянские национальности» Ксаверий Браницкий, — читая мою книгу, отнестись к одному из «шестнадцати» с той снисходительностью, к какой вы привыкли 40 лет тому назад, когда мы оба, юные и гордые, разрешали вопросы, которыми мы были озабочены тогда и озабочены всегда. Только теперь пронесшиеся над нами годы сделали более зрелыми наши суждения, и мы не принимаем уже за действительность мечты необузданного воображения».

Постоянным интересом обоих Гагаринных было творчество Лермонтова. Художник Гагарин доказал это своим сотрудничеством с поэтом на Кавказе. Иван Гагарин следил за выступлениями Лермонтова и тогда, когда он уехал весной 1840 года из России. 30 декабря (старого стиля) 1840 года он пишет Ю. Ф. Самарину из Парижа: «На днях я получил поэмы Лермонтова: они прекрасны. Здесь у нас нет ничего значительного, исключая выборов в Академию. Вы знаете, что после жестоких боев и стычек прошел В. Гюго...» Речь идет о новой книге «Стихотворений» Лермонтова, которую Гагарин, как видим, сопоставляет с самыми выдающимися явлениями европейской литературной жизни.

• 4 июня 1841 года Александр Тургенев записывает в парижском дневнике: «В три часа за мною кн. Гагарин, и мы поехали в Сент-Дени... и чрез Сент-Дени в 1/2 часа доехали. Отыскали Теплякова, гуляли в аллеях, на берегу пруда... Гуляли после обеда до 8 час., читали стихи Лермонтова о Наполеоне»⁴⁰.

Первым импульсом Самарина при получении известия о гибели Лермонтова было написать Ивану Гагарину.

Совершенно очевидно, что, встречаясь в 1840 году в Петербурге и на Кавказе с Гр. Гагариным, Лермонтов был досконально знаком с его рисунками к «Тарантасу». Сатирический дар художника проявился в изображении картин губернской России. Ярким проявлением критической мысли Гагарина была, конечно, знаменитая заставка к четвертой главе «Станция», где буква «К» изображена в виде двух могучих крестьянских рук, высунувшихся из окна нищей избы и поддерживавших ампирную колоннаду. Гагарин шел дальше Соллогуба в понимании социальных и политических противоречий, тормозивших

развитие России. Указывалось уже, что в своих общественно-политических взглядах он был ближе к Лермонтову, чем к Соллогубу. Но это не мешало творческому союзу обоих авторов «Тарантаса» — характерная картина для тогдашних кружков, не определившихся еще в прямой идеологической борьбе. Поэтому личные связи Лермонтова с братьями Гагариными и другими членами общества «шестнадцати» не влияли непосредственно на его отношение к затрагиваемым в его творчестве вопросам. Но споры с ними были активным стимулом для быстрого самоопределения поэта.

Полемика была для Лермонтова одним из самых мощных творческих возбудителей. Многие заимствования в его стихах, заставлявшие современников называть его подражателем, раскрыты исследователями как литературный прием, заключающий в себе элементы внутренней полемики. Особенно много наблюдений такого рода накопилось при сопоставлении поэзии Лермонтова и Пушкина. Измененная цитата, переиначенная всегда с ясно осознанной целью «померяться» с Пушкиным, подчеркнуть разницу в мировосприятии, — такова излюбленная манера Лермонтова. По мере того как изучение его творчества становится более глубоким, обнаруживаются элементы полемики поэта и с другими авторами. Так, стихотворение «Благодарность» с его замечательным образом — «жар души, растроченный в пустыне» — возникло, по наблюдению Б. Бухштаба, из внутренней полемики с «Молитвой» В. Красова, с ее «религиозно-сентиментальным оптимизмом»⁴¹. Полемический толчок не только не мешал, но помогал поэту создавать на этой почве самостоятельное художественное произведение, отмеченное тем, что Белинский называл «неповторимым лермонтовским» началом. С этим мерилom мы должны вновь подойти к стихотворению «Родина», вышедшему из той же среды и в то же время, что и «Тарантас».

Назвать «Родину» полемиическим стихотворением — значит ломиться в открытую дверь. Поэт сам начинает его с экспозиции, в которой определяет отличие своего понимания патриотизма от других точек зрения. Однако вступительные строки «Родины», казалось бы такие ясные, подвергались самым различным толкованиям.

Начать с того, что первые биографы и комментаторы Лермонтова находили элементарное объяснение первым же двум строкам «Родины» («Люблю отчизну я, но странною любовью! // Не победит ее рассудок мой»). Они были

убеждены, что Лермонтова конкретно кто-то упрекал в отсутствии любви к отчизне. Предположение невероятное, потому что Лермонтов был ярко выраженным патриотом. Скорее, его можно было бы упрекнуть в некотором налете шовинизма, иногда проглядывавшем в его творчестве и личном поведении. Каждая из дальнейших строк экспозиции расшифровывалась тоже по-разному.

Строка «Ни полный гордого доверия покой» была понята одними как отрицание патриархальных идей помещиков, «привязанных к своим крепостным», «их веры в незыблемость крепостнических отношений». Другие, как, например, Н. А. Добролюбов, понимали ее как олицетворение «величавого покоя государства».

Между тем ключ к пониманию этой строки дан самим Лермонтовым в стихотворении, где красота любимой женщины сравнивается с образом ее родины. Речь идет о стихотворении «На светские цепи», посвященном М. А. Щербатовой. Последовательно сравнивая облик героини с украинскими степями, ночами и небесами, поэт переходит к характеристике ее внутреннего облика: «И, следуя строго печальной отчизны примеру, // В надежду на бога хранит она детскую веру; // Как племя родное, у чуждых опоры не просит // И в гордом покое насмешку и зло переносит». Нетрудно заметить, что «полный гордого доверия покой» является развернутым образом «гордого покоя», обозначающим одно и то же свойство: смирение угнетенного народа⁴². У Соллогуба этот образ, как уже говорилось, выражен в фразе «спокойствие и сознание силы».

«Темной старины заветные преданья» расшифровываются одними исследователями как «доктрина славянофилов, видевших величие отчизны в ее верности православию и порядкам допетровской Руси»⁴³, другие видят в отрицании Лермонтова «неприятие традиционно-романтического воспевания парадной стороны русской жизни»⁴⁴. Н. А. Добролюбов толковал ее как отказ Лермонтова от исторических ассоциаций (равнодушие к «преданьям темной старины, записанной смиренными иноками летописцами»).

Строка «Ни слава, купленная кровью», не допускающая разнотолков, нашла, однако, дополнительное разъяснение. В. И. Кулешов, занимаясь историей «Отечественных записок», нашел в лермонтовском стихотворении возражение против «официальных верноподданнических заявлений А. А. Краевского»⁴⁵.

Все эти различия не так велики и указывают на жизненность поэтических образов Лермонтова, в которых он обобщил основные политические течения общественно-исторической мысли своего времени.

Но трудно воспринимать лирическое стихотворение как политическую декларацию. «Родина» представляет собой внутренний диалог с невидимым собеседником. Мог ли вызывать творческое волнение поэта литературный спор с Кукольниковым и прочими писателями казенно-патриотического толка? Ясно, что Лермонтова возбуждали не эти противники, а люди, с мнением которых он считался и с которыми не раз обсуждал самые острые проблемы современности.

В поисках живых адресатов стихотворения Лермонтова надо учесть, что заключенная в нем полемика выражена не только во вступительной строфе, а пронизывает все стихотворение целиком. По наблюдению Б. М. Эйхенбаума, в строке «...я люблю — за что, не знаю сам» Лермонтов противопоставляет свое непосредственное чувство любви к отчизне умозрительному хомяковскому «и вот за то, что ты смиренна», обращенному к России в стихотворении 1839—1840 годов «Гордись, тебе льстецы сказали...»⁴⁶.

Сопоставление очень убедительно, но протянуть эту связь к остальным образам стихотворения Лермонтова невозможно. К кому обращен, например, выпад поэта в строках «С отрадой *многим незнакомой* * // Я вижу полное гумно, // Избу, покрытую соломой, // С резными ставнями окно...». Славянофилы, показавшие столько любви и интереса к народному быту и обрядам, проводя много месяцев в году в своих поместьях, по-своему сближались с крестьянами. Упрек в нелюбви к деревне ими не заслужен. Мне уже приходилось указывать, что Лермонтов противопоставляет в приведенных строках свою кровную связь с русской деревней отчужденности «полуфранцуза» Шувалова, «парижского Гагарина», «француза в душе» Кс. Браницкого⁴⁷. При сопоставлении «Родины» с «Тарантасом» эта полемическая связь поддерживается и в других строках лермонтовского стихотворения.

При всей любви к русской самобытности, Иван Гагарин, как мы помним, не решился подвергнуться случайностям отечественного бездорожья. С таким же страхом относился к поездкам по России и П. А. Вяземский.

* Курсив мой. — Э. Г.

«Я давно не ездил по русским дорогам, — пишет он родным 14 мая 1840 года, — и мои последние дорожные впечатления, кроме петербургского шоссе, совершенно европейские, а особенно английские. Да уж и признаюсь, странное действие производили на меня эти беспутные дороги, которые только от того и дороги, что по ним ездят: рытвины, овраги, косогоры, где едешь вброд, где по мосту, который сам бродит под каретою. Это действовало на мои европейские нервы, изнеженные правильными шоссеями, и я двадцать раз думал, что карета опрокинется, но вселенские языки ведайте: велик российский бог! Есть бог для детей, есть бог для пьяниц, есть бог для России, бог ухабов, бог мятели, бог испорченных дорог, как сказано одним остроумным поэтом»⁴⁸.

Вяземский цитирует здесь свое знаменитое стихотворение 20-х годов «Русский бог». Соллогуб тоже мог бы процитировать свой ранний рассказ «Сережа».

«Но вот начинается настоящее вам горе, — читаем там, — пропали вы совсем: вы сворачиваете с большой дороги и едете проселком. Горе вам, горе, горе, горе! Дорога делается хуже, вольных лошадей и неволею едва ли придется вам достать. Грязно, скучно, досадно!..»

Парадоксально звучит на этом фоне строка Лермонтова из «Родины»: «Проселочным путем люблю скакать в телеге...»

«...И, взором медленным пронзая ночи тень, // Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге, // Дрожащие огни печальных деревень...»

Этот пейзаж дан совсем в другом ключе у Соллогуба («Сережа»): «Перед ним далеко расстилалось снежное поле, кое-где прикрытое мелким ельником, — картина вам знакомая. Вправо мелькали две-три избенки, согнувшись как старушки за бостоном. Небо было серое; воздух был холодный. Телега катилась по тряской дороге, а путешественник терялся в мечтах и... потирал себе бока».

Еще отчетливее разница в восприятии русской природы между Лермонтовым и Соллогубом прослеживается по самому «Тарангасу». «Окрестность мертвая; земли, земли, земли столько, что глаза устают смотреть; дорога скверная... по дороге идут обозы... мужики ругаются... вот и все...» — читаем в восьмой главе. «Никогда время не идет так медленно, как в дороге, в особенности на Руси, где, сказать правду, мало для взора развлечения, но зато много беспокойства для боков, — находим в одиннадцатой главе. — Напрасно Иван Васильевич старался

отыскать малейший предмет для впечатления. Все кругом безлюдно и безжизненно. Прошел им навстречу один только мужик с лаптями на спине, да снял им шапку из учтивости. . .» Приведем пейзаж последней главы: «Голая степь раскинулась, растянулась во все стороны, как скованное море. . . Тощий ковыль едва колыхался от широкого размета ничем не обузданного ветра. . . В целой природе дышало таинственное, унылое величие. Все напоминало смерть и в то же время сливалось в какое-то неясное понятие о вечности и жизни беспредельной». Финал известен: тарантас опрокинулся.

А для Лермонтова и холодное молчанье степей, и ночующий обоз, и говор пьяных мужичков были полны жизни, которую он любил непосредственно, не по обязанности и не по выводу рассудка. Простота и органичность его чувства противопоставлены и умозрительным доктринам Хомякова, и выпренности Ивана Гагарина, так же как и его барственной брезгливости, родственной барственной же насмешливости Соллогуба и Вяземского.

Скажут, что «Тарантас» — пародийное произведение, в котором все детали подчинены основному сатирическому замыслу. Но «путевые впечатления» Григория Гагарина и Владимира Соллогуба помимо полемической цели имели и свое самостоятельное значение. Художник изобразил русские типы сатирически, Соллогуб скрыл свое лицо, предоставив спорить между собою двум героям — вполне «самобытному» помещику-крепостнику и Ивану Васильевичу, смешному в своем натянутом, фальшивом патриотизме. Однако подлинное лицо писателя проглядывает в его всеядной насмешливости и в пейзажах, написанных с надменным превосходством просвещенного барина. В результате чтения «Тарантаса» Россия предстает скучной, унылой, безнадежной страной. Этой эмоциональной окраске повести Соллогуба противостоит панорама родных лесов, степей и полей, с такой любовью нарисованная в «Родине».

3

Свое беглое замечание о «шестнадцати» Валуев, как мы помним, связал с лейб-гусарским полком, куда был прикомандирован в 1838 году А. П. Шувалов.

Лейб-гусарский полк славился своими традициями.¹ Некогда там служили П. Я. Чаадаев, Денис Давыдов,

приятель Пушкина П. П. Каверин. В полку сохранялся культ Пушкина.

24 февраля 1837 года А. И. Тургенев записал в своем дневнике: «Лермонтова стихи навлекли гоненье и на гусарский полк»⁴⁹.

Лейб-гусарскому полку посвящена специальная строфа в «Тамбовской казначейше»:

Родов, обычаев боярских
Теперь и следу не ищи,
И только на пирах гусарских
Гремят, как прежде, трубачи.
О, скоро ль мне придется снова
Сидеть среди кружка родного
С бокалом влаги золотой
При звуках песни полковой!
И скоро ль ментиков червонных
Приветный блеск увижу я,
В тот серый час, когда заря
На строй гусаров полусонных
И на бивак их у леска
Бросает луч исподтишка!

Первая строка представляет собой измененную цитату из «Родословной моего героя» Пушкина, напечатанной в октябрьском томе «Современника» за 1836 год:

Мне жаль, что тех родов боярских
Бледнеет блеск и никнет дух;
Мне жаль, что нет князей Пожарских,
Что о других пропал и слух,
Что их поносит и Фиглярин. . .

Эта связь показывает, что гусарские пиры воспеты Лермонтовым не за «шалости», а за сохраняющийся в этом полку традиционный дух независимости. Лермонтов говорит о преемниках того «гусарства», которое еще при Денисе Давыдове служило своеобразной формой протеста против аракчеевщины⁵⁰. Недаром в молодости Пушкин и его друзья, как свидетельствует один из современников, «воспитанные во время наполеоновских войн, под влиянием героического разгула этой эпохи, щеголяли воинским удалством и каким-то презрением к требованиям гражданского строя». «Пушкин, — продолжает мемуарист, — как будто дорожил последними отголосками беззаветного удалства, видя в них последние проявления заживо схороняемой самобытной жизни»⁵¹. Верность этого замечания можно подтвердить словами самого Пушкина. В 1836 году он упоминал в письме к жене о былом своеволии гвардейских гусар, все-таки предпочитая его расчетливой трезвости великосветской молодежи новой

формации. Саркастически отзывался он о «благоразумии молодых людей» (имея в виду офицеров кавалергардского полка), «которым плюют в глаза, а они утираются батистовым носовым платком, смекая, что если выйдет история, так их в Аничков не позовут»⁵².

Конечно, не к этой раболепствующей перед двором молодежи обращался Пушкин, когда искал сочувствия нового поколения своим выступлениям в «Современнике». Между тем до нас дошло свидетельство Н. М. Смирнова, что, когда в «Современнике» был напечатан «Полководец», Пушкин спрашивал молодого Россета (учившегося в Пажеском корпусе), как находят эти стихи в его кругу между военною молодежью, и прибавил, что он не дорожит мнением знатного светского общества»⁵³. Таким образом, намек в «Тамбовской казначейше» о «боярских родах и обычаях» в гусарском полку, который можно было бы принять за простую реминисценцию, в действительности помогает раскрыть систему взглядов Лермонтова.

В двадцать девятой строфе «Тамбовской казначейши» Лермонтов указывает на ту среду, где с сочувствием прислушиваются к общественно-политическим выступлениям Пушкина в «Современнике» и разделяют его взгляды.

В «Родословной моего героя» строфа о боярских родах подготовлена строками о традициях русской старины, связываемой Пушкиным со «звуками нашей славы». В этой строфе он пишет:

Но каюсь: новый Ходаковской,
Люблю от бабушки московской
Я толки слушать о родне,
О толстобрюхой старине.

В «Тамбовской казначейше» повторен тот же композиционный ход. Описывая в двадцать восьмой строфе провинциальный праздник с его «хором уланских трубачей», Лермонтов заключает это описание афоризмом, понятным только при сопоставлении с приведенными пушкинскими строками:

...Обычай древний, но прекрасный;
Он возбуждает аппетит,
Порою кстати заглушит
Меж двух соседей говор страстный —
Но в наше время решено,
Что все старинное смешно.

Непосредственно следующее за этим упоминание о «боярских обычаях», сохраняющихся только на гусарских пирах, совершенно очевидно (по ассоциации с приреченными пушкинскими стихами) содержит в себе намек на патриотические традиции, остающиеся еще живыми в этом полку.

Со строфами «Тамбовской казначейши» надо сопоставить еще одно стихотворение Лермонтова, посвященное гусарам.

Как видно из автографа, послание «К Н. И. Бухарову» родилось из четырех строк, ставших потом заключительными. Лермонтов с них начал, потом зачеркнул, написал новое стихотворение и закончил его первоначально возникшей у него под пером строфой:

Столетия прошлого обломок,
Меж нас остался ты один,
Гусар прославленных потомок,
Пиров и битвы гражданин.

Никем не было замечено, что Лермонтов перефразировал здесь (сохраняя ее размер, рифмы и ритм) строфу из «Моей родословной» Пушкина:

Родов дряхлеющих обломок
(И по несчастью, не один),
Бояр старинных я потомок;
Я, братцы, мелкий мещанин.

Из содержания «послания» да и по характеру автографа видно, что стихотворение Лермонтова было написано экспромтом на гусарской пирушке. В шумной дружеской компании можно пародировать только те стихи, которые хорошо известны присутствующим. Но «Моя родословная» Пушкина, написанная в 1830 году и положившая начало его непримиримой борьбе с придворной аристократией, не была напечатана, а распространялась только в списках. Следовательно, в гвардейском гусарском полку образовалась сочувствующая среда, где можно было безбоязненно цитировать рукописный политический памфлет Пушкина. В какую пору это было?

Та же строфа из «Моей родословной» Пушкина, которая вдохновила Лермонтова на гусарской пирушке, сыграла гораздо более важную роль в его творчестве и даже судьбе, когда Пушкин был убит. Известно, что в основу знаменитого «прибавления» к «Смерти поэта» Лермонтов положил эту же строфу Пушкина, усложнив ее риф-

мы и ритмику. Этим он значительно усилил политическую направленность своей обличительной оды против придворных «палачей»:

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастья обиженных родов!

Стихотворение на смерть Пушкина явилось причиной коренного переворота в судьбе поэта. Можно ли допустить, чтобы, вернувшись из ссылки, Лермонтов сочинил на гусарской пирушке новые стихи, в которых он, примитивно используя рифмы и образы куплетов Пушкина, вернулся к их политической теме? Думается, что психологически это невероятно. Гусарские стихи Лермонтова, вопреки датировке последних изданий, написаны, очевидно, до смерти Пушкина — в 1836, а не в 1837 или 1838 году. Они отражают атмосферу, которой дышал Лермонтов незадолго до смерти Пушкина: заинтересованность «Современником», глубокое сочувствие политической направленности «Моей родословной».

Пародийная строфа из послания «К Н. И. Бухарову» имела в черновом наброске еще один вариант. Первоначально Лермонтов написал:

Другого племени обломок.

Эта строка перекликается со строками «Бородин», в которых, по словам Белинского, выражена основная идея всего стихотворения — «жалоба на настоящее поколение, дремлющее в бездействии, зависть к великому прошедшему, столь полному славы и великих дел:

— Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри — не вы!»

В образе старого гусара Лермонтов приветствовал одного из представителей «могучего лихого племени», которое он противопоставлял современному поколению офицеров николаевской армии. Но в «Бородине», написанном уже от лица русского солдата, Лермонтов сравнивает не поколения гвардейских офицеров, а героизм всего русского народа в 1812 году с его положением в новую и реакционную эпоху. Очевидно, в послании к Бухарову мы слышим только первые отзвуки размышлений Лермонтова, занявших вскоре центральное место в его твор-

честве. И это тоже показывает, что экспромт был написан раньше, чем «Бородино». А следовательно, и органически связанная с этим стихотворением «Тамбовская казначейша» тоже была написана до того, как мотивы обеих «Родословных».* Пушкина влились в два центральных произведения Лермонтова — «Смерть поэта» и «Бородино». Добавим к этому, что в «Тамбовской казначейше» заключены элементы полемики с Булгариным по поводу «Современника» Пушкина⁵⁴, и мы поймем, что должны рассматривать эту поэму как злободневное произведение. Не следует удивляться, что литературная полемика находила отклик в лейб-гусарском полку. Вспомним вступительную строфу.

ПОСВЯЩЕНИЕ

Пускай слыву я старовером,
Мне все равно — я даже рад:
Пишу Онегина размером;
Пою, друзья, на старый лад,
Прошу послушать эту сказку!
Ее неожиданную развязку
Одобрите, быть может, вы
Склоненьем легким головы.
Обычай древний наблюдая,
Мы благодетельным вином
Стихи негладкие запьем,
И побегут они, хромая,
За мирною своей семьей
К реке забвенья на покой.

Кому же, собственно, посвящена эта поэма? Она посвящается ее слушателям, именно слушателям, а не читателям. Лермонтов часто посвящал свои поэмы читательницам, но «Тамбовская казначейша» не предназначена для дам. Одобрения поэт ожидает не от слушательниц, а от тех, кто, «наблюдая древний обычай», вместе с автором запивают стихи «благодетельным вином». С этим образом ассоциируется поэтическая стихия Дениса Давыдова, имя которого нередко упоминалось в лейб-гусарском полку.

Частое обращение к слушателям, разговорный язык поэмы, рассчитанный на живое общение с собеседника-

* «Моя родословная» (1830) и «Родословная моего героя» (1836).

ми*, вызывают в памяти картину, описанную в поэме «Монго» в сентябре 1836 года:

Когда же в комнате дежурной
Они сошлись поутру,
Воспоминанья ночи бурной
Прогнали краткую хандру.
Тут было шуток, смеху было!
И, право, Пушкин наш не врет,
Сказав, что день беды пройдет,
А что пройдет, то будет мило...

Ласково-фамильярная интонация, с какой упомянут здесь Пушкин, и измененная цитата из его стихотворения живо передают чувство любви к великому поэту, сплывающей кружок царскосельских гусар вокруг Лермонтова в 1836 году. Не им ли посвящена «Тамбовская казначейша»? Поэт говорит о «реке забвенья», в которой тонут его стихи, скромно называет их «негладкими» — неоправданная скромность в ту пору, когда стихотворение «Смерть поэта» разошлось в списках по всей России, а «Бородино» было уже напечатано в «Современнике» в 1837 году. Очевидно, «Тамбовская казначейша» написана еще в 1836 году.

Основанием для передатировки всего «гусарского цикла», в частности стихотворения «Мы ждем тебя, спеша, Бухаров...», служит его сходство с другим вариантом стихотворения, посвященного тому же Бухарову, — «Смотрите, как летит, отвагою пылая...». Это четверостишие подписано под портретом полковника Бухарова, нарисованным в 1838 году гусарским офицером Александром Долгоруким. Но оно переписано каллиграфическим почерком, и только подпись «Лермонтов» принадлежит самому поэту. Его же рукой сделана надпись: «Рис. князь Долгорукий 2, 1838 г.». Обычно Лермонтов если уж датировал свои стихи в рукописи, то делал это точно, но на этот раз он поставил дату не под стихотворением, а под рисунком. Поэтому аккуратная авторизованная копия четверостишия, сделанная в 1838 году, не может служить неопровержимым доказательством, что это стихотворение

* См., например, реплику: «Да, да,— как честный офицер!» (строфа 30) или характеристику Гарина, обращенную к слушателям:

«...не делал страстных изъяснений,
Не становился на колени;
А несмотря на то, друзья,
Счастливей был, чем вы и я»
(строфа 17).

было сочинено тогда же, в 1838 году. Если прибавить к этому, что бывший лиценст М. Н. Лонгинов вспоминал, как он слышал чтение «Послания к Н. И. Бухарову» на пирушке царскосельских гусар в 1835 или 1836 году, мы должны прийти к выводу, что весь этот цикл написан в 1836 году⁵⁵. Его вспомнили, когда Лермонтов вернулся весной 1838 года в свой полк. Там он нашел трех новых лейб-гусаров: Александра Долгорукого, который только в 1837 году был выпущен в полк из пажей, Ксаверия Браницкого, в том же году переведенного из Ахтырского гусарского полка, и, как мы знаем, Андрея Шувалова, прикомандированного к лейб-гусарскому полку после кавказской ссылки⁵⁶.

Один из мемуаристов писал об Александре Долгоруком, что это был «очаровательный юноша, добрый и талантливый, хороший рисовальщик, изящный рассказчик»⁵⁷; другой современник говорил о нем как о «милейшем юноше, исполненном ума и блестящей храбрости, что он и доказал на Кавказе»⁵⁸; третий отмечал, что «язык у него был как бритва», добавляя, что это был «красивый молодой человек, блестящего ума и с большими связями в высшем свете» *⁵⁹. Добавим, что Долгорукий писал также водевили и сам в них играл на сцене патристического общества⁶⁰.

С внешностью А. Долгорукого можно познакомиться по альбомному рисунку, сделанному в Кисловодске не кем иным, как известным доктором Майером, вольнодумцем, другом сосланных декабристов. Альбом заполнен его злыми шаржами на административных лиц края и рисунками Долгорукого⁶¹. Хотя гусару в это время не исполнилось и двадцати лет, доктор Майер подружился с ним. Как известно, после выхода «Героя нашего времени» Майер сразу узнал себя в образе доктора Вернера и обиделся. Но когда летом 1839 года Александр Долгоруков был на Кавказских минеральных водах, «Княжна Мери» не была еще написана. Надо думать, что, вернувшись в октябре 1839 года в свой полк, Долгоруков привез Лермонтову поклон от кисловодского доктора и множество рассказов.

Александр Долгорукий влился в то общество, которое собиралось на квартире Лермонтова и Столыпина в Царском Селе. М. Н. Лонгинов утверждал, что оба они име-

* Последнее подтверждается приглашением его в Аничков дворец. См. об этом главу «Лермонтов и двор», с. 156—157.

ли большое влияние на гусар. «Товарищество (*esprit de corps*) было сильно развито в этом полку, — писал он, — и, между прочим, давало одно время сильный отпор, не помню каким-то притязаниям, командовавшего временно полком, полковника С. Покойный великий князь Михаил Павлович, не любивший вообще этого «*esprit de corps*», приписывал происходившее в гусарском полку подговорам товарищей со стороны Лермонтова со Столыпиным и говорил, что «разорит это гнездо», то есть уничтожит сходки в доме, где они жили»⁶².

Заявление Лонгинова поддерживают заметки иностранного наблюдателя, посетившего Петербург в 1844 году. Ч.-Ф. Хеннингсен рассказывает: «Императору Николаю мало было сделать из своих офицеров машины, в чем он зашел дальше своих предшественников; он захотел сделать из них машины, ничем не связанные друг с другом. Решившись истребить в их среде корпоративный дух, он прибег для этого к тайным мероприятиям, которые в конечном счете изгнали сердечность и умертвили теплое чувство товарищества, которое когда-то связывало в каждом полку военных в более или менее одинаковых чине и положении. К нашему времени произошла такая перемена, что капитан не посмеет сблизиться с штабс-капитаном, а тот с поручиком, а поручик с корнетом. Более того, разрушены все связи между офицерами одного чина; каждый из них стал шпионить за соседом; все чувствуют или воображают, что за ними шпионят, в результате тот, кого склонности потянули бы сблизиться с такою-то особою, остерегается ее, а то и действует ей во вред, на что его подталкивает эта система»⁶³.

В свете этих мрачных документов живой товарищеский кружок Лермонтова в лейб-гусарском полку рельефно вырисовывается как воплощение протеста. Не удивительно, что пятеро из этого кружка — Лермонтов, Монго-Столыпин, Ксаверий Браницкий, А. Долгорукий и Андрей Шувалов — составили треть сообщества «шестнадцати».

Мы располагаем интересными воспоминаниями о них, написанными (по-французски) князем Михаилом Борисовичем Лобановым-Ростовским. Зимой 1838—1839 годов, окончив московский университет, он приехал в Петербург, определился во II (законодательное) Отделение собственной его величества канцелярии, где успел недолгое время поработать под руководством М. М. Сперанского (умершего в феврале 1839 года).

Вспоминая о той поре, Лобанов писал:

«В этот период времени я вступил в кружок молодых приятелей, который был мне очень по душе. Это были, во-первых, два брата *, жившие вместе, оба симпатичные и хорошо воспитанные, оригинальные каждый в своем роде, совершенно несходные между собой, но искренне привязанные друг к другу, хотя и расходившиеся во всех своих взглядах. Первый из этих братьев, несколькими годами старше второго, храбро сражался на Кавказе, где получил солдатский Георгиевский крест и легкую рану в грудь. Он был высокого роста и тонок; у него было красивое лицо, казавшееся несколько сонным, но вместе с тем плохо скрывавшее нервные движения, присущие его страстной натуре. При худощавом сложении у него были стальные мускулы и удивительная ловкость на всякого рода физические упражнения: он стрелял из пистолета, фехтовал, делал гимнастику, прыгал в длину и высоту как профессиональный артист, превосходно справлялся с самыми горячими английскими лошадьми, хотя его посадка в седле имела преувеличенно английский характер из-за его большой худобы. Он очень нравился женщинам, благодаря контрасту между его внешностью, казавшейся нежной и хрупкой, его низким и приятным голосом, с одной стороны, и необычайной силой, которую скрывала эта хрупкая оболочка, — с другой. Его бледность и красивое лицо заинтересовывали с первого взгляда, а сила и страстность удовлетворяла и покоряла их.

Он сам очень гордился этими своими достоинствами, постоянно о них говорил и выставлял напоказ. Он любил женщин из-за раздражительности своих нервов и особенно из-за удовольствия сообщать друзьям под строгой тайной о своих любовных похождениях. До того, как я его хорошо узнал, я свято хранил его секреты, но вскоре я открыл, что был посвящен в тайну наряду со всеми, и когда я однажды посмеялся над ним по этому поводу, он вполне серьезно заявил мне, что не стоит обладать женщиной, если нельзя этим похвастаться. У него был легкий и поверхностный ум с большой дозой упрямства, которое он принимал за силу характера; он был хорошим товарищем и во всех отношениях истинным джентльменом.

Брат его был полной противоположностью как в нравственном, так и в физическом отношении. Менее высокого роста, чем старший, он обладал широкой грудью

* Андрей и Петр Шуваловы.

и держался крепко на мускулистых ногах... нос, рот и вся форма лица напоминали маску, снятую с Наполеона после его смерти; я говорю — маску, так как это красивое лицо с матовой кожей, окаймленное шелковистыми черными волосами и пробивающейся бородой... имело обычно безжизненное выражение и казалось чаще всего погруженным во внутреннее созерцание. Сосредоточенный в себе и мечтательный, он пробуждался, когда беседа затрагивала одну из его жизненных струн, лицо его озарялось священным огнем мысли, и из замкнутых до того уст текли потоки стройной и мужественной речи. Сердце его было благородно... Оно не отдавалось легко, но, полюбив, отдавалось целиком, и тогда с лица его спадала серьезная маска, оно освещалось мягкой улыбкой, глубокий ум становился тонким и шутливым, затрагивающим без желчи, с очаровательной иронией все преходящие интересы этого мира... Единственным недостатком его богатой природы было полное отсутствие духа инициативы, у него было много упорства в отстаивании своих мыслей и убеждений, но это несколько не распространялось на его ежедневную жизнь, которой он предоставлял течь по воле друзей, не придавая ей значения.

Одним из друзей его брата, ставшим также и нашим другом, был молодой польский офицер, служивший в лейб-гусарском полку и происходивший из семьи, которая невероятно разбогатела, продавая свою родину во время польской анархии, и стала обладательницей состояния более чем в сто миллионов, получив, благодаря браку одной из своих представительниц, наследство полубога Потемкина, которого она была племянницей и одновременно любовницей. Наш друг Ксаверий был добрый и прекрасный малый, всегда живой и любивший весело пожить, красобай, склонный приврать, но сознававшийся немедленно, как только его уличали в преувеличениях, и смеявшийся сам своему вранью. Он вел крупную игру, но ему не везло; он охотно посещал продажных женщин, любил хорошее вино и часто угощал нас старым венгерским, которое извлекал из погребов своего отца. Несмотря на крупное содержание, которое он получал от родителей, он был вечно без гроша; почти каждый месяц можно было видеть, как он продает своих лошадей и экипажи, после чего с самым философским видом разъезжал на скверном извозчике, заставляя одного из нас уплачивать тот двугривенный за поездку, которого не оказывалось в его кошельке. Это не мешало ему быть ве-

сслым, и он продолжал развлекаться за счет своих приятелей, пока отец не сжаливался над ним и не снабжал его снова лошадьми, экипажами и деньгами. Я очень сблизился с ним и продолжал встречаться с ним даже в месте ссылки, далеко от своей родины, куда он удалился добровольно и по легкомыслию, безо всякой серьезной причины.

В эти же дни я много виделся с офицерами лейб-гусарского полка, расквартированного в Царском Селе, когда я бывал у Ксаверия и Андрея, у которых были там собственные дома. Здесь я познакомился с красивым Монго, получившим это прозвище от великолепной белой ньюфаундлендской собаки, носившей эту кличку. Он только что вернулся тогда из кавказской экспедиции и щеголял в восточном архалуке и в огромных красных шелковых шароварах, лежа на персидских коврах и куря турецкий табак из длинных, пятифутовых черешневых чубуков с константинопольскими янтарями. Он еще не сделался тогда блестящим фатом, прославившимся своей долгой связью с моей очаровательной, но слишком легкомысленной кузиной*, которая, впрочем, обращалась с ним с величайшим пренебрежением и позволяла себе самые невероятные вольности у него под носом, насмехаясь над ним. Он тогда еще не предался культу собственной особы, не принимал по утрам и вечерам ванны из различных духов, не имел особого наряда для каждого случая и каждого часа дня, не превратил еще себя в бальзаковского героя прилежным изучением творений этого писателя и всех романов того времени, которые так верно рисуют женщин и большой свет; он был еще только скромной куколкой, завернутой в кокон своего полка, и говорил довольно плохо по-французски; он хотел прослыть умным, для чего шумел и пьянствовал, а на смотрах и парадах ездил верхом по-черкесски на коротких стременах, чем навлекал на себя выговоры начальства. В сущности, это был красивый манекен мужчины с безжизненным лицом и глупым выражением глаз и уст, которые к тому же были косноязычны и нередко заикались. Он был глуп, сознавал это и скрывал свою глупость под маской пустоты и хвастовства. Я его не любил, и он платил мне тем же.

Я также подружился в этом полку с родственником великолепного истукана, не имевшим, однако, с ним ниче-

* Графиня Александра Кирилловна Воронцова-Дашкова.

го общего. Это был молодой человек, одаренный божественным даром поэзии, притом — поэзии, проникнутой глубокой мыслью, с пантеистическим оттенком, изображающей чувства пламенные, но окутанные некоторой грустью, как отзвук отчаяния и презрения, сделавшихся привычкой. Он также побывал на Кавказе и воспел его красоты в великолепных стихах. Там с еще большей силой он вдохнул в свои легкие тот дух независимости и безграничной свободы, который считается преступлением в Петербурге, который изгнал его на Кавказ, где он погиб еще молодым в злополучном поединке, оплакиваемый навеки всеми, кто ценит талант в России. Он был некрасив и мал ростом, но у него было очаровательное выражение лица и глаза его искрились умом. С глазу на глаз или в кружке, где не было его однополчан, это был человек любезный, речь его была интересна, всегда оригинальна и немного язвительна. В своем же обществе это был демон буйства, криков, разнузданности и насмешки. Он не мог жить, не имея кого-либо, кто бы мог служить ему посмешищем; таких лиц было несколько в полку, и между ними один, который был излюбленным объектом его преследований. Правда, что это был смешной дурак и что он еще имел несчастье носить фамилию Тиран. Лермонтов сочинил целую песню по поводу злоключений и невзгод Тирана: нельзя было слышать ее без смеха; ее распевали хором, крича во все горло этому бедняге в уши.

Первое появление Лермонтова в свете, — продолжал Лобанов, — произошло под покровительством женщины — одной очень оригинальной особы. Это была отставная красавица лет за 50, тем не менее сохранившая следы прежней красоты, сверкающие глаза, плечи и грудь, которые она охотно показывала и выставляла на любованье. У нее была уже взрослая дочь, любимая фрейлинка императрицы, никогда с ней не расстававшейся... Мать... сохранила большое влияние при дворе и была постоянно предметом ухаживаний со стороны честолюбивых молодых людей, желавших сделать при ее посредстве карьеру; одному из них удалось даже получить таким образом адъютантский аксельбант. Таким образом, «молодая», но несколько подержанная особа имела свой двор поклонников... Вот какой женщине Лермонтов доверил заботу о своих первых шагах в свете, правда отнюдь не из тщеславного желания сделать карьеру, а лишь для того, чтобы проникнуть в тот круг, где ни его принадлежность к старинному дворянскому роду, ни его

талант, который открыл бы ему все иные двери, не давали ему прав гражданства — для того, чтобы проникнуть в ханжеское общество людей, мнивших себя русской аристократией»⁶⁴.

Несмотря на фривольный тон Лобанова, нам нетрудно узнать в описанной им покровительнице Лермонтова дочь фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова Елизавету Михайловну Хитрово, преданного друга Пушкина. Лобанов не успел ничего о ней узнать, кроме великосветских сплетен (она умерла в мае 1839 года), и для него осталось неизвестным, что Хитрово горячо приветствовала стихи Лермонтова на смерть Пушкина. Очевидно, она пожелала познакомиться с их автором, когда он вернулся в Петербург из кавказской ссылки. А ее дружбы было достаточно, чтобы открыть Лермонтову двери и других великосветских гостиных. Интерес же Лермонтова к ней, вероятно, был обусловлен возможностью говорить с ней о Пушкине, о его трагедии и гибели, быть может — о полемике по поводу пушкинского «Полководца».

Нуждается в коррективе также сделанная Лобановым отрицательная характеристика Монго-Столыпина. Впрочем, он сам дал ключ к ее толкованию, написав: «Я его не любил, и он платил мне тем же». Эта взаимная неприязнь была вызвана соперничеством, так как Лобанов тоже питал глубокое чувство к А. К. Воронцовой-Дашковой. Это лишает его отзыв о Столыпине объективной ценности*.

Что касается образа Лермонтова в воспоминаниях Лобанова, его надо признать одним из самых значительных в мемуарной литературе о поэте. Лобанов убедительно указывает на политическую подоплеку последней ссылки Лермонтова на Кавказ.

Интересны портреты братьев Шуваловых. Заметим, что у Лермонтова и Столыпина могла быть давнишняя связь с ними, так же как и с Николаем Жерве, благодаря их общей принадлежности к кругу Сперанского. Отцы Монго и Жерве были его ближайшими друзьями и сотрудниками (это отражено и в романе Л. Толстого «Война и мир»), бабушка Лермонтова тоже была хорошо знакома с этим крупным государственным деятелем⁶⁵. Шуваловы после смерти отца в 1823 году воспитывались М. М. Сперанским (официальным их опекуном) и его дочерью, Е. М. Фроловой-Багреевой. Сперанский хлопотал

* См. об этом главу «Дуэль и смерть», с. 297.

перед командиром Отдельного кавказского корпуса об Андрее, когда юноша был по повелению царя выслан в 1835 году на Кавказ. Что послужило причиной высылки, не выяснено, известно только, что перед отправлением в Нижегородский драгунский полк Андрей Шувалов получил аудиенцию у царя для «отеческого наставления»⁶⁶. В военной экспедиции Андрей Шувалов оказался вместе с Н. А. Жерве, прощенным царем в Тифлисе в том же приказе, что и Лермонтов, — 11 октября 1837 года.

В первые же дни знакомства с Карамзиными Лермонтов встретился у них с обоими братьями Шуваловыми. 5 сентября 1838 года С. Н. Карамзина писала сестре: «Были Хрущевы, два графа Шуваловы, которых представила Багреева, Лермонтов»⁶⁷.

Установленная дружба Лермонтова с Шуваловым позволяет раскрыть полное имя персонажа, в обществе которого писатель Тургенев впервые увидел Лермонтова (на балу у княгини Шаховской в декабре 1839 года). Описав трагическую внешность Лермонтова и заметив, что поэт «с каким-то обидным удивлением оглядывал» засмеявшихся Э. К. Мусину-Пушкину и их общего собеседника, И. С. Тургенев утверждал все же, что этого собеседника, «графа Ш—а», тоже гусара, Лермонтов «любил как товарища»⁶⁸. Нет сомнения, что тут речь шла об Андрее Шувалове.

В литературном портрете Шувалова, сделанном Лобановым, угадываются некоторые черты Печорина — типа, составленного, по словам Лермонтова, «из пороков всего нашего поколения». Вспомним «нервическую слабость» в позе волевого Печорина, «какую-то женскую нежность» его кожи, «одну из тех оригинальных физиономий, которые особенно нравятся женщинам светским» («Максим Максимыч»). А из циничного замечания Шувалова о «хвастовстве» как единственном стимуле для любовных приключений вырастает рассудочность Печорина в его отношении к княжне Мери, обоснованная Лермонтовым глубоким психологическим анализом современного ему типа молодого человека⁶⁹.

О самых молодых участниках кружка сохранилось мало сведений. Но трудно ждать особенного богатства идей от эlegantного Сергея Долгорукого или от Дмитрия Фредерикса. Правда, сосланный декабрист А. Беляев, встречавшийся с ним на Кавказе, характеризовал его как «бесподобную личность».

«Высокий, стройный, с прекрасными правильными чертами лица, с черными усами, выющимися волосами и голубыми глазами, он был, действительно, красавец, — восторженно описывает Фредерикса Беляев. — Всегда задумчивый, редко веселый, скромный, кроткий и в то же время пылкий, но всегда сдержанный и сосредоточенный. Он был так привлекателен, так симпатичен, что нельзя было не полюбить его сердцем»⁷⁰. Но в этой эмоциональной характеристике мало материала для выводов о воззрениях Фредерикса. Да их, вероятно, и не было, если не считать его глубокой религиозности, заставившей его перейти из лютеранской веры в православную.

Сыновья высших царедворцев вносили, видимо, в собрания «шестнадцати» струю придворных новостей, подобных тем, которые давали Пушкину постоянный материал для его разоблачительной хроники великосветского Петербурга. В своей книге Браницкий дает понятие и об этой стороне бесед «шестнадцати».

«Самым общим, — пишет он, — и самым роковым следствием владычества ханов Золотой Орды над великими князьями было воспитание русских в школе немецкого деспотизма, вдохновленного австрийским шпионажем Меттерниха, одобренного некоторыми утопченностями, воспринятыми от Фуше. Это породило для автократии, достигшей своего апогея при Николае I, самую сложную и самую гнусную машину угнетения, под какой когда-либо страдало человечество и которая в наши дни не без насмешливой скромности именуется III Отделением собственной его императорского величества канцелярии».

«Но по крайней мере, — обращается Браницкий к Гагарину, — ханы не помышляли о том, чтобы, как цари, силой навязывать религиозные верования, запрещать употребление какого-либо языка, предписывать правила одежды для мужчин и для женщин. Они не вменяли в преступление большую или меньшую длину волос, бороду, подстриженную или подбритуую известным фасоном, а иногда даже невинный лорнет, приставленный к близорукому глазу».

А мы ведь все это с вами видели, мой уважаемый отец, когда оба проживали на берегах Невы. И будь у нас время и желание их перечислить, сколько мы могли бы еще припомнить вещей, где смехотворное граничит с возмутительным! В их числе нашлись бы такие нелепости, что они показались бы придуманными на смех.

Впрочем, вы, мой дорогой друг и бывший сотоварищ, знаете не хуже меня, до чего доходили татарская жестокость и восточное воображение III Отделения в царствование незабвенной памяти Николая I».

Политическое злословие было присуще и Вяземскому, с которым были связаны некоторые члены кружка. «Маскарады здесь в большой славе, — писал, например, П. А. Вяземский 30 января 1840 года, — но довольно скучны, по крайней мере для нас, грешных. Все кидаются за высокими посетителями, а нас и не трогают, разве какие-нибудь свинства задирают...» Угодливость придворных на этих балах постоянно раздражала Вяземского. «Вчера был блестящий бал в Собрании, — пишет он 8 февраля 1840 года. — Что-то обдавало Москвою, особенно с хоров, можно было забыться и подумать, что это московский вторник. И карикатур довольно. Только директора здешние более хлопочут и важничают, Долгорукий, Матвей Виельгорский, который бомондмейстер танцев, толкает, пихает, все это *roug le bon public* (для чистой публики), разумеется...»

Когда «злостью дня» петербургского великосветского круга стал наново обставленный с особенной роскошью дом графини Завадовской, «Смирнова говорила, что наша публика удивительно была глупа в этой гостиной: неловко ступала по бархату, тарашила глаза на бронзы, на портьеры, шепотом говорила и проч.». Передавая 20 ноября 1839 года эти слова Смирновой, Вяземский заключал: «Публика наша удивительно лакейская», — имея в виду необоснованные толки о «дерзости или колоссальном воровстве» и о «пакостных источниках этой роскоши» Завадовской.

В петербургском альбоме Лермонтова записан адрес Завадовской. Очевидно, он тоже получил приглашение в этот модный дом и, надо думать, разделял взгляд Смирновой и Вяземского на великосветскую публику.

Интересно, что А. О. Смирнова, которая еще при жизни Пушкина «шутки злости самой черной писала прямо набело», теперь связывает свой критицизм с настроениями группы писателей, объединившихся в «Отечественных записках». Описывая 14 марта 1839 года Вяземскому удивительное пение России, она добавляет: «это хороший момент в жизни, особенно в нашей монотонной жизни петербургской (я секты Краевского)»⁷¹. К этой «секте» в первую очередь принадлежал Лермонтов.

Ему тоже была присуща свободная и язвительная бе-

седа, которой он давал волю у Карамзиных и, очевидно, на собраниях «шестнадцати».

Вспомним, как он поразил в 1841 году юного И. П. Забеллу*, когда приезжал в последний раз в Петербург. «С лица Лермонтова, — пишет мемуарист, — не сходила сардоническая улыбка, а речь его шла на ту же тему, что и у Чацкого... Передать всех мелочей я не в состоянии, но помню, что тут повально перебирались кузины, тетеньки, дяденьки говорившего и масса других личностей большого света, мне неизвестных и знакомых хозяйке. Она заливалась смехом и вызывала Лермонтова своими расспросами на новые сарказмы»⁷². К этому же времени относится злой шарж, набросанный карандашом Лермонтова в альбоме А. Д. Блудовой. Двое светских людей, господин и дама, изображены со спины. Мужчина закинул голову, а женщина низко приседает перед спускающимся к ним сверху двуглавым орлом. Вспомним также рассказ ремонтера П. И. Магденко, который встретил месяц спустя в Георгиевске Лермонтова и Столыпина-Монго: «Говорил Лермонтов и о вопросах, касающихся общего положения дел в России. Об одном высокопоставленном лице я услышал от него тогда в первый раз в жизни моей такое жесткое мнение, что оно и теперь еще кажется мне преувеличенным»⁷³.

В критическом отношении к николаевскому Петербургу сошлись и Вяземский, начинавший в это время уже терять свою независимость, и Смирнова, в общем никогда не выходившая из рамок верноподданнических чувств к царю и царице, и Лермонтов со своими резкими сарказмами, и молодежь из высокопоставленных семейств.

Но одним злословием оппозиционные настроения «шестнадцати» не ограничивались. Более глубокое представление о политических взглядах некоторых из «шестнадцати» можно составить, обратившись к биографиям таких его участников, как Ксаверий Браницкий и его друг М. Б. Лобанов-Ростовский.

4

Один из видных лидеров правого крыла польской политической эмиграции в 40—60-х годах, Ксаверий Браницкий уехал из России в 1845 году. Потомки известных польских магнатов, владевших огромными землями на

* Сын приятельницы Арсеньевой.

Украине и в Царстве Польском, Браницкие обладали колоссальным богатством. Заграничная политическая деятельность Ксаверия Браницкого выражалась главным образом в субсидировании различных польских националистических начинаний. В 1849 году он финансировал издание демократической газеты «Трибуна народов», редактируемой А. Мицкевичем; в 1854 году, во время Крымской войны, дал денег на организацию польского батальона в помощь французам; в 1863-м субсидировал для поддержки польского восстания неудавшуюся экспедицию, в которой участвовали Михаил Бакунин и сын Герцена.

Официально политическим эмигрантом Браницкий стал в 1849 году. Узнав о его участии в газете, направленной против политики русского царизма в Польше, Николай I потребовал его возвращения в Россию. Браницкий отказался. В 1854 году он перешел во французское подданство; «с самого детства я был француз в душе», — заявлял он. Закончил Браницкий свою политическую карьеру в рядах французской консервативной партии.

Прежде чем стать участником французской политической жизни, Браницкий прошел длинный путь. Он с восторгом принял весть о революции 1848 года. «Теперь можно будет свободно дышать и в Западной Европе», — сказал он и отказался от первоначального намерения уехать навсегда в Америку, считавшуюся тогда единственной демократической страной в мире. Он уважал «благородный ум» Герцена, оказал ему практическую помощь при получении визы для въезда во Францию в 1861 году.

Подробнее анализировать политическую позицию Браницкого в эпоху, отдаленную от поры его знакомства с Лермонтовым, у нас нет необходимости. Но история его эмиграции из России, рассказанная в уже знакомой нам книге «Славянские национальности», бросает ретроспективный свет и на историю общества «шестнадцати».

«Что касается меня, поляка, — пишет Браницкий, — я рано стал испытывать глубокую ненависть к императору Николаю, неумолимое бешенство которого обрушилось на кровавые останки моей страны. Тем не менее, уроженец Варшавы, я состоял на военной службе и к тому же всегда чувствовал определенное влечение к военному делу. Все шло хорошо до того момента, когда, после смерти моего отца, автократ решил сделать меня флигель-адъютантом (в сентябре 1843 г. — Э. Г.).

Эта милость (я об этом узнал только спустя долгое время от генерала В. Красинского) сопровождалась задней мыслью, которая живо рисует самого тиранического, быть может, в нашем веке государя.

— Я назначил, — сказал он фельдмаршалу Паскевичу, — Кс. Браницкого к своей особе, что ты думаешь об этом?

На это кн. Варшавский, всегда относившийся ко мне с исключительной добротой, принялся восхвалять меня, говоря, что он находит во мне задатки превосходного боевого офицера.

— Я вижу, — нетерпеливо прервал его сын Павла, — что за четыре года ты мало узнал своего адъютанта. Хороший он офицер или дурной, но ум его отвратительно направлен. Это молодая Франция, привитая к старой Польше. Теперь я буду иметь его под рукой. Если он попадетсЯ хоть в малейшем проступке, его участь будет тут же решена. Я его зашлю в такие места, где и вороны не собирают его костей!»

«Хотя я и не был осведомлен о намерениях этого наименее милосердного из всех отпрысков Гольштейн-Готторпского дома, — продолжает Браницкий, — одна мысль о постоянном общении с ним меня возмущала. На Кавказе, где он появлялся только изредка, я мог воевать против Шамиля с увлечением, которое вполне объяснимо моим тяготением к военному искусству. Но оставаться во дворце, вблизи императора, на службе у самодержца все-русского, — это превосходило меру моего терпения».

Тяжелая болезнь дала возможность Браницкому отпроситься для лечения за границу, а затем в 1845 году он под тем же предлогом вышел в отставку. В деле военного министерства сохранился документ, косвенно подтверждающий верность рассказа генерала Красинского о тайных намерениях Николая I при назначении Браницкого флигель-адъютантом. О его отставке военный министр извещал шефа жандармов гр. А. Ф. Орлова⁷⁴, — по-видимому, в 1845 году Ксаверий Браницкий состоял под секретным надзором.

О петербургском периоде Браницкий упоминает в своей книге довольно глухо. Он ничего не рассказал о причинах своего перевода в марте 1840 года адъютантом к наместнику польскому князю И. Ф. Паскевичу-Эриванскому, умолчал о том, что в 1841 году вынужден был перевестись в закавказскую армию по политическим причинам. Об этом упоминает в своих мемуарах Лобанов.

Летом 1841 года он встретился с Браницким в Закавказье — там, где должен был быть и Лермонтов, если бы он не свернул в Пятигорск. «Я застал уже в Темир-Хан-Шуре, — пишет Лобанов, — многих моих друзей и хороших знакомых, в том числе наиболее близкого мне, моего дорогого Ксаверия. Он по собственному побуждению приехал на Кавказ с разрешения фельдмаршала, чтобы избежать опасности быть вовлеченным в замыслы польских патриотов, которые упрекали его в том, что он носит русский мундир; во время одной ночной попойки некоторые из наиболее рьяных сорвали эполеты с его сюртука. Отрезвившись на следующий день, Ксаверий измерил умственным взором всю глубину падения, в которое увлекли его, и, полный благородного негодования на самого себя, явился к фельдмаршалу, чтобы передать ему о происшедшем и попросить его разрешения проделать одну кампанию на Кавказе. Разрешение было ему дано».

Сомневаться в правдивости сообщения Лобанова у нас нет оснований — другие его сведения подтверждаются. Например, он писал, что продолжал дружить с Браницким за границей, когда последний был уже политическим эмигрантом. Иллюстрацией этого заявления может служить парижский визит обоих друзей к Герцену. Как известно, царское правительство потребовало высылки из Франции русского революционера. 23 мая 1850 года А. И. Герцен писал по этому поводу Георгу Гервегу:

«Вчера мы от души хохотали над состоявшимся у меня утренним приемом. Я начинаю думать, что меня произвели в министры или в архиепископы. Граф Браницкий, который никогда раньше у меня не бывал, нанес мне визит, мотивируя это тем, что он слышал, будто я должен покинуть Париж, и что он хотел, и т. д., и т. д. ... Полчаса спустя входит стройный человек благородной наружности и начинает с того, что, будучи русским и почитателем такого-то и такого-то моего произведения, он, услышав о моем отъезде... *idem*. Я спрашиваю его, — с кем имею честь говорить, — оказалось, это князь Лобанов-Ростовский (муж дочери фельдмаршала Паскевича). Милый человек, хотя и русский офицер».

Герцен не мог не иронизировать над сочувствием его деятельности представителей знати, «человек столь ографленный и окняженный», — шутливо отзывался он о себе самом после этого визита, но через четыре дня пишет Гервегу уже серьезнее: «Князь Лобанов, о котором

я тебе говорил, человек благородный, со всей широтой и богатством русской природы, когда она не подлая скотина. Мы еще поговорим об этом — т. е. о нем»⁷⁵.

Можно предположить, что Лобанов либо предложил Герцену свои услуги для нелегальных связей с Россией, либо говорил с ним о своем желании примкнуть к политической эмиграции. Для обоих предположений имеются основания. Так, когда в 1847 году группе общественных деятелей (Кулиш, Чижов и Савич), возвращавшейся из Германии на родину, предстоял обыск или арест, у Ю. Ф. Самарина возник проект поручить Лобанову предупредить их о неминуемой встрече на границе с жандармами. «Сделать это письменно, — об этом и думать нельзя, — писал он в начале апреля 1847 года А. С. Хомякову, — надобно бы найти надежного и очень надежного человека, который бы ехал за границу. Предоставляю вам обдумать средства. Я могу указать только на одного человека — князя Лобанова, адъютанта Воронцова; он — мой университетский товарищ и собирается ехать за границу; на него вы можете положиться и предложить ему это поручение от моего имени»⁷⁶.

Что касается политической эмиграции, то в 40-х годах у Лобанова была мысль «о добровольном отречении от отечества, которое я любил, — пишет он, — но не мог видеть в том состоянии рабства, в котором оно погрязло». Впрочем, женитьба в 1849 году на дочери фельдмаршала Паскевича, вероятно, уже исключала подобное намерение. Вернувшись в Россию, Лобанов вскоре был назначен флигель-адъютантом.

На примере Браницкого мы уже могли убедиться, что подобное блестящее назначение нередко сопровождалось коварными замыслами Николая I. Лобанов тоже утверждал, что царь относился к нему с постоянной настороженностью. Он замечал, что Николай Павлович «подозревал» его «в слишком большой независимости мнений» и знал, что Лобанов «был хорошо образован, чего он нисколько не ценил».

Это недоверие дало себя знать еще в декабре 1839 года, когда Лобанов подал в отставку, находясь на службе во II Отделении императорской канцелярии. «Не уходят так со службы в ведомстве, носящем непосредственно имя государя императора, — сказал ему пораженный начальник Отделения гр. Д. Н. Блудов. Но царь дал свое «соизволение» на отставку Лобанова, сказав: «Я его

знаю, это беспокойная натура, которая нигде не уживется».

Через два года, уже в Тифлисе, Лобанов выразил желание перейти из гражданской службы в военную. Для получения офицерского чина ему надлежало сдать соответствующие экзамены при Генеральном штабе. Но ни представление Головина «высочайшего соизволения» не последовало. «Пусть начинает азбукою», — сказал Николай. Это решение возмутило даже такого высокого начальника, как главноуправляющий Грузией Головин. «Он сказал мне... — вспоминает Лобанов, — что я, конечно, сочту невозможным опуститься так низко, чтобы выполнить каприз монарха». Однако Лобанов оказался поклядистее своего начальника и поступил юнкером в Нижегородский драгунский полк. Только через два года он получил «за отличие в делах» офицерский чин.

15 июля 1844 года военный министр кн. А. И. Чернышев получил от Николая I бумагу со следующей сопроводительной надписью: «Крайне любопытная, верная и плачевная повесть всего, что делалось на Кавказе; она прислана от неизвестного прямо к наследнику; прочтите; хотя много нам известно, но без ужаса читать нельзя. Яснее ничего я не читал. По прочтении возвратите»⁷⁷.

Рассказ автора о состоянии царской армии живо напоминает картину, ставшую ясной всем современникам через десять лет, во время Крымской войны. В записке говорилось о воровстве интендантов, о пьянстве офицеров, противоречивых приказах командования. Аноним представил вместе с тем дельный доклад о военно-стратегическом положении на Кавказе и о государственном строе, установленном верховным имамом Шамилем. Автор выделил героизм отдельных русских офицеров, называя, например, Лабинцева, героя взятия Аргуана, «чудо-богатырем», но смело указывая наследнику, что причины неудач на Кавказе надо искать в отсутствии там генерала Ермолова, отставленного от всех дел еще в 1827 году.

Чернышев признал, что в этой записке, «к сожалению, много правды» — «нового же только то, что в хозяйственном управлении частями войск продолжают и ныне злоупотребления, на которые местное начальство не обращает должного внимания!». Упрекая составителя записки в преувеличении неприятельских сил и в неверном изложении хода военных действий, министр добавляет: «По всем догадкам моим сочинитель должен быть пра-

порщик Нижегородского драгунского полка кн. Лобанов, состоящий при генерале Фрейтаге. Этот молодой человек, при чрезмерно пылкой молодости! имеет большие способности, изучил арабский и татарский языки и напиток, как и вся почти тамошняя молодежь, неограниченным пристрастием к генералу Ермолову! — Кн. Лобанов служил прежде в министерстве иностранных дел и поступил в службу юнкером; в сем звании генерал Фрейтаг поручил ему команду в 60 казаков, с которою он отличился при Низовом укреплении, за что и произведен в прапорщики».

«Беспокойная натура», «чрезмерно пылкая молодость!», «имеет большие способности» и, наконец, ермоловец! — на языке Николая I и его приближенных эти рекомендации означали то же самое, что в позднейшие десятилетия царская охранка определяла словом «неблагонадежный».

Вот какой человек беседовал «с глазу на глаз» с Лермонтовым, прислушивался в дружеском кружке к его «интересной, всегда оригинальной и немного язвительной речи». И если Лобанов уверенно говорит, что причиной вторичной высылки Лермонтова на Кавказ послужил воодушевлявший его «дух независимости и безграничной свободы», мы можем ему поверить.

В записке князя А. И. Чернышева к своему суверену особенное внимание обращает на себя фраза относительно пристрастия Лобанова к опальному Ермолову: «как и вся почти тамошняя молодежь». Этими словами военный министр признал наличие большой оппозиционной группы в закавказской действующей армии. Лобанов только выразил ее общее мнение, характеризуя Ермолова такими чертами: «Ловкость его, хитрость вместе с силою и неизменною строгостию, умение выбирать людей, которым он вверял управление покорными народами, ласковость его с преданными нам, твердая воля, решительный характер и умение пользоваться обстоятельствами, может быть, и без побед доставили бы ему славу покорения всего Кавказа. Но с его отъездом все переменялось».

Интересно сравнить эту деловую характеристику Ермолова с поэтической, сделанной еще в 30-х годах писателем Марлинским в «Аммалат-Беке»: «Напрасно прячут они свои коварные замыслы в самые сокровенные складки сердца, — пишет он о чеченцах, — его (Ермолова) глаз преследует, разрывает их, как червей, и за 20 лет вперед угадывает их мысли и дела».

Таким образом, портрет Ермолова, вставленный Лермонтовым в его стихотворение «Спор», органически вплелся в традицию, сохраняющуюся среди большой прослойки офицеров закавказской армии.

Типично также увлечение Лобанова восточными языками. Это тоже традиция, державшаяся с тех времен, когда на Кавказе жил сосланный декабрист А. А. Бестужев, ставший знаменитым как писатель Марлинский. Известно, что в письме из первой кавказской ссылки к Св. Раевскому Лермонтов, повторив крылатую фразу Бестужева: «татарский язык необходим в Азии так же, как французский в Европе», сообщал, что «начал учиться по-татарски»⁷⁸. Лобанов тоже принялся за изучение языков отнюдь не из одних лингвистических интересов. Он был одним из первых русских офицеров, серьезно занявшихся изучением мюридизма, совершенно тогда еще неизвестного национального и политического движения*.

В Петербурге у Лобанова тоже было много точек соприкосновения с Лермонтовым и другими «шестнадцатью». Правда, об этом периоде своей жизни Лобанов по личным причинам вспоминает с отвращением. «Мне до такой степени стыдно того глупого и бесполезного образа жизни, который я вел в течение 16-ти месяцев моего пребывания в Петербурге, — пишет он, — что мне очень хотелось бы перескочить обеими ногами через этот злощастный период времени и перенестись прямо на Кавказ, который был для меня великой школой возрождения. Но нужно смириться, принять позу кающегося и признать себя хуже самого тяжкого преступника, ибо я совершал больше, чем преступление, я растрачивал время, невозвратное время юности, на безумства, развращая себя во всех отношениях, становясь идиотом и беспринципным человеком. Вот почему я с тех самых пор свято сберег в глубине души ненависть к Петербургу и ко всему, что от него исходит».

Трудно говорить о системе политических взглядов Лобанова в ту пору, когда он в двадцатилетнем возрасте встречался в Петербурге с Лермонтовым и «шестнадцатью». «В описываемую эпоху у меня были глаза, которые видели, но не было холодного рассудка, который мог

* Один отрывок из труда Лобанова о мюридизме был напечатан в 1865 г. в «Русском архиве», переданный редактору этого журнала младшим братом покойного уже автора — Я. Б. Лобановым-Ростовским. Другие разбросаны по советским государственным архивохранилищам.

бесстрастно судить, — пишет он по поводу своих путешествий с отцом по России в 1837 и 1838 годах. — ...впоследствии мне удалось составить себе ясное понятие о том, от чего происходят все эти бедствия моей несчастной родины, и я написал по этому поводу записку, которая разделила участь всего написанного мною: все это осталось неизданным, так как не могло быть опубликовано при правительстве, не допускающем никакой правды и живущем только мраком и ложью. Лишь несколько редких друзей познакомились с моими писаниями, ибо число людей мыслящих и интересующихся серьезными вопросами очень ограничено в России». Однако в мемуарах у него нередко прорываются отдельные политические суждения, из которых видно, что его воззрения на русский исторический процесс были выношены с детства. «Цари разрушили старинные города, которые были свободными общинами, призывающими князей, боровшимися с внешними врагами, гордыми, спорящими между собой и вновь соединявшимися. Их разрушение открыло широкую дорогу для тирании, которая насадила там ядовитые зерна рабства. Но помолчим, уйдем наше бесплодное негодование и вернемся к печальной истории моей жизни», — пишет он.

Князя Лобановы-Ростовские считались прямыми потомками Владимира Мономаха. Ростовские князья были последними присоединившимися к великому княжеству Московскому. И Михаил Лобанов не мог отойти от традиционной ненависти к Романовым, которую культивировали «рюриковичи». Он разделял политические иллюзии декабристов, идеализировавших значение новгородского и псковского веча.

Как и многие отпрыски дворянских семейств в Москве, он получил первые уроки гражданственности от домашнего учителя. Правила воспитания француза-республиканца сводили маленьких князей Лобановых «с ложного пьедестала на истинную почву чести без различия сословий». «Моя душа, — пишет М. Лобанов, — с восторгом впитывала этот новый гуманитарный кодекс, и я усвоил его себе быстро и настолько твердо, что могу по совести сказать, что никогда не отступил от него в течение всей моей достаточно долгой жизни, проведенной притом большей частью в России, где на каждом шагу человек испытывает соблазн позабыть его».

Отрицательное отношение к самодержцу вытекало у Лобанова не из династических счетов, а потому, что

современная действительность давала ему, как и многим его единомышленникам, свежие впечатления, питавшие эту историческую рознь. «Я осуждал покойного императора в том, — пишет он, — что он не мог в течение 26 лет забыть пролитую 14 декабря кровь, что он держал с тех пор под подозрением всех людей хороших фамилий, образованных и честных, удалял их, заменяя темными личностями, которые служили ему как лакеи, обманывая и обкрадывая его». Такая оценка политической обстановки (особенно в первое пятнадцатилетие царствования Николая I), когда на политическую арену еще не вышли новые общественные силы, вовсе не вытекала из субъективных настроений Лобанова. Это историческое явление, на почве которого выросли «Родословные» Пушкина, и «Смерть поэта» Лермонтова, и постоянные, настойчивые высказывания Пушкина о «мятежной» роли родовитого дворянства.

О глубоком водоразделе, пролегающем между романовской, особенно «николаевской», знатью и старинной, традиционной, говорили и многие иностранные наблюдатели, не всегда понимая его злободневные истоки. Ч.-Ф. Хеннингсен писал в 1844 году: «Офицеры гвардейской кавалерии и пехоты в большинстве своем набираются из земельной аристократии и семей высшего чиновничества, но есть многочисленные исключения. Знатную молодежь обычно принимают в гвардию в первую очередь за богатство, которое позволяет им увеличивать блеск воинской части, а также потому, что в этом находят то преимущество, что люди, которые благодаря своему титулу могли бы оказаться в ином месте опасными, оказываются непосредственно под наблюдением самодержца, который следит за ними со строгостью учителя к ученикам. Можно вообразить, что не упускают ни малейшей возможности унижить их или сломать их характер, — характер, обычно достаточно раболепный, но который считают слишком независимым у отпрысков богатой аристократии, воспитанных в уединении поместья, в семье, еще, быть может, оплакивающей свое падение, а не вымуштрованных в кадетских корпусах на механическое подчинение. Эти-то люди и являются основными объектами царевой строгости. Немецкие авантюристы и отпрыски бюрократии пользуются большею свободой, так как, будучи более податливы, чем высокая знать, и не имея никаких посягательств на личное влияние, они менее задевают никогда не засыпающую ревность»⁷⁹.

Иностранный наблюдатель констатирует факт, но толкует его по аналогии с западноевропейским историческим процессом. Он говорит о независимости богатых феодалов, наследников майоратных имений, не учитывая, что в крепостной России старинное дворянство было экономически разорено, а влияние его было обусловлено другими причинами. Американский публицист не понял русской специфики, при которой среда обедневшей знати была очагом оппозиционных настроений. В этой связи интересно познакомиться с отношением Лобанова к декабристам. Он определяет поражение восстания 1825 года как «печальный и кровавый исход трагедии, сочиненной и разыгранной благороднейшими детьми». «Это были поистине дети, — поясняет он, — ибо, если бы это были взрослые люди, они поняли бы, что необходимость обманывать солдат и народ, поднимая знамя, которое всегда было знаменем империи и абсолютизма, была неопровержимым доказательством неосуществимости их предприятия. Если б они только упомянули о республике или о конституции, они остались бы непонятыми; но если бы они объявили об уничтожении императорской власти и империи, их же солдаты и народ перебили бы их на месте. Жалкие люди, слишком скоро и преждевременно созревшие в теплицах иноземного воспитания, они, падая раньше времени, остановили рост национального дерева и того плода, который созревал, несмотря на заморозки, и который мог бы стать достоянием всего народа».

В этой тираде заключен намек на какие-то конструктивные пункты программы, которую могли бы начертать на своем знамени прогрессивные, по мнению Лобанова, элементы дворянства. Это высказывание перекликается с одним из образов лермонтовской «Думы», где поэт обращает свой взгляд не на требовательных и осуждающих потомков, а на предшественников опустошенного поколения: «Богаты мы, едва из колыбели, // Ошибками отцов и поздним их умом...» Если не расшифровать эти строки как намек на поражение декабрьского восстания и укор за погубленное преждевременным выступлением дело, они остаются совершенно не объясненными.

Но «Дума» написана в 1838 году. Стремительное творческое развитие Лермонтова уже к 1840 году увело его от политической идеологии просвещенного дворянства к более широким взглядам.

Касаясь неудач экспедиций чеченского отряда, в котором служил Лермонтов в 1840 году, один из дореволюционных военных историков писал: «Эти походы доставили русской литературе несколько блестящих страниц Лермонтова, но успеху общего дела не помогли»⁸⁰. Создается впечатление, что между поэтическим и историческим пониманием значения битвы при Валерике существовал огромный разрыв. Между тем сражение 11 июля 1840 года оставило неизгладимый след в памяти всех его участников и имело для них важное психологическое значение.

Лобанов писал уже в 1844 году: «Весною 1840 года начальник 20-й дивизии г. Галафеев ходил по Чечне и имел огромные потери без результатов. — Тут были дела жаркие, и самое ужасное из всех это было дело на речке Валерик».

По свежим следам событий Эрнест Штакельберг писал Константину Бенкендорфу 1 августа 1840 года: «Да, это было славное дело 11 июля. Вся Чечня поджидала нас у ручья Валерик (по-чеченски «ручей смерти») и заняла укрепленную позицию с центром и двумя флангами... под предводительством самых грозных вождей этой страны. Это был хороший момент, когда мы бросились в атаку. — Куринцы под звуки музыки бросились в середину под градом пуль, взяли приступом завалы, где произошла настоящая бойня. У нас вышло из строя 23 офицера и 345 солдат, чеченцы потеряли 600 своих, прошла неделя, пока мы собрали наших жертв фанатизма. Среди них из гвардейских один убит и четверо ранено, между другими Глебов, конногвардеец... Это самое красивое дело, которое я видел на Кавказе, и я счастлив, что в те несколько дней, которые я провел на левом фланге, мне удалось быть его свидетелем»⁸¹.

Эти письма лишний раз подтверждают, что Лермонтов останавливал свой взгляд художника на тех событиях, которые наиболее волновали его современников. Уже в апреле 1841 года поэт с волнением рассказывал в Москве Ю. Ф. Самарину о сражении 11 июля 1840 года. Между тем после валерикского боя Лермонтов еще не раз испытывал «сильные ощущения этого банка», участвуя в осенней чеченской экспедиции, командуя отрядом дороховских смельчаков. Видимо, в воспоминании Лермонтовым сражении соединились все те элементы, кото-

рые вызывали кавказских офицеров на размышления: жестокое кровопролитие, равное мужество и удалство обоих противников, бесплодность этой битвы (осенью чеченский отряд вернулся в тот же Гехинский лес, к той же речке Валерик) и неблагодарность Николая I, отказавшего в военных наградах многим участникам валерикского сражения.

В сражении при Валерике Лермонтов был окружен товарищами по кружку «шестнадцати». Все они разделяли общие настроения наиболее сознательной части гвардейских офицеров, о которой писал французский путешественник де Кюстин, посетивший Петербург в 1839 году: «Я видал в России людей, краснеющих при мысли о гнете сурового режима, под которым они принуждены жить, не смея жаловаться; они едут на войну в глубине Кавказа, чтобы там отдохнуть от ига, тяготеющего на них на родине. Эта печальная жизнь накладывает преждевременно на их чело печать меланхолии, контрастирующую с их военными привычками и беззаботностью их возраста; морщины юности обличают глубокие скорби и вызывают живейшее сострадание; эти молодые люди заимствовали у Востока его серьезность, у воображения северных народов — туманность и мечтательность: они очень несчастны и очень привлекательны; ни один обитатель иных стран не походит на них»⁸².

Кюстин был свидетелем типичного движения, поразившего его своим контрастом с лицемерием большинства петербургского светского общества. «В ту эпоху существовали только две дороги в России: первая, доступная единственно для весьма немногих привилегированных лиц, шла из Петербурга в Париж; вторая, открытая для всех остальных, вела на Кавказ. . .»⁸³ — говорил Карл Ламберт, которого мы видим на Кавказе рядом с Лермонтовым. «Я здесь в Ставрополе уже с неделю, — пишет поэт А. А. Лопухину 17 июня 1840 года, — и живу вместе с графом Ламбертом, который также едет в экспедицию. . .» (т. VI, с. 454).

Н. С. Мартынов, пересказавший вышеприведенное мнение Ламберта, добавлял: «Это была настоящая эмиграция». Слова графа Ламберта приобретают особенный вес, потому что он сам принадлежал к тем привилегированным лицам, которые по своим родственным связям и социальному положению имели возможность беспрепятственно получить годовой отпуск за границу. В Отдельный кавказский корпус Ламберт явился прямо из Неапо-

ля, где получил 10 февраля 1840 года «высочайшее соизволение» на свою просьбу о переводе в один из полков закавказской армии⁸⁴. Объездив всю Европу, Ламберт провел несколько месяцев в Париже, посещая там литературные и политические салоны, и был интересным собеседником для Лермонтова. В Ставрополе, подобно Лермонтову, он принадлежал к «цвету молодежи», который группировался осенью 1840 года вокруг И. А. Вревского и ссыльного декабриста А. М. Назимова. В Кисловодске Григорий Гагарин рисует его в общей группе с «шестнадцатую». В августе 1840 года Карл Ламберт участвовал в сражении при Валерике.

Рядом с ним в том же сражении — Валериан Канкрин, двадцатилетний сын министра финансов, прапорщик лейб-гвардии Измайловского полка, прикомандированный к Куринскому егерскому полку. «Он приготовлен уже к тем трудностям и лишениям, которые ожидают его на новом избранном им поприще, желание ознакомиться с коими и составляет главную цель его похода», — писал о нем отец 12 февраля 1840 года, снабдив сына целой кипой рекомендательных писем. Е. Ф. Канкрин предупреждает в одном из них об опасности для молодого офицера «быть вовлеченным» (куда?) и просит наблюдать за ним. Доверенное лицо министра сообщает ему из Ставрополя: «Графа во время бытности его в Ставрополе посещал я почти ежедневно и часто находил его одного за чтением книг, а иногда беседовавшим с одним или двумя офицерами»⁸⁵. Канкрин, явившийся в Ставрополь 6 декабря 1840 года, назван среди молодежи, посещавшей дом Вревского. Таким образом, по своему духу и Ламберт и Канкрин принадлежали к тому слою военной молодежи, который был ярко представлен в кружке «шестнадцати» «бывшими кавказскими офицерами», вновь отправившимися в действующий отряд кавказской военной линии.

В наградном списке командир отряда генерал Галафеев писал о Лермонтове: «Во время штурма неприятельских завалов на реке Валерик имел поручение наблюдать за действиями передовой штурмовой колонны и уведомлять начальника отряда об ее успехах, что было сопряжено с величайшею для него опасностью от неприятеля, скрывавшегося в лесу за деревьями и кустами. Но офицер этот, несмотря ни на какие опасности, исполнял возложенное на него поручение с отменным мужеством и хлад-

нокровием и с первыми рядами храбрейших ворвался в неприятельские завалы».

На правом фланге этой штурмующей колонны за действиями наблюдали Александр Долгорукий и Карл Ламберт и тоже «с первыми рядами храбрейших ворвались в неприятельские завалы». Фредерикс и Сергей Трубецкой, посланные к левой штурмовой колонне, «первые бросились вперед, одушевляя окружающих солдат примером неустрашимости». Солдат «правой штурмовой колонны» «с опасностью» «увлекли за собой» Жерве и Монго-Столыпин⁸⁶.

Участвовали они вместе с Лермонтовым и в осенней экспедиции, проводили осень и зиму 1840 года в Ставрополе и Тифлисе, а в феврале 1841-го потянулись вслед за Лермонтовым в Петербург.

«Как ужасна эта кавказская война, с которой офицеры возвращаются всегда больными и постаревшими на десять лет, исполненные отвращения к резне, особенно прискорбной потому, что она бесцельна и безрезультатна», — писала С. Н. Карамзина еще в 1837 году⁸⁷.

Товарищи Лермонтова вернулись в Петербург*, охваченные подобными же настроениями. Разочарование в целях и методах ведения войны на Кавказе заставило каждого из них (кроме Кс. Браницкого и Лобанова) настойчиво добиваться возможности остаться в России. Это удалось А. Долгорукому, который по истечении положенного срока вернулся в Царское Село в апреле 1841 года, но Н. А. Жерве, А. А. Столыпин (Монго) и С. В. Трубецкой должны были снова отправиться на Кавказ.

Дела о высылке одновременно с Лермонтовым обоих его будущих секундентов — Столыпина и Трубецкого (о Жерве переписка не сохранилась) дают яркий материал для понимания положения Лермонтова весной и летом 1841 года.

21 февраля 1841 года Монго-Столыпин обратился с официальным письмом к Бенкендорфу. Ссылаясь «на семейные дела и родственные связи», на близость смерти престарелых Н. С. и Г. А. Мордвиновых, он просил шефа жандармов ходатайствовать перед царем о причислении его «к такому роду службы», который позволил бы ему

* По сводкам, печатавшимся в «Русском инвалиде», и делам инспекторского департамента военного министерства значится, что Монго-Столыпин приехал в Петербург между 4 и 7 февраля 1841 г., Жерве — 11—12-го, Трубецкой — 20 февраля, по другим данным устанавливается, что Лермонтов приехал 7 или 8 февраля.

«провести недолгое остальное время при деде и бабке, а потом, — добавляет Столыпин, — что будет угодно его величеству, то пусть и будет со мною».

Несмотря на чрезвычайные обстоятельства Столыпина, Николай ему отказал: «обращался я с просьбой к господину генерал-адъютанту князю Меншикову об удостоении меня чести быть его адъютантом, но высочайшего соизволения на сие не последовало», — пишет А. Столыпин в том же письме.

Царь остался непреклонен. «Полк, и ежели действительно усерден, то пусть покажет, то я награжу и для старика и для него», — надписал он собственноручно на этом письме. Разъясняя «высочайшую волю» в ответном письме А. А. Столыпину, Дубельт писал 27 февраля 1841 года: «...как Нижегородский драгунский полк назначен в полном составе своем действовать против неприятеля, а потому вы, без сомнения, сами пожелаете воспользоваться случаем — еще более доказать на самом деле усердие ваше к службе, — и если вы, одушевляемые оным, поспешите возвратиться в полк и явите в рядах его новые и убедительные опыты сего усердия, тогда его императорское величество не преминет удостоить почтеннейшего деда вашего графа Николая Семеновича Мордвинова и вас самих знаками особенного своего монаршего благоволения»⁸⁸.

Николай I имел свои личные причины преследовать Столыпина-Монго*. Злопамятность царя была так сильна, что в обществе на многие годы передавались рассказы о его ненависти к Столыпину. Так, Б. Н. Чичерин, характеризуя Николая I, вспоминал: «Он терпеть не мог совершенно безобидного Монго-Столыпина за то, что он слыл первым красавцем в Петербурге»⁸⁹. К другим из «шестнадцати» царь отнесся в 1841 году гораздо мягче. Но особым преследованиям подвергался князь Сергей Васильевич Трубецкой. Он принадлежал к тому же семейству, что и «знаменитая петербургская красавица»** Мария Васильевна Столыпина и Александр Васильевич Трубецкой, фаворит императрицы, автор «Рассказа об отношениях Пушкина к Дантесу».

В обществе Сергей Трубецкой оставил после себя славу «знаменитого и высокодаровитого проказника»⁹⁰. Вспоминали, что он был «нелепым человеком» (Ф. Тют-

* См. главу «Лермонтов и двор», с. 59—60.

** Так назвал ее Л. Н. Толстой в «Хаджи-Мурате».

чев)⁹¹, «с умом, образованием, наружностью... прокутившим всю свою жизнь, как наиболее часто случается у нас с людьми счастливее других одаренными» (П. Х. Граббе), «человеком необыкновенных дарований, погубившим их чересчур широкой жизнью» (П. И. Бартев)⁹².

В 1851 году за увоз от мужа-деспота молоденькой Жадмировской Трубецкой был посажен Николаем I в страшный Алексеевский рavelин. Отсидев там свой срок, лишенный титула, чинов, знаков отличия, он был отдан в солдаты в один из пехотных полков в Петрозаводск, а затем в Оренбургский край. Через несколько лет Трубецкой получил отставку и умер в 1858 году в своем сельце Сапун Муромского уезда. Там с ним жила уже разведенная Жадмировская, любившая его.

Драматическая судьба С. Трубецкого привлекла внимание советского историка и литературоведа П. Е. Щеголева. Он посвятил несчастному очерк «Любовь в рavelине», входящий в состав его книги «Алексеевский рavelин» (М., 1929)*. Щеголев пользовался документами бывшего Департамента полиции и красочно описал подробности погони за беглецами⁹³. Но сейчас разыскано большее количество документов о С. Трубецком. Из них выясняется, что пристальное внимание царя к нему определилось уже давно. Весьма неровное начало службы С. Трубецкого в кавалергардском полку оборвалось его высылкой из Петербурга за «шалость» (это было общее дело с Н. А. Жерве и еще одним кавалергардом). Трубецкой был переведен на юг осенью 1835 года под наблюдение известного своей шпионской деятельностью И. О. Витта — начальника всех военных поселений в Новороссии. Два года, которые С. Трубецкой прослужил там в Орденском кирасирском полку, отмечены систематическими «секретными», «весьма нужными» предписаниями от имени царя об усилении строжайшего надзора за ненавистным ему офицером⁹⁴. В 1837 году, осенью, С. Трубецкой был возвращен в Петербург и определен в лейбгвардии кирасирский полк⁹⁵. Родные нашли, что за два года своей ссылки Сергей «остепенился»**. Но тут с ним стряслась новая беда.

Открылась, по выражению П. А. Вяземского, «романическая история или исторический роман» С. В. Трубец-

* Перепечатан в 1977 г. в № 12 журнала «Наука и жизнь».

** См. ниже письмо С. А. Бобринской мужу от 1 февраля 1938 г.

кого с фрейлиной двора Екатериной Петровной Мусиной-Пушкиной.

«Катрин Пушкина пошла, глупа, как мало женщин на земле, — ни зернышка здравого смысла в голове и никаких принципов поведения в сердце. Тот, кто женится на ней, будет отъявленным болваном, над которым она же не стесняясь станет издеваться, обуреваемая страстью к десяти другим, ибо в этом она превзошла всех»⁹⁶.

Этим несчастным оказался Сергей Трубецкой.

С. А. Бобринская, его двоюродная сестра, писала 1 февраля 1838 года своему мужу: «Нужно тебе рассказать последнюю новость. Ту, которая занимает все умы, как когда-то наводнение, как пожар Дворца, как смерть Пушкина год тому назад — как, наконец, все, что выходит за рамки обычной жизни, как неслыханная и ужасная катастрофа, — это женитьба Сергея Трубецкого на мадемуазель Пушкиной! Да, да — они женаты, она поселена в доме моего дяди, и не далее как сегодня утром тетя привела ее ко мне, и я насколько могла устроила своей новой кухне самый радушный прием»⁹⁷.

Отчего же поднялся такой шум, позволивший Бобринской кощунственно сравнивать скандальный брак Сергея Трубецкого с гибелью Пушкина?

Сенатор Дивов записал в своем дневнике за февраль:

«В городе только и говорят о свадьбе девицы Пушкиной с князем Трубецким. В этом браке будто бы принимает живое участие император. Венчание происходило в Царском Селе»⁹⁸.

«Молодые» были обвенчаны, якобы во второй раз в присутствии Николая I, в городе пошли толки. 25 февраля 1838 года Вяземский, сообщая об этой сплетне А. И. Тургеневу, писал: «Для большей однако же достоверности, сказывают, что еще раз их здесь перевенчали. Легко понять, какой это был удар Трубецкой-матери! Она дни три после того не плясала»⁹⁹. Молодые супруги разъехались уже летом 1838 года, после рождения дочери. А. И. Тургенев сразу после приезда в Петербург из-за границы, уже в августе 1839 года, записал в своем дневнике по поводу семейного скандала Трубецких: «И все это при дворе и близко!»¹⁰⁰

Царь систематически и упорно преследовал Сергея Трубецкого еще до увоза Жадимировской.

В конце декабря 1839 года Трубецкой был снова переведен, на этот раз — на Кавказ. Причиной указывались «шалости», крайняя недисциплинированность, дерзкие

выходки. В таком же духе отзывались о Сергее Трубецком современники, на основании чего П. Е. Щеголев изобразил в своем очерке фигуру типичного кавалергарда, сродни Дантесу. Но мы располагаем совсем другой характеристикой друга Лермонтова. Принадлежит она опальному генералу А. П. Ермолову.

9 февраля 1840 года Ермолов рекомендует С. Трубецкого своему бывшему адъютанту, назначенному командующим войсками на кавказской военной линии, П. Х. Граббе. Сергей Трубецкой был известен отставленному от дел полководцу, «по отзывам многих», как «молодец и весьма неглупый». «Разные обстоятельства понудили его оставить выгоды служения в гвардии, — пишет Ермолов, — и искать сколько возможно вознаградить потери с доброй волею, пламенным усердием решаясь посвятить себя всем трудам службы и опасностям, с нею сопряженным. Возьми под сильное покровительство свое молодого сего человека и время от времени останови внимание твое на том, который все употребит усилия его сделаться достойным. Употреби его так, чтобы не был он праздным. У тебя нет недостатка в случаях доставить занятие, а он хорошо весьма знает, что никаким другим образом ничего у тебя не достанет. По сей причине я не затруднился просить тебя о нем»¹⁰¹.

Трубецкой, «прикомандированный по кавалерии к Гребенскому казачьему полку», оправдал доверие, оказанное ему прославленным полководцем. 11 июля 1840 года в сражении при Валерике он и Д. П. Фредерикс, как мы уже говорили, были посланы к левой штурмовой колонне и «первые бросились вперед, одушевляя окружающих солдат примером неустрашимости».

В этом сражении Трубецкой был тяжело ранен. «Серж Трубецкой ранен в шею, надеются, что рана не тяжелая, об этом мне вчера написал император», — пишет императрица С. А. Бобринской 18 августа 1840 года из Фишбаха¹⁰². О ранении Трубецкого много говорили и в Москве и в Петербурге: товарищи, описывая это сражение в письмах к родным и друзьям, всегда упоминали о ране Трубецкого.

Осенью 1840 года Трубецкой пробыл до ноября в Ставрополе, где, так же как Лермонтов, Монго-Столпын, Ламберт, Канкрин и А. Долгорукий, посещал дом Вревского.

В октябре Трубецкой получил разрешение на отпуск в Петербург, но не мог своевременно им воспользоваться

по болезни. Уже в январе, ожидая в Бахмуте официального перенесения срока отпуска, он получил известие о смертельной болезни отца. Не дождавшись ответа, он ринулся в Петербург, приехал туда 20 февраля 1841 года, но опоздал. Старого князя В. С. Трубецкого похоронили 12 февраля. Николай I был при выносе, потом провожал тело верхом, во главе кавалергардского полка.

Тут произошло недоразумение, испортившее настроение царю, который, доехав только до Литейного, вернулся во дворец. Два кавалергардских офицера, Челищев и Апраксин, допустили неисправность при принятии штандарта из Зимнего дворца. Оба были переведены в армию, командир полка посажен под арест. «Вся эта история очень неприятна, — писал наследник великой княгине Марии Николаевне 25 февраля 1841 года, — и произвела очень дурное впечатление на публику, которая и без того любит все критиковать и контролировать. Мама, от которой это хотели скрыть, в конце концов все узнала, это, как всегда, послужило причиной ее слез — все это, повторяю, очень неприятно, надюсь, что это скоро позабудут»¹⁰³.

Письмо наследника живо иллюстрирует напряженную атмосферу в императорском Петербурге, где все страдали от произвола и капризов Николая Павловича. Челищева и Апраксина простили в день свадьбы наследника, но ничто не могло смягчить неугасающий гнев Николая на Сергея Трубецкого. Придравшись к тому, что сын покойного приехал в феврале в Петербург, не имея официального разрешения, царь подверг его мелочной и жесткой опеке.

В ответ на просьбу Трубецкого о продлении отпуска для лечения от раны и устройства дел по смерти отца Николай I приказал освидетельствовать больного лейб-медику Вилье. «Это необыкновенное счастье, — писал последний, — что пуля скользнула, так сказать, или только задела дыхательное горло, а не пробила его насквозь; иначе последствия такого ранения могли бы быть смертельны».

По распоряжению Вилье Трубецкого оперировали, пуля была вынута. Лейб-медик сообщал, что для окончательного излечения понадобится три месяца. Однако 28 февраля Клейнмихель послал Вилье «высочайшее повеление», чтобы он, Вилье, «каждую неделю лично осматривал сего офицера», и, — добавлял Клейнмихель, — «коль скоро найдете рану его в таком положении, что

путешествие в экипаже ему вредно не будет, уведомили бы о том меня, для всеподданнейшего его величеству доклада и распоряжения о выезде князя Трубецкого к месту его служения на Кавказе». Этими строжайшими мерами Николай I не ограничился. Он посадил Трубецкого под домашний арест. Об этом офицера извещал Клейнмихель:

«Государь император по всеподданнейшему докладу отзыва главного инспектора медицинской части по армии о сделанной вам операции высочайше повелеть соизволил: дозволить вам оставаться здесь для пользования до возможности отправиться к полку в экипаже, но предписать вам, чтобы вы ни под каким предлогом во время вашего лечения из квартиры вашей не отлучались, так как вы прибыли сюда без разрешения начальства».

В деле сохранился доклад Вилье о состоянии здоровья оперированного Трубецкого, на котором рукой военного министра Чернышева написано: «Доложено его величеству 22 марта». Эти всеподданнейшие доклады об одном офицере продолжались до самого отъезда Трубецкого из Петербурга в Ставрополь 25 апреля 1841 года¹⁰⁴.

В это время Лермонтов, на глазах у которого происходили все тревожения Трубецкого, уже выехал из Петербурга (14 апреля). В Москве, где он задержался на пять дней, его навестил Ю. Ф. Самарин. «Мы долго разговаривали, — записывает он. — Он показывал мне свои рисунки. Воспоминания Кавказа его оживили. Помню его поэтический рассказ о деле с горцами, где ранен Трубецкой... Его голос дрожал, он был готов прослезиться. Потом ему стало стыдно и он, думая уничтожить первое впечатление, пустился толковать, почему он был растроган, сваливая все на нервы, растворенные летним жаром. В этом разговоре он был виден весь. Его мнение о современном состоянии России: хуже всего не то, что некоторые люди терпеливо страдают, а то, что огромное большинство страдает, не сознавая этого».

Не случайно собеседник Лермонтова называет сражение при Валерике «делом с горцами, где ранен Трубецкой...». Многозначие, поставленное самим Самариным, восстанавливает для нас пропущенную ассоциацию. Между политическими выводами Лермонтова и издевательствами, которым подвергал Трубецкого Николай I, была прямая связь. Каждый эпизод, ранящий чувство человеческого достоинства и напоминающий о неограничен-

ной власти царя-самодура, приводил к размышлениям об общем политическом положении страны.

Приблизительный ход мыслей Лермонтова можно восстановить.

Царизм всдет на Кавказе жестокою агрессивную войну. При этом офицерский состав кавказской армии в значительной своей части состоит из ссыльных. Таковы участники сражения при Валерике. Царь не ценит их военной доблести. Раненый Трубецкой отправляется на Кавказ с фельдъегерем, как преступник. После смерти отца, которого он не застал, Трубецкого держат в Петербурге под домашним арестом (где, конечно, его навещал Лермонтов). Столыпину (который все же получил Станислава 3-й степени) не разрешено остаться в Петербурге, несмотря на тяжелые семейные обстоятельства. Лермонтову отказано в наградах, хотя его представляли даже к золотому оружию. У поэта отнята возможность заниматься своим прямым делом — литературным. Ему не оставлено никакой надежды. Все эти преследования со стороны Николая I диктуются его личными прихотями. Монарх расправляется с гвардейскими офицерами, как с крепостными рабами. Царь правит страной, как помещик своей вотчиной. Народ еще не созрел, чтобы осознать, где коренятся причины всех его бедствий и унижений. Пока не подымется крестьянство, поэту, интеллигенции, лучшим офицерам остается только «терпеливо страдать».

...То иль другое наказанье?
Не все ль одно. Я жизнь постиг;
Судьбе как турок иль татарин
За все я ровно благодарен;
У бога счастья не прошу
И молча зло переносу.

Эти фаталистические настроения, имеющие свою философскую традицию, можно объяснить также трезвым политическим анализом «современного состояния России», который Лермонтов и произвел в беседе с Самариным 1841 года. «Да, — возразят мне, — но «Валерик» написан в 1840-м!» А из чего это видно? Наоборот, запись Самарина отмечена чертами, позволяющими думать, что даже в апреле 1841 года «Валерик» не был еще написан. Показывая Самарину кавказские рисунки и рассказывая о валерикском сражении, Лермонтов обязательно прочитал бы собеседнику свое стихотворение, если бы оно было уже закончено. Вспомним, как он принес Са-

марину «Спор», написанный тогда же в Москве, в 1841 году.

Через год после смерти Лермонтова Самарину доставили с Кавказа копию «Валерика» с надписью «подарено автором». Черновой автограф был подарен Льву Арнольди Столыпиным тоже на Кавказе. Очевидно, Лермонтов написал «Валерик» в Пятигорске в 1841 году. Кстати говоря, при первой публикации «Валерика» в 1843 году указывалось, что это «последнее стихотворение Лермонтова».

1840 годом «Валерик» датируется по примитивной биографической связи. «Написано после сражения 11 июля 1840 года», — говорят нам комментаторы.

Е. М. Пульхритудова, автор статьи о «Валерике» в «Лермонтовской энциклопедии», отвергла мою передатировку, считая, что приведенные мною доводы «нельзя признать убедительными». Однако, останавливаясь на философском и историко-литературном содержании одного из значительнейших произведений Лермонтова, исследовательница игнорирует психологию творчества поэта. Дрожащий голос Лермонтова, рассказывающего Самарину о сражении при Валерике, слезы на глазах, желание оправдаться в непрошеном волнении, — разве это могло быть, если бы «Валерик» был уже написан, то есть все личные эмоции были бы уже переплавлены в гармоничное целое? Напротив, этот «поэтический рассказ», как определил его Самарин, вероятно, послужил стимулом для создания «Валерика». Ведь житейские и деловые рассказы об этом сражении уже были у Лермонтова. Так, существует мнение, что «Журнал военных действий», где описано дело 11 июля, вел Лермонтов, настолько детали этой деловой прозы схожи с реалистическим фоном «Валерика». Рассказывается об этом сражении и в письме Лермонтова к А. Лопухину, в сентябре 1840 года: «У нас были каждый день дела, и одно довольно жаркое, которое продолжалось 6 часов сряду. Нас было всего 2000 пехоты, а их до 6 тысяч: и все время дрались штыками. У нас убыло 30 офицеров и до 300 рядовых, а их 600 тел осталось на месте — кажется, хорошо! — вообрази себе, что в овраге, где была потеха, час после дела еще пахло кровью. Когда мы увидимся, я тебе расскажу подробности очень интересные...» Через несколько строк Лермонтов возвращается к этой теме: «Я вошел во вкус войны и уверен, что для человека, который привык к сильным ощущениям этого банка, мало найдется удовольствий,

которые бы не показались приторными». Это настроение резко отличается от идей «Валерика», очевидно позднейших, более зрелых.

В пользу передатировки этого произведения следует повторить еще доводы Ираклия Андроникова. В «Дополнениях» к собранию сочинений Лермонтова издательства «Художественная литература» 1965 года, признав мои соображения правильными, он писал (т. IV, с. 511): «Можно прибавить, что «Валерик» вряд ли мог быть написан по следам события, иначе трудно было бы объяснить строку «Раз, это было под Гехами», ибо понятия «раз», «однажды» возникают, когда событие отделено от рассказа временным промежутком. Немаловажно и то, что в первых посмертных собраниях сочинений Лермонтова «Валерик» печатался с датой «1841», выставленной по всем данным А. А. Краевским». (Впрочем, в следующем издании (1975 года) И. Андроников без всяких оговорок оставил прежнюю датировку «1840 год»). Как видим, впечатление от сражения при Валерике сохранялось у Лермонтова долго, и никаких доказательств нет, что стихотворение было написано по свежим следам событий.

Так же примитивно, «по содержанию», датируется другое стихотворение Лермонтова, записанное в альбоме 1840—1841 годов, — «Пленный рыцарь».

Считается, что оно написано в 1840 году, когда Лермонтов сидел под арестом за дуэль с Барантом. Но аллегорично «Пленный рыцарь» не следует толковать слишком прямолинейно, по наивной аналогии с внешними обстоятельствами. Когда Лермонтов принимал гостей на Арсенальной гауптвахте, ждал откликов на «Героя нашего времени» и жаждал перемен, он был далек от мыслей о гибели. Все современники отмечают, что он был весел, не унывал; «душа его жаждет впечатлений и жизни», — писал о нем Белинский в 1840 году. «Пленный рыцарь» резко диссонирует с этим настроением.

Мчись же быстрее, летучее время!
Душно под новой броней мне стало!
Смерть, как приедем, поддержит мне стремя;
Слезу и сдерну с лица я забрало.

Энергия и трагизм этих литых строк согласуются со словами поэта об ожидающей его скорой смерти, оброненными при последнем прощании в Петербурге с Е. П. Ростопчиной и Андреем Карамзиным, в Москве — с Ю. Ф. Самариним, в Пятигорске — с Екатериной Быхо-

вещ. Они вызывают в памяти также и образ Лермонтова, нарисованный в письме В. И. Красова, встретившего поэта в Москве в 1841 году: «Я не видел его 10 лет — и как он изменился! Целый вечер я не сводил с него глаз. Какое энергическое, простое, львиное лицо. Он был грустен, и, когда уходил из Собрания в своем армейском мундире и с кавказским кивером, — у меня сжалось сердце — так мне жаль его было. Не возвращен ли он?»¹⁰⁵

Когда в 1841 году Лермонтов ехал на Кавказ, переменяя себя, неохотно, и чувствовал, хоть не желал этому верить, что Николай I затягивает вокруг его шеи петлю, его лирика была пронизана темой смерти. Не говоря уже о таких стихотворениях, как «Любовь мертвеца», «Сон» или «Выхожу один я на дорогу...», не останавливаясь на стихотворении «Нет, не тебя так пылко я люблю...», где поэт ведет «таинственный разговор» с давно умершей женщиной, — мы можем проследить, как в лирику Лермонтова последнего года вторгается образ Ленского. В «Смерти поэта» двадцатидвухлетний Лермонтов пишет о создании гения Пушкина прямо, сравнивая участь Ленского с трагическим концом самого Пушкина:

И он убит — и взят могилой,
Как тот певец, неведомый, но милый,
Добыча ревности глухой,
Воспетый им с такою чудной силой,
Сраженный, как и он, безжалостной рукой.

В 1841 году тема Ленского проходит как подтекст в стихотворениях «Оправдание» и «Сон». Сравним:

Недвижим он лежал, и странен
Был томный мир его чела.
Под грудь он был навывлет ранен;
Дымясь, из раны кровь текла.
Тому назад одно мгновенье
В сем сердце билось вдохновенье,
Вражда, надежда и любовь,
Играла жизнь, кипела кровь...

*(Пушкин, «Евгений Онегин»,
глава шестая, строфа XXXII)*

И будет спать в земле безгласно
То сердце, где кипела кровь,
Где так безумно, так напрасно
С враждой боролася любовь...

(Лермонтов, «Оправдание»)

Образу романтического поэта начала века, в котором все было гармонично и в кипенье крови и игре жизни че-

редовались вражда, надежда и любовь, Лермонтов противопоставляет образ поэта переходного времени, призванного выразить раздвоенность сознания своего поколения, в котором не было места надежде.

На то, что в стихотворении «Сон» слышны отзвуки описания гибели Ленского, в литературе уже указывалось. Они даны в двух вариациях, в первой и последней строфах:

В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая еще дымилась рана,
По капле кровь точилась моя.

И снилась ей долина Дагестана;
Знакомый труп лежал в долине той;
В его груди дымясь чернела рана,
И кровь лилась хладящей струей.

Мотивы гибели, пронизывающие последние стихотворения Лермонтова, были вызваны ясным пониманием конкретных фактов, влиявших на его судьбу. «Он мне всегда говорил, — писала Екатерина Быховец из Пятигорска, — что ему жизнь ужасно надоела. Государь его не любил, великий князь ненавидел, не могли его видеть»¹⁰⁶. Тут в наивной форме выражено истинное положение поэта в 1841 году*.

Каждый, кто встречал в это время Лермонтова, свидетельствовал о его новых творческих планах. Печатая в апрельской книге «Родину», редакция «Отечественных

* Против передатировки «Пленного рыцаря» высказался С. Андреев-Кривич (см. его книгу «М. Ю. Лермонтов в Кабардино-Балкарии». Нальчик, 1979, с. 170—171). Он сопоставил это стихотворение с «Благодарностью» и «Тучами» 1840 г., прочитав и в них тему трагической гибели. Но это неверно: в первом герой просит смерти, отвергая не удовлетворяющую его жизнь, а во втором вообще нет темы гибели, оно посвящено теме изгнания и родины. В «Пленном рыцаре», как и в приведенных мною стихах 1841 г., грядет неумолимый образ непрощенной, неминуемой гибели. Кроме того, лирическим центром этого стихотворения надо признать строку «Душно под *новой* броней мне стало». Хотя Лермонтов и не был в этом последнем году под арестом на Арсенальной гауптвахте, беспощадный отказ Николая I дать поэту отставку по праву мог быть понят Лермонтовым как смертный приговор. Ну а что касается играющих над Невой птиц, видных из окна Арсенальной гауптвахты, то этот традиционный мотив тюремной поэзии мог быть использован Лермонтовым в аллегории «Пленный рыцарь» по воспоминаниям о своем прошлогоднем заключении, а не под свежим впечатлением, как думал Андреев-Кривич.

записок» поместила перед стихотворением заметку, в которой сообщалось: «Тревоги военной жизни не позволили ему спокойно и вполне предаваться искусству, которое назвало его одним из главнейших жрецов своих; но замыслено им много и все замышленное превосходно. Русской литературе готовятся от него драгоценные подарки»¹⁰⁷. В замаскированном некрологе Лермонтова Белинский, сообщая о задуманной покойным исторической эпопее, писал: «Уже кипучая натура его начинала устывать, в душе пробуждалась жажда труда и деятельности, а орлиный взор спокойнее стал вглядываться в глубь жизни. Уже затевал он в уме, утомленном суетою жизни, создания зрелые...»¹⁰⁸ Е. А. Свербеева писала 10 мая 1841 года А. И. Тургеневу: «Лермонтов провел в Москве пять дней, он поспешно уехал на Кавказ, торопясь принять участие в штурме, который ему обещан. Он продолжает писать стихи со свойственным ему бурным вдохновением»¹⁰⁹. Свербеева дает понять А. Тургеневу, что Лермонтову не было разрешено оставаться дольше в Москве и было предписано скорее отправляться в армию. Лермонтов был в это время уже в Ставрополе и писал оттуда Карамзиной: «Я не знаю, будет ли это продолжаться; но во время моего путешествия мной овладел демон поэзии, или — стихов. Я заполнил половину книжки, которую мне подарил Одоевский...» (VI, 759).

В том же письме Лермонтов пишет:

«Итак, я уезжаю вечером. Признаюсь вам, что я порядком устал от всех этих путешествий, которым, кажется, суждено длиться вечно... Пожелайте мне счастья и легкого ранения, это самое лучшее, что только можно мне пожелать».

Резкий контраст между той судьбой, которую Николай I придумал для Лермонтова, и огромной творческой силой поэта сквозит в каждом из приведенных писем. Характерно, что параллельно с мотивами гибели в поэзии Лермонтова последнего года появляется образ «пленного рыцаря» или «царевича» с сильной боевой рукой, застигнутого враждебной судьбой.

«Он говорил мне о своей будущности, о своих литературных проектах, и среди всего этого он проронил о своей скорой кончине несколько слов, которые я принял за обычную шутку с его стороны. Я был последний, который пожал ему руку в Москве», — писал Ю. Самарин И. Ггарину 3 августа 1841 года¹¹⁰.

Общие контуры литературных замыслов Лермонтова можно реконструировать на основании его последних произведений — «Спора» и «Кавказца».

6

«Смерть нашла его между величавых гор Кавказа, посреди обильной, уму и сердцу говорящей деятельности», — писал о поэте А. В. Дружинин¹¹¹. Критик высоко оценивал творчество Лермонтова последнего года жизни. Однако, говоря о «деятельности», он имел в виду военную службу поэта. Он намекал не только на общеизвестную храбрость и профессиональное умение Лермонтова-офицера, но и на другие стороны его военной жизни. «Только один период из жизни поэта известен с некоторою подробностью, мы говорим про кавказскую службу», — писал он.

Утверждая, что «память о Лермонтове до того свежа на Кавказе, что сотни сведений о его жизни придут к биографу сами, по первому востребованию», А. В. Дружинин не смог тем не менее поделиться с читателем собранными там известиями. «Но и тут с новой силой встречается препятствие, о котором мы уже говорили, — объясняет он, — все почти лица, имевшие хорошее или дурное влияние на Лермонтова в этот период, еще живы, и касаться его сношений с ними никакой биограф не имеет права»¹¹².

Дружинин писал свою статью в 1860 году, когда никого из известных нам кавказских друзей Лермонтова не было уже в живых. Очевидно, автор имел в виду как-то другие связи поэта в кавказской армии. Возможно, их учитывал и П. К. Мартьянов, когда после расспросов в 1870 году В. И. Чилаева заявил: «Лермонтов рвался «в высшие сферы влияния и дела»¹¹³.

Трудно восстановить в полном объеме, кого имел в виду Дружинин, называя кавказских военных деятелей, имевших влияние на поэта. Больше всего данных сохранилось о сношениях Лермонтова с П. Х. Граббе.

Расположение П. Х. Граббе к поэту известно. Генерал ценил талант Лермонтова и старался доставить ему возможность отличиться в делах.

После валерикского сражения и осеннего дела, где Лермонтов командовал дороховским отрядом, П. Х. Граббе назначил его состоять при себе «во время второй

экспедиции в Большой Чечне с 9-го по 20-е число ноября» 1840 года. В наградном списке это решение мотивировано «отличной службой поручика Лермонтова и распорядительностью во всех случаях, достойных особенного внимания». Эти качества, как сказано в наградном списке, «доставили ему честь быть принятым г. командующим войсками в число офицеров, при его превосходительстве находившихся»¹¹⁴.

Описывая в своих воспоминаниях встречи с Лермонтовым в Ставрополе у Граббе, А. И. Дельвиг показывает, с каким уважением относился к поэту командующий войсками. «За обедом всегда было довольно много лиц, но в разговорах участвовали Граббе, муж и жена, Лев Пушкин, бывший тогда майором, поэт Лермонтов, я и иногда еще кто-нибудь из гостей. Прочие все ели молча. Лермонтов и Пушкин называли этих молчаливых картинною галереєю»¹¹⁵. Первую встречу с поэтом в доме Граббе Дельвиг датирует 6 января 1841 года. Около 14-го Лермонтов получил от командующего частное письмо для передачи в Москве А. П. Ермолову. Граббе упоминает об этом в другом своем письме к А. П. Ермолову, написанном уже 15 марта. «Кн. Эристов, — пишет он, — доставил на прошлой неделе нашего выборного человека с письмом вашим от 17 пр(ошлого) месяца. В этом письме вы упоминаете о г. Бибикове, о котором вы за три дня перед тем писали ко мне, в ожидании его я замедлил ответом на последнее, не имея сведения, получены ли два письма мои к вам, одно по почте, другое с г. Лермонтовым отправленное. Но ни г. Бибикова, ни этого сведения еще покуда нет. Долее ответа откладывать не смею и не могу»¹¹⁶.

Письмо это (впервые опубликованное С. А. Андреевым-Кривичем) дало повод для многих толкований характера неофициальных отношений П. Х. Граббе с бывшим «проконсулом Кавказа» и об участии в этом Лермонтова. Правда, не было учтено, что московская встреча Лермонтова с Ермоловым в январе 1841 года была, вероятно, не единственной.

Так, двоюродный дядя поэта, П. И. Петров, оказывавший ему покровительство в Ставрополе в 1837 году, в прошлом был одним из любимых и высокоцененных Ермоловым его адъютантов. Петров принадлежал к числу культурнейших и передовых людей своего времени и сохранял дружеские отношения с отставленным полководцем до конца своих дней. В семействе Петровых царил

настоящий культ Ермолова¹¹⁷. Возможно, что и до 1841 года Лермонтов тоже имел случай видеть опального генерала.

Мы уже говорили, что С. В. Трубецкой явился к Ермолову в феврале 1840 года и получил от него отличную рекомендацию (заметим кстати, что двоюродный брат Трубецкого, Н. А. Самойлов, в 20-х годах служил под началом Ермолова). В это время в Москве установилось настоящее паломничество к популярному полководцу. Так, из участников валерикского сражения с письмом от Ермолова явился также В. Е. Канкрин. Возможно, что и Лермонтов, назначенный в Тенгинский пехотный полк, не отказался от возможности обратиться к Ермолову, и этим объясняется его решение проситься в 1840 году в чеченский отряд, к Граббе. «Надобно отдать справедливость благородной гвардейской молодежи, что, по какой-то надежде более жарких действий на левом фланге, все просились ко мне, и я по настоящему наряду только мог немножко отправить на Кавказ и на правый фланг», — писал П. Х. Граббе А. П. Ермолову в 1840 году.

Вспомним, что военный министр А. И. Чернышев, отмечая «чрезмерно пылкую молодость» М. Б. Лобанова-Ростовского, указывал, что он, «как и вся тамошняя молодежь», «питает чрезмерное пристрастие к Ермолову». Многие разоблачения Лобанова Чернышев старался отвести, мотивируя это тем, что автор «Записки» воевал только «на левом фланге».

Всей кавалерией на левом фланге командовал полковник князь В. С. Голицын, 4 января 1840 года А. П. Ермолов дал ему блистательную рекомендацию.

«К тебе отправляющийся полковник князь Голицын, податель письма сего, хоть известный тебе, убедительно просил меня рекомендовать его в твое распоряжение, ты знаешь его как умного человека и храброго офицера, а я прибавлю к тому, что в бытность его в Грузии в мое время я во всех отношениях был им совершенно доволен»¹¹⁸.

«Во всех отношениях...» — в устах Ермолова это значило, что Голицын ненавидел аракчеевщину и двор, был антикрепостником, умным и образованным человеком. Это нам надо очень запомнить, потому что Голицын представлял Лермонтова к золотому оружию за осеннюю экспедицию 1840 года. А в письме о гибели Лермонтова, присланном из Пятигорска в Москву, заверял, что «армия

закавказская оплакивает потерю храброго своего офицера»*.

Таким образом, на Кавказе Лермонтов был среди ермоловцев. Вероятно, это тоже сыграло свою роль в запрещении царя откомандировывать поэта от Тенгинского полка: царь хотел изолировать Лермонтова от офицеров, зараженных «ермоловским» духом.

И. Л. Андроников уже показал, что встреча Лермонтова с А. П. Ермоловым (и связи с «ермоловцами», — добавим мы) нашла свое отражение в стихотворении «Спор». Образ полководца, нарисованного поэтом во главе победоносного войска на Кавказе, является портретом Ермолова. Можно добавить, что писатель А. Дюма, посетивший Кавказ уже в 1852 году, перевел «Спор» на французский язык и прямо поставил в стихах имя Ермолова. Он послал свой перевод самому полководцу, утверждая, что имя его до сих пор «как эхо» гремит по всему Кавказу. Перевод и письмо Дюма долгие годы хранил у себя один из бывших адъютантов Ермолова и только в 1871 году передал эти реликвии в редакцию «Русской старины», где они были напечатаны¹¹⁹. Заметим, что П. А. Ефремов имел намерение печатать «Спор» с приложением портрета Ермолова¹²⁰.

Все это показывает, что Лермонтов вместе с товарищами по кружку «шестнадцати» влился в широкую среду оппозиционно настроенных офицеров, связывавших свои надежды на оздоровление армии с возвращением Ермолова. Этой идеей была продиктована «записка» Лобанова, поданная наследнику в 1844 году.

Но связи Лермонтова с «ермоловцами» не доказывают, что он целиком разделял их иллюзии и не относился критически к выдающейся, но противоречивой фигуре прославленного полководца.

В то время как имя Ермолова продолжало служить знаменем политической оппозиции для военной молодежи, сам он вел себя уклончиво. «Он мог быть в рядах оппозиции и даже казаться стоящим во главе ее», — подводил итог его деятельности П. А. Вяземский, — но «это было одно внешнее явление, которое многих обманыва-

* Некоторые биографы Лермонтова пытались взять под сомнение достоверность сведений Голицына о смертельной дуэли поэта, придавая преувеличенное значение размолвке лермонтовского кружка с В. С. Голицыным из-за устройства бала. На подробностях, сообщаемых Голицыным, и на взаимоотношениях с ним Лермонтова в Пятигорске останавлиюсь в своем месте.

ло»¹²¹. Совершенно в том же духе высказался один «умный человек», «умное мнение» которого М. А. Корф изложил в 1844 году в своем дневнике: «Ермолов в настоящую минуту в понятиях русских не человек, а — популяризированная идея. Когда в верхних слоях давно уже разочаровались на его счет или по крайней мере уверяют всех в этом разочаровании, частию может быть из тайной зависти, — масса все еще видит в нем великого человека и поклоняется под его именем какому-то полумифическому идеалу»¹²².

Статс-секретарь развенчивает репутацию Ермолова с правительственной точки зрения. Но ведь в революционной среде тоже были разочарованы в Ермолове.

Декабрист Н. Р. Цебриков писал: «Ермолов мог предупредить арестование столько лиц и казнь пяти мучеников; мог бы дать России Конституцию, взяв с Кавказа дивизию пехоты, две батареи артиллерии и две тысячи казаков, пойдя прямо на Петербург. Тотчас же он имел бы прекрасный корпус легкой кавалерии донцов с их артиллерией, столько, сколько бы он захотел. Донцы были недовольны правительством... Они до одного все восстали бы. А об 2-й армии и об Чугуевских казаках и говорить нечего. Она вся была готова, лишь бы девизом восстания было освобождение крестьян от помещиков, десятилетняя военная служба и чтобы казна шла на нужды народа, а не на пустую политику самодержца-деспота. Помещики-дворяне не смели бы пикнуть и все до одного присоединились бы к грозной армии, ведомой любимым полководцем. Но Ермолов... был всегда только интриган и никогда не был патриотом»¹²³.

Обвинения Ермолова не могли остаться незамеченными Лермонтовым: в 1837 году он дружил с Александром Одоевским, переведенным на Кавказ прямо из сибирской ссылки (известно, что Грибосдов и Кюхельбекер, с которыми Одоевский был наиболее близок перед восстанием, разочаровались в Ермолове)¹²⁴. В 1840 году Лермонтов, проводя три недели в Москве перед кавказской ссылкой, почти ежедневно встречался с Александром Ивановичем Тургеневым. В дневнике последнего есть много упоминаний о беседах его в московских кружках на кавказские темы; Тургенев, так же как и Лермонтов, был свидетелем общего паломничества к Ермолову. Может быть, он не мог тогда рассказать Лермонтову о том, что Пушкин в своем дневнике назвал Ермолова «великим шарлатаном», но об отношении поэта к пове-

денню этого политического деятеля Тургенев знал слишком хорошо. «Ермолов, желая спасти себя, спас Грибоедова, узнав, предварил его за два часа», — передает в своем дневнике А. И. Тургенев слова Пушкина, сказанные ему в январе 1837 года¹²⁵. Грибоедов успел перед обыском сжечь бумаги, компрометирующие не только его, но и Ермолова. Об этих истинных причинах великодушного поступка Ермолова Пушкин говорил с А. Тургеневым незадолго до своей смерти.

Трудно допустить, чтобы, наблюдая в 1840 году возросшее значение Ермолова в Москве, Лермонтов и Тургенев не обменивались впечатлениями по этому поводу и не вспоминали пушкинский портрет Ермолова из «Путешествия в Арзрум»*.

В этой связи надо пересмотреть трактовку И. Андрониковым выделенной им фразы из очерка «Кавказец»: «Бурка, прославленная Пушкиным, Марлинским и портретом Ермолова, не сходит с его плеча». И. Андроников видит здесь особый «острый политический смысл», заявляя: «Ермолов долгие годы находился в опале. Прославлять его было нельзя. Лермонтов вышел из положения, упомянув его бурку»¹²⁶.

Прежде всего надо указать, что Лермонтов, как и замечает сам И. Андроников, уже не раз упоминал имя Ермолова в своих предыдущих произведениях. Так, в «Бэле» он показал, «чем был Ермолов в глазах рядового кавказца», в реплике Максима Максимыча: «Да, я уж здесь служил при Алексее Петровиче», — отвечал он, приосанившись». Заметим, что Лермонтов не только упомянул здесь имя и отчество опального генерала, но сам в подстрочном примечании разъяснил: «Ермолове». Это было беспрепятственно пропущено цензурой трижды при жизни Лермонтова: в 1839 году — в «Отечественных записках», в 1840 году — в первом издании «Героя нашего времени» и в 1841 году — во втором издании романа. В «Валерике», напечатанном в 1843 году, при изображении разговора солдат «о старине» Лермонтов, не опасаясь цензуры, пишет: «...Как при Ермолове ходили // В Чечню, в Аварию, к горам...» Если в «Споре» имя Ермолова не названо, то, конечно, это было подсказано

* Подробнее о двойственности Ермолова см. в книге Ильи Фейнберга «Незавершенные работы Пушкина» (М., Советский писатель, 1962, с. 375—379), где дан мастерской анализ литературного портрета Ермолова, нарисованного Пушкиным в «Путешествии в Арзрум».

всем стилем художественной аллегории, а не только политическими соображениями.

Необоснованно поэтому и предположение исследователя о мотивах просьбы Лермонтова напечатать «Спор» в журнале «просто без всяких примечаний от издателя, с подписью его имени»¹²⁷. И. Андроников подозревает, что Лермонтов опасался, как бы издатель «Москвитянина» М. П. Погодин не вздумал назвать в редакционном примечании имя Ермолова. Но распоряжение Лермонтова, несомненно, было вызвано совсем другими, более сложными, соображениями. Ведущий сотрудник «Отечественных записок» отдал свое стихотворение не в свой журнал, а в новый московский орган славянофильского толка. Стихотворение Лермонтова мало соответствовало, конечно, всему направлению «Отечественных записок». Недаром Белинский отзывался о «Споре» с некоторым недоумением. «Сколько роскоши в «Споре Казбека с Эльбрусом», хотя в целом мне и не нравится эта пьеса...»¹²⁸ — писал он В. П. Боткину. Очевидно, Лермонтов опасался, что его приношение в «Москвитянин» будет истолковано редактором этого журнала как свидетельство перехода поэта на славянофильские позиции.

Это тем более вероятно, что Ю. Ф. Самарин, посылая Погодину «Спор», писал: «Радуюсь душевно и за него, и за вас, и за читателей «Москвитянина». А. С. Хомяков объяснял сотрудничество Лермонтова в московском журнале проще: он растолковал этот поступок поэта только как тактический прием литературной борьбы. «В «Москвитянине» был разбор Лермонтова Шевыревым и разбор не совсем приятный, по-моему, несколько несправедливый, — писал он Н. М. Языкову летом 1841 года. — Лермонтов отместил очень благоразумно: дал в «Москвитянин» славную пьесу, спор Шата с Казбеском, стихи прекрасные»¹²⁹. Лермонтов, зная, с каким острым интересом относился читатель к каждому его выступлению, проявил все-таки осторожность, чтобы не дать повод к слишком решительным толкованиям его выбора.

И. Андроников видит глубокую внутреннюю связь между «Спором» и «Кавказцем», рассматривая оба произведения как «ермоловские». Но «Кавказец» стоит в одном ряду с «Валериком» и «Завещанием». Руссоистские размышления о ненужности войн выросли на почве реальной действительности — затянувшаяся война на Кавказе, противоречие между общегосударственным

значением этой войны и ее жестокими формами. Показывая недоумение, растерянность и разочарование рядового офицера, Лермонтов вместе с тем развенчивает романтику Кавказа. В этом отношении очерк поэта стоит в одном ряду с последней его неоконченной прозой («Штосс»), где ставится проблема романтизма в искусстве и в психике современного человека. Чтобы напомнить читателю эту общеизвестную тенденцию «Кавказца», приведем несколько выдержек:

«Он во сне совершает рыцарские подвиги — мечта, вздор...»

«Скучно!...»

«...жары изнурительны летом, а осенью слякоть и холода...»

«...он стал мрачен и молчалив...»

Конец «настоящего» кавказца печален: либо он «выставляет ноги на пенсион», то есть умышленно ищет легкой раны, чтобы получить «отставку с пенсионом», либо «слагает свои косточки», либо женится. В последнем случае он просится в гарнизон, где «жена предохраняет его от губельной для русского человека привычки». Да и «штатский» кавказец, «послужив там несколько лет, возвращается в Россию с чином и красным носом».

И. Андроников правильно указывает, что обрисованный Лермонтовым типичный кавказец — «офицер ермоловской школы». Это определяется его возрастом: сорок — сорок пять лет. Он, так же как и Максим Максимыч, служил еще при Ермолове, в 20-х годах. Но Лермонтов тут же изображает слабую сторону культа этого военного вождя, в основе которого тоже лежала романтика. Она была вскормлена не только действительными качествами любимого полководца, но и эстетическими впечатлениями эпохи. В ряду факторов, влиявших на воображение военной молодежи, Лермонтов называет «поэтический», по выражению Пушкина, портрет Ермолова работы Доу. Пресловутая бурка несет в лермонтовском описании особые художественные функции. Она неудобна, но играет роль фетиша для кавказца по той же причине, по какой он «говорит кому угодно, что на Кавказе служба очень приятна», «хотя порой служба ему очень тяжела». По тем же мотивам он упрямо читает Марлинского и «говорит, что это очень хорошо», но «в экспедицию больше не напрашивается». Художественной деталью, вобравшей в себя это стойкое исповедание уже обманувшего символа веры, и является его подчеркнутая

кавказская одежда: «Бурка его тога, он в нее драпируется; дождь льет за воротник, ветер ее раздувает — ничего! бурка, прославленная Пушкиным, Марлинским и портретом Ермолова, не сходит с его плеча».

От этого критического анализа далеко до прославления опального генерала, которое видится в очерке Лермонтова И. Андроникову как скрытый подтекст. Ермолов и «ермоловцы» взяты писателем как историческая данность, как явление, нуждающееся в критическом рассмотрении.

Весь в движении времени, Лермонтов сопоставляет разные эпохи и убеждается, что даже положительный тип скромного и храброго офицера «ермоловской» школы подвергся влиянию общего застоя в николаевскую эпоху. Большинство исследователей рассматривает «Кавказца» как развитие образа Максима Максимыча. Некоторые прямо утверждают, что в очерке Лермонтов выразил то, что осталось недосказанным в романе. Нам представляется это недоразумением: «Герой нашего времени» — художественно целое произведение, в котором сказано автором все, что нужно. «Кавказец» — очерк, то есть произведение жанра, преследующего совсем другие задачи. В «Бэле», «Максиме Максимыче» и «Фаталисте» Лермонтов — родоначальник психологического романа в России — ввел в образе Максима Максимыча нового героя, «история души» которого представляет не меньший интерес, чем психологические изгибы Печорина. В «Кавказце» этот образ «простого человека» описан как распространенный тип, который нужно рассматривать в его историческом развитии.

Начинается очерк с автопародии: «Настоящий кавказец человек удивительный, достойный всякого уважения и участия». Вспомним знаменитый своей неожиданностью финал «Бэлы»: «Сознайтесь, однако ж, что Максим Максимыч человек достойный уважения?.. Если вы признаетесь в этом, то я вполне буду вознагражден за свой, может быть, слишком длинный рассказ». Это было написано в 1838 году, после первой кавказской ссылки, когда Лермонтов впервые для себя открыл там новый для него положительный тип и ввел его в роман для контраста с интеллигентным Печориным. В очерке автор говорит об этом типе с иронией, пусть любовной, но все-таки с иронией. Прежде всего, самое определение «настоящий» кавказец представляет собою ходячее понятие, выражающее не авторское отношение к этому типу, а при-

нятое среди офицеров Отдельного кавказского корпуса. На это указывает курсив, которым в одном месте Лермонтов выделяет это слово, заменяющий в то время кавычки*.

Какова же отличительная черта «настоящего» кавказца? Вовсе не преклонение перед Ермоловым. «Кавказец есть существо полурусское, полуазиатское» — вот его отличительный признак. Это не похвала в устах Лермонтова. Он видит в «кавказцах» черты некоей замкнутой касты, специфика которой непонятна «постороннему». Кто же этот непосвященный, к которому «кавказец», прирожденный русский, относится уже отчужденно? «Заезжий из России». В глазах Лермонтова это отдаление имело глубокие корни. Оно огорчало его не меньше, чем покорность крепостных крестьян жандармам, чем пассивное страдание народа, не доросшего еще до политического и гражданского сознания. Если «настоящий» кавказец достоин не только уважения, но и участия, то это потому, что он приобрел черты, заслуживающие сожаления. Охарактеризовав разочарование своего героя в романтике кавказской войны, Лермонтов переходит к главному: «Зато у него явилась новая страсть, и тут-то он делается настоящим кавказцем».

Какой же страстью надо быть зараженным, чтобы стать «настоящим»? Это страсть ко всему черкесскому, которая у него «доходит до невероятия»: он «легонько маракует по-татарски. . . шашка — настоящая гурда, кинжал — старый базалай, пистолет закубанской отделки, отличная крымская винтовка. . . лошадь — чистый Шаллох и весь костюм черкесский». Это желание раствориться в культуре другого народа Лермонтов считал болезненным явлением, так как русский офицер терял свое национальное лицо. Лермонтов относился к подобного рода тенденциям чрезвычайно враждебно. Вспомним, как остро он реагировал на будничное сообщение о пансионе при Петропавловской немецкой кирхе, в котором воспитывался мальчик Забелла:

«— И всему учат вас там по-немецки?»

* Хотя письмо Николая I о «Герое нашего времени» написано по-французски, царь тоже, вероятно, имел в виду эпитет «настоящий», бытовавший в кавказской военной среде, когда писал: «il y a dans cette classe de bien plus véritable que ceux que l'on gratifie trop vulgairement de cette épithète» (в этом разряде людей встречаются куда более настоящие, чем те, которых так неразборчиво награждают этим эпитетом).

— Всему, кроме русской словесности и русской истории.

— Хорошо, что хоть это оставили»¹³⁰.

Этот беглый разговор происходил в последний приезд Лермонтова в Петербург, то есть именно тогда, когда он писал «Кавказца» по заказу редактора-издателя Башуцкого. Постоянно думая о русской самобытности, о национальном достоинстве и культуре своего народа, Лермонтов ставил знак равенства между «полуфранцузом», «полунемцем» и «полуазиатцем», потому что и те, и другие, и третьи были в его глазах «полурусскими». Недаром в «Кавказец» введено народное название иноземцев: «но увы, большею частью он слагает свои косточки в земле басурманской».

На то, что Лермонтова одинаково сердило подражание европейцам и подражание азиатам, указывает ироническая кличка, которой он наградил русское воинство на Кавказе. Ее вспоминали все современники, знавшие Лермонтова в последние недели его жизни. Но только один из них дал ей правильное объяснение. Слова его заслуживают доверия, так как он же, единственный, сообщил своему сыну, который выступил в печати в 80-х годах, что дуэль Лермонтова с Мартыновым происходила у Перкальской скалы, а не там, где поставлен был памятник поэту. Это известие документально подтвердилось только в наши дни¹³¹. Итак, Н. А. Кузминский писал: «Нужно сказать, что Лермонтов всегда посмеивался над теми из русских, которые старались подражать во всем кавказцам: брили себе головы, носили их костюмы, перенимали ухватки; последних в насмешку называл он *l'agmée russe*»^{* 132}. Обманутые французской кличкой, мы всегда думали, что она относилась к гвардейским офицерам, которые кутили на минеральных водах. Но, сопоставляя ее с «Кавказцем», мы видим, что Кузминский не уклонился от истины.

«Встретив его, вы тотчас отгадаете, что он *настоящий*, даже в Воронежской губернии он не снимает кинжала или шашки, как они его ни беспокоят», — пишет Лермонтов в петербургском очерке, а в Пятигорске он рисует нескончаемые вариации шаржированных портретов «горца с двумя кинжалами». Как будто сама судьба подготовила сосланному Лермонтову встречу в Пятигорске с живой пародией на «полурусское, полуазиатское существо»,

* русская армия (фр).

чтобы дать исход его раздражению! Одно из дошедших до нас описаний страшного костюма Мартынова, несомненно, восходит к карикатуре Лермонтова, в которой подчеркнут космополитический характер его одежды. «Он носил азиатский костюм, за поясом пистолет, через плечо на земле плеть, прическу à la мужик и французские бакенбарды с козлиным подбородком», — писал К. Любомирский о Мартынове¹³³. Об отношении Лермонтова к Мартынову мы будем еще говорить в своем месте. Нам надо вернуться к «Кавказцу», имеющему первостепенное значение для понимания литературной и общественной позиции Лермонтова в последний период его жизни.

В своем очерке Лермонтов не только с жалостью говорит о пагубной страсти «настоящего» кавказца, но и объясняет ее возникновение причинами общественно-политического характера. Прежде всего, скромный армейский офицер был «чужд утонченностей светской и городской жизни», поэтому его жажда разнообразия удовлетворялась тем, что он «полюбил жизнь простую и дикую». Он усвоил себе «восточные обычаи», склонность к которым «берет над ним перевес». Он внешне проник в азиатскую культуру, узнал из истории кавказских народов то, что доступно его пониманию. А разве у русских нет своей истории? Разве у них не было своих героев, «грозных дел», своих богатырей, поэтических преданий и традиций? Николаевский офицер их не знает. Его не учат этому в кадетских корпусах. Его учат только маршировать и калечить солдат. У него есть врожденное благородное влечение к поэзии героических подвигов, но его не развивают, он ничего не смыслит в политике, он не слышал про европейские революции, он не знает лучших русских людей, имена которых принадлежат истории. Словом, перечтем следующую тираду, и мы поймем, что ее главная мысль заключена в придаточном предложении, подчеркнутом нами: *«Не зная истории России и европейской политики, он пристрастился к поэтическим преданиям народа воинственного. Он понял вполне нравы и обычаи горцев, узнал по именам их богатырей, запомнил родословные главных семейств»* и т. д. Таким образом, стремление к необыкновенным и героическим делам, свойственное русскому национальному характеру, находило себе выход на стороне. Достойный и уважения и участия кавказский офицер не был в этом виноват. Вины были политический режим и система воспитания, проводимые Николаем I.

Нам известно, что, когда Лермонтов писал «Кавказца», он вынашивал новые замыслы. Лермонтов имел намерение основать свой журнал. Однако об этом нам рассказано настолько неясно, что этим известием почти нельзя пользоваться. П. А. Висковатов очень неудачно расспрашивал об этом в 70-х годах А. А. Краевского. Но что мог сказать бывший редактор «Отечественных записок» об отходе от журнала самого видного его автора? Он выдвинул, если верить Висковатову, теорию о совершенно других устремлениях Лермонтова. «Я многому научился у азиатов, и мне бы хотелось проникнуть в таинства азиатского миросозерцания, зачатки которого и для самих азиатов, и для нас еще мало понятны. Но, поверь мне, — обращался он к Краевскому, — там на Востоке тайник богатых откровений»¹³⁴.

О глубоком интересе Лермонтова к культуре восточных народов мы знаем по его творчеству и по его связям в 1837 году с представителями грузинской и азербайджанской интеллигенции¹³⁵. Однако это не имело отношения к замышляемому им журналу. «Мы в своем журнале, — передавал Краевский слова Лермонтова, — не будем предлагать обществу ничего переводного, а свое собственное. Я берусь к каждой книжке доставлять что-либо оригинальное, не так, как Жуковский, который все кормит переводами, да еще не говорит, откуда берет их»¹³⁶. Но Лермонтов и без того доставлял почти к каждой новой книге «Отечественных записок» свое «собственное» и «оригинальное»! Совершенно очевидно, что А. А. Краевский не хотел рассказывать, что побуждало Лермонтова так настойчиво говорить о намерениях заняться редакторско-издательской деятельностью. Висковатов что-то перепутал, контаминировал, по своему обыкновению, разные высказывания Лермонтова в одно, приурочил их к планам последнего года и в результате преподнес нам теорию нового журнала «евразийского» толка! Внимательное чтение очерка «Кавказец» показывает, что это не совпадает с позицией Лермонтова. В рассказе Висковатова мы встречаемся с весьма отдаленным отзвуком действительных мыслей и литературных планов поэта. Вернее будет предположить, что проект Лермонтова был направлен на расширение круга читателей. На эту мысль наводят сетования поэта в «Кавказце» на необразованность среднего армейского офицера.

Задуманная Лермонтовым историческая эпопея, вероятно, должна была служить и тому, чтобы восполнить

пробел в развитии национального самосознания в широких демократических кругах.

О замысле исторической эпопеи до нас дошли два рассказа: один — излагающий по неизвестным источникам основные сюжетные линии произведения Лермонтова, другой — намекающий на его идейное направление. В первом, с неверной ссылкой на М. П. Глебова *, излагается план двух задуманных Лермонтовым романов: «одного из времен смертельного боя двух великих наций, с завязкою в Петербурге, действиями в сердце России и под Парижем и развязкой в Вене, и другого — из кавказской жизни, с Тифлисом при Ермолове, его диктатурой и кровавым усмирением Кавказа, персидской войной и катастрофой, среди которой погиб Грибоедов в Тегеране»¹³⁷. Первый названный здесь роман посвящался, следовательно, теме Отечественной войны, второй — ясен. Но В. Г. Белинский дал более глубокую характеристику этого плана: «Уже затевал он в уме, утомленном суетою жизни, создания зрелые; он сам говорил нам, что замыслил написать романическую трилогию, три романа из трех эпох жизни русского общества (века Екатерины II, Александра I и настоящего времени), имеющие между собою связь и некоторое единство, по примеру куперовской трилогии, начинающейся «Последним из Могикан», продолжающейся «Путеводителем в Пустыне» и «Пионерами» и оканчивающейся «Степями...»¹³⁸ Нельзя не согласиться с Б. М. Эйхенбаумом, который полагал, что «Белинский привел эти заглавия куперовских романов не только для того, чтобы напомнить их читателям, но и для того, чтобы дать им понять характер лермонтовского замысла». Исследователь раскрывает указанную Белинским связь так: «Последние из могикан» — это дворянство екатерининской эпохи; «Путеводитель по пустыне» и «Пионеры» — это роман о декабристах, в котором должны были появиться Ермолов и Грибоедов; «Степи» — это николаевская эпоха...»¹³⁹

Аналогия звучит особенно убедительно, если вспомнить, что, сопоставляя «настоящее время» с названием куперовского романа «Степи», критик употребил почти условный термин. Сравнение страны под деспотической властью Николая I со «степью» или «гладью» было на-

* Немецкий поэт и переводчик Фр. Боденштедт, писавший свой очерк о Лермонтове на основании рассказов М. П. Глебова, ничего не упоминает о замысле исторической эпопеи.

столько распространено, что мы встречаем эти понятия даже в высказываниях самых близких ко двору лиц. Так, фельдмаршал А. И. Барятинский сказал П. А. Висковатову, что при Николае I «смотрели на страну как на бильярд и не любили, когда что бы то ни было превышало однообразную гладь бильярдной поверхности»¹⁴⁰, а М. А. Корф, отмечая по поводу смерти Сперанского в 1839 году «кризу безлюдья» в правительстве Николая I, размышлял о кандидатурах на пост председателя Комитета министров: «1. У государя по свойству его характера нет премьер-министра и быть не может, а следственно всякое предположение, идущее не от него, есть фикция. 2. В степи нет дубов, и следственно все поиски тщетны». Интересно, что при всей своей благонамеренности Корф понимал, что объяснение того тупика, в который завел Россию Николай I, — дело будущих историков. «Этот момент болезненной кризиса в государстве возрастающем должен быть подмечен, — писал он. — История запишет нынешнюю минуту с настоящей ее точки, будет доискиваться причин и, может быть, их разгадает. . .»¹⁴¹

История разгадала причины общего застоя в крепостническом государстве отнюдь не в духе монархиста Корфа. Уже у Пушкина было намерение писать историю своего времени; Герцен, создатель жанра историко-бытовых мемуаров в «Былом и думах», в повести «Долг прежде всего», только по условиям царской цензуры не смог начертить образ своего современника в историческом развитии его идейных исканий; Лермонтов рвался сказать свое слово об общественном развитии России как исторический романист, как «будущий великий живописец русского быта», по слову Гоголя.

Мы не можем восстановить невозвратимое, никто не мог написать за Лермонтова большое полотно, которое он не успел даже начать, но ясно, что темы, над которыми Лермонтов размышлял всегда, исторические фигуры, значение которых он изучал, нашли бы себе там место. Тут были бы и полководцы, и солдаты, и декабристы, и крестьяне, и дворянство, и писатели, величайшими представителями которых были Пушкин и Грибоедов. Мы уже видели, что Лермонтов был чрезвычайно отзывчив на все события окружавшей его жизни, разделял интересы среды, в которую вовлекала его судьба, принимал активное участие в делах и думах своих современников. Но он был человек нового времени и, как будто сливаясь со своими товарищами в повседневной жизни, всегда находил новое

слово, новый взгляд на вещи, который уводил общество вперед, к еще неизвестным горизонтам.

С этой точки зрения нужно проследить, чем разрешились искания остальных «шестнадцати».

7

В 1841 году Лобанов встретил в Темир-Хан-Шуре Ксаверия Браницкого, который сказал ему о «меланхолическом Жерве»: «У него такой вид, как будто он погибнет в первом же деле». Это предвидение оправдалось: Жерве был смертельно ранен за два месяца до дуэли Лермонтова. «Мы с Столыпиным часто задумываемся, глядя на те места, где прошлого лета... Но что старое вспоминать. Из нас уже двоих нет на белом свете. Жерве умер от раны после двухмесячной мучительной болезни. А Лермонтов, по крайней мере, без страданий...» — писал А. И. Васильчиков Ю. К. Арсеньеву 30 июля (1841 года)¹⁴².

По свидетельству декабриста А. Беляева, служившего в кавказской армии, офицеры отзывались о Д. П. Фредериксе в таком же духе, как Браницкий о Жерве: «Человек отчаянной храбрости, который под самым сильным огнем неприятеля стоял все время при спешившихся и залегших казаках во весь свой высокий рост, не трогаясь с места. Один из наших черкесских офицеров рассказывал мне об этом с полным убеждением, что этот офицер нарочно ищет смерти¹⁴³. Фредерикс был убит в 1844 году.

Александр Долгорукий через год после смерти Лермонтова погиб на дуэли в Царском Селе. Это был поединок, поразивший современников. За офицерским обеденным столом Долгорукий перешел границы, посмеиваясь над своим другом и однополчанином князем Яшвилем. После обеда он сам явился к нему, но не для того, чтобы попросить прощения, а чтобы заставить Яшвиля потребовать удовлетворения. Он буквально заставил его драться. Сам назначил тяжелые условия. Отказались от секундантов, чтобы никого не вовлекать в беду. На месте поединка Долгорукий настоял, чтобы Яшвиль, как обиженный, стрелял первым. Тот выстрелил, направив дуло пистолета в землю. Пуля отскочила от незамеченного им камня и рикошетом попала в Долгорукого¹⁴⁴. Оплакивая потерю храброго, умного, талантливого офицера, современники находили, что дуэль эта походила на самоубийство.

Больше, чем остальные, вложил воли, знаний и интереса в кавказскую военную службу Лобанов. Но все его усилия остались бесплодными. «Записка» к наследнику привела только к тому, что М. С. Воронцов впоследствии взял Лобанова к себе в адъютанты. Хотя он был членом комиссии «по обозрению магометанских народов Кавказской области», работы его по изучению языков и быта народов Дагестана оставались долгие годы неизвестными и ненапечатанными. В 1847 году он отправился, как мы помним, за границу, подумывая о том, чтобы перейти там на положение политического эмигранта. После Крымской войны, в Бессарабии, он начал писать свои воспоминания, в которых оплакивал бесплодно прожитую жизнь. В 1858 году он умер тридцати девяти лет от роду. Незадолго до его смерти с ним встретился писатель Салиас, наслышанный о нем от своих дядьев и теток — Сухово-Кобылиных. Воспоминания писателя показывают всю степень отчужденности и взаимного непонимания между поколением 50—60-х годов и некогда блестящими молодыми людьми 30—40-х.

«Звонок... принимают... появляется гость, — вспоминает Салиас. — Высокий и стройный, светло-белокурый, чрезвычайно красивый и изящный, светский лев, флигель-адъютант императора Николая Павловича, друг детства моего дяди, тетушек и матери, которого даже зовут просто Мишель. При этом он герой, отличился на Кавказе в делах против горцев, о чем свидетельствует Георгиевский крест в петлице. Вдобавок вокруг него особый ореол (по крайней мере для меня), так как он был очень близким человеком знаменитой Рашели, от которой я в те времена буквально сходил с ума. Говорили, что он был одной из самых серьезных привязанностей гениальной воплотительницы Феды, Роксаны, Камилы и т. д. При своей бесспорной красоте и симпатичности блестящий петербургский флигель-адъютант и великосветский щеголь был немного простоват и далее частного, элегантно-банального «бабильяжа» (от глагола *babiller* *) ничего не мог и не умел. Имя гостя князь Лобанов-Ростовский»¹⁴⁵.

«Какая пестрая, неровная, везде и во всем незаконченная жизнь!» — задумался П. А. Валуев 15 апреля 1876 года, узнав, что «вчера внезапно умер гр. Андрей Шувалов. Он скончался у г-жи Н., с которою его отно-

* болтать (фр.).

шения не прерывались с 50-х годов. . .» Прочтем эту часть уже приводившуюся запись до конца: «В 1834—1835 гг. — юноша, из-за границы привезенный, родного языка не знавший, мягкий, податливый, без определенного колорита; в 1835—1836 — юнкер Нижегородского драгунского полка, бойкий, храбрый, с раною и Георгиевским крестом; в 1836—1838 — офицер того же полка, возвращающийся в петербургскую жизнь и прикомандированный к лейб-гвардии гусарскому полку. В 1838—1839, 1840 — связь с Браницким, Столыпиным, Долгоруковым, Паскевичем, Лермонтовым и пр. (*les seize**, к которым и я принадлежал). Затем в отставке, фашионабельная эпоха салона гр. Воронцовой и пр. Потом адъютантство у кн. Паскевича, венгерская кампания, кавалергардский мундир, опять отставка и, наконец, оппозиционная деятельность в дворянских, земских и городских собраниях с разнообразными эпизодами высылки на жительство в Париж, губернское предводительство в Петербурге и пр. и пр. Было время, я к нему ощущал искреннюю дружбу. Он отбил это чувство»¹⁴⁶.

Антипатия к либеральной деятельности оппозионера-аристократа (заметим, кстати, что А. Шувалов был женат на дочери М. С. Воронцова) достаточно хорошо характеризует самого П. А. Валуева. У нас нет необходимости возвращаться к этой известной фигуре консервативного государственного деятеля, члена правительства Александра II.

Но интерес представляет судьба Ивана Гагарина, типичная для метаний русской дворянской интеллигенции. По поводу его обращения в католичество А. И. Герцен писал в 1843 году: «Все убеждены в тягости настоящего, но выход находит каждый молодец на свой образец. Партия католиков всех дальше в нелепости. . . Жаль откровенности, с которой бросаются в эти пути. Таков князь Гагарин. . .» Далее Герцен критикует дилетантизм Гагарина. «Понять можно, — пишет Герцен, — аристократ, вероятно, не получивший серьезного образования, ни сильного таланта, — между тем ум и горячее сердце, бог привел взглянуть на Францию, на Европу. Дома-то черно, страшно. Путь человечества неизвестен. Основные, красугольные начала современного взгляда, автономия разума — история — *terra incognita***». А тут случайная

* шестнадцать (*фр.*).

** неизведанная область, букв.: неизвестная земля (*лат.*).

встреча с иезуитом... и удивленный человек, предается вымершему принципу». В следующем году, узнав, что Гагарин намеревался «натурализоваться во Франции и потом, сделавшись священником, возвратиться в Россию» для латинской пропаганды, Герцен, отдавая должное мужеству и честности Гагарина, пишет: «Всякое убеждение, заставляющее человека пренебрегать всем временным, особенно русского, почтенно не само в себе, а в человеке. Au geste* все это невозможно: его на границе схватят или не пустят в Россию, или он без вести исчезнет. И за что идет он, понукается на мученичество — из-за идеи мертвой, погибшей? Русский, развивающийся до всеобщих интересов, готов схватиться за всякий вздор, чтобы заглушить только страшную пустоту»¹⁴⁷.

О завершении пути Гагарина рассказывал в 1875 году Н. С. Лесков. Посетив его в Париже по просьбе И. С. Аксакова, писатель замечал: «Что он за иезуит и почему он иезуит, — он, я думаю, и сам не знает. Так себе, во время оно увлекся и «отличился», и я не боюсь ошибиться, что теперь он об этом жалеет и кается...» Лесков увидел в бывшем друге Лермонтова только несчастного, постаревшего человека, лишенного родины: «Всего лучше он был, — пишет он далее о Гагарине, — когда, уезжая в Пломбир, зашел ко мне проститься, просидел два часа, выпил стакан шабли за благоденствие России и... заплакал. Мы обнялись и много раз поцеловались: мне было до смерти его жалко... Он отяжелел, остарел, без зуб и без ног (от подагры), но имеет еще очень красивую наружность, напоминающую немножко так называемый «екатерининский» тип. Симпатии его к России, разумеется, состоят в невольной любви и невольном влечении к родине»¹⁴⁸.

Духовную смерть «шестнадцати» изобразил И. С. Тургенев в романе «Отцы и дети». В письме к А. А. Фету он сообщал в 1862 году, что прототипом образа Павла Петровича Кирсанова ему послужил «тип Столыпиных, Россетов и других русских ех-львов»¹⁴⁹. Но в биографии Кирсанова-дяди он использовал главным образом факты и события жизни Монго. А. А. Столыпин умер в 1858 году во Флоренции, на руках у женщины, с которой он, по наблюдению П. А. Вяземского, «отдыхал от длительной, утомительной и поработительной связи» с графиней

* впрочем (фр.).

А. К. Воронцовой-Дашковой¹⁵⁰. Его постоянство и преданность «своей неверной» прославили его среди современников. И хотя в первые годы после смерти Лермонтова Столыпин много сделал для пропаганды его творчества во Франции — он прекрасно перевел на французский язык «Героя нашего времени» и напечатал его в 1843 году в парижской демократической газете, хотя он эпатировал царя, вернув пожалованный ему орден *, все его душевные силы ушли не на общественную или литературную деятельность, а на беспокойную любовь к странной и капризной женщине («Понять невозможно ее, зато не любить невозможно»). Использование в образе Павла Петровича Кирсанова биографии Монго-Столыпина открывает нам и прототип образа княгини Р. в романе Тургенева. Хотя внешность ее отличается от типа красоты Воронцовой-Дашковой, но внутренний портрет перекликается с нарисованным Лермонтовым в стихотворении «Как мальчик кудрявый, реза...» и Н. Некрасовым в стихотворении «Княгиня».

Уходящий тип Кирсанова-дяди автор осмысливает исторически. Он раскрывает свой замысел в письме к К. К. Случевскому, где опять указывает прототипов образа Павла Петровича — Россета, Есакова, Столыпина-Монго. «Они лучшие из дворян: и именно потому и выбраны мною, чтобы доказать их несостоятельность», — писал он¹⁵¹. Свой приговор этому типу Тургенев высказал в сцене болезни Кирсанова: «Освещенная ярким дневным светом, его красивая исхудалая голова лежала на белой подушке, как голова мертвеца... Да он и был мертвец».

Духовная гибель участников аристократического общества «шестнадцати» предстает перед нами в наглядных образах.

Огромное расстояние отделяет мощную одухотворенную личность Лермонтова от его товарищей по этому кружку.

Мы увидели на конкретном анализе его творчества, в какую сторону он эволюционировал, как он все дальше и дальше отклонялся от узких кастовых настроений отдельных групп и выходил на широкую дорогу общенародных дум и чаяний.

Нам остается только сравнить политическое положение нескольких членов «шестнадцати» с подневольной судьбой Лермонтова в последний год его жизни.

* если это не анекдот.

Иван Гагарин уже в конце 1840 года писал Ю. Самарину из Парижа, что он намерен вернуться в Москву через год. Он действительно был еще несколько раз в России до того момента, когда окончательно порвал с отчизной, перейдя во французское подданство и вступив в орден иезуитов.

Фредерикс и А. Долгорукий были награждены за те дела, в которых участвовал Лермонтов, не получивший никакой награды. Они беспрепятственно приезжали в Петербург до самой своей смерти. Переведенный в Тенгинский пехотный полк, поэт не имел никакой надежды ни на повышение чина, ни на военное отличие, ни на отставку.

Сотрудники Гана, как и предполагалось при откомандировании их на Кавказ, через год вернулись в Петербург, продолжая числиться во II Отделении «собственной» канцелярии царя. Это — А. Васильчиков и Сергей Долгорукий. Борис Голицын пользовался исключительным благоволением к нему Николая I, как сын обласканного сверх меры московского генерал-губернатора.

Андрей Шувалов в 1842 году уехал за границу в отпуск, а затем совсем вышел в отставку.

А. А. Столыпин тоже уехал в 1843 году за границу и вышел в отставку.

Постоянным преследованиям Николая I подвергался, как мы уже знаем, Сергей Трубецкой, но на это у царя-деспота были личные причины.

Ни в какое сравнение не идут с этим проявлением царского каприза жестокие репрессии против Лермонтова. Поэт был переведен в Тенгинский пехотный полк, который вместе с Навагинским пехотным нес в Отдельном кавказском корпусе самые большие тяготы походной и боевой жизни. В эти полки ссылались обыкновенно наиболее серьезно провинившиеся офицеры и «государственные преступники» по делу 14 декабря. Завершением жестокого умысла Николая I явилось последнее «высочайшее» запрещение Лермонтову отлучаться от своего полка и посмертные бранные отзывы царя о поэте.

1

Трагическая судьба Лермонтова волновала передовых русских людей со дня гибели поэта в 1841 году. Еще когда Белинский вставил в рецензию на второе издание «Героя нашего времени» замаскированный некролог его автора, он старался передать свои впечатления о личных встречах с поэтом. В 1845 году редакция передового популярного издания для юношества призывала современников «собрать хотя некоторые сведения для будущей биографии Лермонтова...» которые «до сих пор... еще никем не были печатно собраны». Попытка самой «Библиотеки для воспитания» дать элементарную биографическую справку о поэте потерпела неудачу. «Перед стихотворениями Лермонтова, — значитса в редакционной заметке, — следовал краткий очерк его жизни; но в ожидании более полных сведений, которые в скором времени должны быть доставлены, редакция отложила его до следующей книжки»¹. Однако ни в одном из выпусков «Библиотеки для воспитания» очерк жизни поэта так и не появился. И когда через четырнадцать лет, в 1859 году, В. Стоюнин выпустил сборник «Русская лирическая поэзия для девиц», он вынужден был повторить слова своих предшественников: «Лермонтов умер в 1841 году, не имел и тридцати лет от роду. Биография его до сих пор никем не написана, а потому и обстоятельства его жизни нам очень мало известны»².

Избранные стихотворения Лермонтова и отрывки из «Героя нашего времени» помещались в хрестоматиях с начала 1840-х годов, сочинения его все время переиздавались. В любом учебнике русской словесности Лермонтову уделялось значительное место. Поэма «Демон» «обошла всю Россию в неисчислимом множестве списков» и была «известна всем от мала до велика наизусть»³. Вся русская литература 40-х и 50-х годов прошла под знаком

Лермонтова, так же как Пушкина и Гоголя, стихи Лермонтова стали уже пародироваться, — а никто не мог еще указать, в каком году поэт родился!

За все время царствования Николая I в русской печати появилось только несколько скупых упоминаний о личности Лермонтова. В 1853 году в газете «Кавказ» были приведены пустые рассказы неизвестного казначея одного из четырех полков, где служил Лермонтов⁴. Эта заметка была тотчас перепечатана в «Московских ведомостях» и в том же году использована в «Справочном энциклопедическом словаре»⁵. Русский читатель должен был довольствоваться пошлым сравнением внешности Лермонтова с портретом Печорина и отголосками ходячих анекдотов о поэте. Другими материалами редактор «Энциклопедического словаря» А. Старчевский не располагал.

Для того чтобы сказать что-либо о жизни Лермонтова, русским литераторам приходилось прибегать к уловкам. Так, в журнале «Пантеон» в том же 1853 году, в отделе «Петербургский вестник», корреспондент совершил, по его словам, «арабский скачок» к Невскому проспекту от «прелестей мирного деревенского быта» Пензенской губернии. Он привел письмо своего приятеля, помещика тех мест, который описывал могилу «автора лучшего романа русского и многих превосходных стихотворений». Степной житель, так верно оценивший прозу Лермонтова, писал петербургскому хроникеру: «Село Тарханы в последние годы приобрело известность, и часто бывает убрана свежими цветами гробница поэта... Грустно на безвременной его могиле, но отрадно внимание, которое оказывают его памяти и высокому дарованию... даже безграмотные крестьяне смутно понимают, что их барин был чем-то, писал что-то хорошее...»⁶ Далее он привел несколько, правда очень неточных, сведений о рождении и детстве Лермонтова. Но кому пришло бы в голову искать данные о покойном писателе в многословном фельетоне петербургского журналиста? «У нас нет не только биографии, но даже какого-нибудь известия о жизни Лермонтова, а между тем 15 июля будет пятнадцать лет, как он умер!» — восклицал рецензент «С.-Петербургских ведомостей» в 1856 году⁷.

И все же среди литераторов 50-х годов был один, который очень осторожно намекал в печати, что ему хорошо известны подробности последнего года жизни Лермонтова на Кавказе, а следовательно, и его гибели. Литератор этот был Александр Васильевич Дружинин. Еще в

1852 году в январской книжке «Библиотеки для чтения» он так же незаметно, как фельетонист «Пантеона», вставил в свое очередное (XXV) «Письмо иногороднего подписчика о русской журналистике» набросок психологического портрета Лермонтова.

«Во время моей последней поездки, — писал он, — я познакомился с одним человеком, который коротко знал и любил покойного Лермонтова, странствовал и сражался вместе с ним, следил за всеми событиями его жизни и хранит о нем самое поэтическое, нежное воспоминание. Характер знаменитого нашего поэта хорошо известен, но немногие из русских читателей знают, что Лермонтов, при всей своей раздражительности и резкости, был истинно предан малому числу своих друзей, а в обращении с ними был полон женской деликатности и юношеской горячности. Оттого-то до сих пор в отдаленных краях России вы еще встретите людей, которые говорят о нем со слезами на глазах и хранят вещи, ему принадлежавшие, более чем драгоценность. С одним из таких людей меня свела судьба на короткое время, и я провел много приятных часов, слушая подробности о жизни, делах и понятиях человека, о котором я имел во многих отношениях самое пресвратное понятие»⁸.

Неизвестный друг и сослуживец великого поэта встречался Дружинину в Пятигорске, в тех самых местах, где ровно за десять лет до того раздался выстрел Мартынова. «Преданность моего знакомого памяти Лермонтова была беспредельна», — говорит Дружинин. Критик рассказывает далее, что его приятель, сохранявший в 1851 году «всю молодость духа и всю гибкость воображения», долго жил на Кавказе «и понимал произведения Лермонтова так, как немногие их понимают: он мог рассказать происхождение почти каждого из стихотворений, событие, подавшее к нему повод, расположение духа, с которым автор «Пророка» брался за перо. . .»

Если неназванный друг Лермонтова мог говорить о событиях, которые, по его мнению, повлияли на создание предсмертных стихотворений поэта, то он мог рассказать Дружинину и о последнем трагическом событии — о том, при каких обстоятельствах Лермонтов был убит. Но в дореформенной печати нельзя было писать не только о подробностях дуэли поэта с Мартыновым, но и о самом факте дуэли. Естественно, что на заметку Дружинина не последовало никаких откликов. Даже в полемической статье, напечатанной в «Москвитянине» по поводу

XXV «Письма иногороднего подписчика», имя Лермонтова не было упомянуто⁹.

Между тем кавказская встреча произвела на Дружинина сильнейшее впечатление. В своем неизданном дневнике он снова и снова возвращается к этому эпизоду. В отдельной заметке, где для памяти отмечены «светлые дни» его жизни, Дружинин упоминает «вид Кавказских гор с Елисаветинской галереи», «дом на Пятигорском бульваре»¹⁰. А в подневных записях раскрывается, что воспоминание, оставшееся у него от посещения Пятигорска, связано было с «обожаемой памятью» Лермонтова¹¹. «А я думал обдумать простенькую повесть о Нардзане. Неужели же этот лунный свет... и снеговые горы, и ночи в парке, и Нардзан, и Лермонтов... и вся обстановка моя два года тому назад не сложатся, наконец, во что-нибудь стройное?»¹² — пишет он 7 июля 1853 года. На следующий день он сокрушенно признается в своем бессилии: «Начал легенду о Нардзане (увы, в который раз) и уже на первом листе отклонился от простоты». Повесть, однако, была закончена Дружининым и напечатана в некресовском «Современнике» в 1854 году под названием «Легенда о Кислых водах». О Лермонтове там не было ни слова.

Историки литературы единодушно отводят этой повести одно из скромных мест в творчестве автора «Полиньки Сакс». Но первые страницы «Легенды» остались ненапечатанными. А в этом неизданном «Вступлении» Дружинин снова упоминает о свидании с другом поэта, описывая свою ночную поездку из Пятигорска в Кисловодск. На «Кислых водах» он бродит возле дома Дворянского собрания, знакомого нам по «Герою нашего времени»; здесь опять открыта «ресторация» Найтаки, у которого служит «самый смышленный из его буфетчиков», старожил Кавказского края, выдавший на своем веку много интересного и не раз подававший форелей «покойному Михаилу Юрьевичу». Автор охвачен особенным настроением: им владеет «только одно воспоминание, одно стремление и один порыв душевный к человеку давно умершему», никогда им не виденному. «Я не мог думать ни о чем и ни о ком, — пишет рассказчик, — кроме Лермонтова, к которому еще за день не чувствовал, казалось, ничего, кроме заслуженного уважения по поводу его литературных достоинств... Образ Лермонтова, в тот еще день виденный мною на портрете, срисованном с усопшего и хранившемся как святыня у одного из его ближайших

товарищей, возникал передо мной с ясностью почти фантастической. Я видел, ясно видел у грота, прославленного гением Лермонтова, — это загорелое и бледное лицо с отпечатком предсмертного страдания и какой-то таинственной неразгаданной мысли. . .»

Дружинин подчеркивает, что именно встреча с другом Лермонтова вызвала у него особенный порыв отчаяния из-за гибели поэта. С редкой для него экзальтацией Дружинин пишет: «Зачем люди, его окружавшие, — думал я с ребяческим ожесточением, — не ценили и не лелеяли поэта, не сознавали его величия, не становились грудью между ним и горем, между ним и опасностью! Умереть за великого поэта не лучше ли, чем жить целое столетие? . . .»¹³

Дружинин описывает первый день, вернее, первую ночь своего пребывания в Кисловодске в 1851 году. В последующие дни (мы знаем об этом по его напечатанной переписке) он стал бывать в доме, где «собирались разные кавказские герои»¹⁴. Не от них ли он слышал новые рассказы о Лермонтове, упомянутые им мимоходом в другом «Письме иногороднего подписчика», в 1854 году? В этом фельетоне критик утверждал, что память о Лермонтове «до того свежа на Кавказе, что сотни сведений о его жизни придут к биографу сами, по первому востребованию»¹⁵. Есть основания думать, что Дружинин не случайно встретился с двоюродным дядей Лермонтова, у которого поэт жил несколько дней в Пятигорске в последний приезд на воды. По крайней мере, в лаконичных заметках Дружинина записана фамилия этого родственника Лермонтова: «Хастатов»¹⁶. В заметке, озаглавленной «Места», Дружинин записывает: «Имение Вадковского. . . дом Хлюпина. . .» Эти фамилии тоже имеют отношение к Лермонтову. Один из Вадковских, Иван Яковлевич, учился вместе с Лермонтовым в университетском пансионе, а командиром Тенгинского пехотного полка в то время, когда там служил Лермонтов, был полковник С. И. Хлюпин (правда, в 1851 году его уже не было в живых). Что касается записи «Участь книг в Пятигорске», стоящей непосредственно перед пометой «Хастатов», то она наводит на мысль, что речь идет о книгах Лермонтова, оставшихся после его смерти. Нельзя также пройти мимо одной из «Заметок без цели», лаконичные записи которой, возможно, относятся к Мартынову: «Benediction des poignards (благословение кинжалов). Перовский. Стрельба в цель с триумфом. Черкеска»¹⁷. «Благослове-

ние кинжалов» напоминает о насмешках Лермонтова над двумя кинжалами, которые носил Мартынов. «Стрельба в цель с триумфом» заставляет вспомнить о неправдоподобных уверениях Мартынова, что он не умел стрелять и впервые на дуэли с Лермонтовым держал в руках пистолет. «Черкеска» — согласно ряду материалов, сразу после дуэли Мартынов послал слугу за своей черкеской, оставленной им на месте поединка.

Видимо, после пятигорской встречи Дружинин решил серьезно заняться подготовкой жизнеописания великого поэта. «Всякий из литераторов поставил бы себе в честь составить более или менее полную биографию Лермонтова», — писал он в анонимной рецензии на третье смирдинское издание сочинений писателя в 1852 году¹⁸.

2

Казалось бы, весь круг интересов критика способствовал этому намерению. В своих статьях он постоянно восхищался разработанностью биографического жанра у англичан, призывал русскую публику хранить и собирать материалы об отечественных литераторах, мечтал о том времени, когда «по поводу самого второстепенного писателя у нас будет писаться по десятку биографий и монографий»¹⁹. Он и сам составил биографический очерк малоизвестного литератора А. П. Степанова — отца популярного карикатуриста. Перу Дружинина принадлежат несколько компиляций из биографических трудов английских исторических писателей о знаменитых европейских государственных деятелях. А воспоминания Дружинина о П. А. Федотове до сих пор считаются исследователями русского искусства одним из самых значительных и достоверных источников для биографии художника. Но работа Дружинина по сбору материалов для подготовки жизнеописания Лермонтова оставалась скрытой.

Не выступил критик с рассказами о любимом поэте и тогда, когда после окончания Крымской войны в русских журналах стали мелькать кое-какие воспоминания о Лермонтове. Это были чрезвычайно скудные материалы, и Дружинин мог назвать их «имеющими значение» только после молчания, окружавшего личность Лермонтова во время царствования Николая I. Убожество их особенно бросалось в глаза после того, как в 1855—1856 годах вышли из печати два капитальных труда, спра-

ведливо оцененных критикой как литературные события: «Материалы для биографии А. С. Пушкина» П. В. Анненкова и книга П. А. Кулиша «Записки о жизни Н. В. Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем». Стала очевидной необходимость подготовки серьезной биографии Лермонтова, хотя речь пока могла идти только о предварительном собирании материалов. Обладая достоверными сведениями о Лермонтове, Дружинин, несомненно, мог бы внести большой вклад в правильную разработку его биографии. Но споры о «пушкинском» и «гоголевском» направлениях в русской литературе разгорелись, как известно, именно вокруг книги Анненкова о Пушкине. Дружинину, яростно защищавшему позиции «эстетической критики», было не время выступать со своими сообщениями о Лермонтове: его толкование творчества и особенно биографии поэта не укладывалось в рамки провозглашенной «эстетами» теории «чистого искусства».

В полемику об истоках лермонтовского байронизма, завязавшуюся в русских журналах в конце 1850-х годов, Дружинин тоже не вмешался, хотя он был признанным знатоком английской литературы. Но в 1860 году вышло в свет новое издание сочинений Лермонтова под редакцией С. С. Дудышкина. Вводная статья редактора к первому тому (цензурное разрешение 6 марта)²⁰ была посвящена не традиционному биографическому очерку издаваемого писателя, а истории русского байронизма. При этом С. С. Дудышкин отказывал в самостоятельном значении центральным произведениям Лермонтова. Образы «Печорных, Арбениных, Демонов» были, по его словам, обязаны своим рождением только «отвлеченному идеалу» поэзии Байрона.

Дружинин был наконец задет за живое. В анонимной заметке, напечатанной в сентябрьской книжке «Библиотеки для чтения», он протестовал против отсутствия в новом издании биографии Лермонтова: «Мы очень хорошо знаем, что для подробного жизнеописания еще не пришло время, — но краткий очерк жизни Лермонтова уже возможен, а по журналам нашим разбросано некоторое количество воспоминаний и заметок о Лермонтове, имеющих значение и хотя отчасти знакомящих нас с оригинальной, причудливой, загадочной личностью человека, в котором, как было сказано когда-то, может быть, Россия лишилась своего Байрона»²¹.

Дружинин обещал читателям после выхода второго тома «представить полную и подробную рецензию» на **все издание**. Вскоре второй том поступил в продажу (цензурное разрешение 29 ноября), но среди многочисленных печатных откликов на новое собрание сочинений Лермонтова рецензии Дружинина мы не находим.

Между тем в его архиве нами обнаружена черновая рукопись этой ненапечатанной рецензии. Несмотря на то, что она осталась незаконченной, она представляет большой интерес, так как в ней содержатся ценные сведения о жизни и гибели Лермонтова.

В этой рукописи Дружинин прежде всего останавливается на Байроне, но не на поэзии Байрона, а на самой личности ее творца. Ярко выраженное сочувствие его демократическим идеалам, восхваление политической деятельности поэта, боровшегося за свободу Греции, сравнение Байрона с Гарибальди совершенно неожиданны в статье критика, известного своей враждебностью к прогрессивному общественному движению.

Если восстановить зачеркнутые места, мы увидим, что, говоря о Байроне, Дружинин иносказательно говорит и о русском поэте. «Корень этого основного и постоянного элемента байронических песен, — пишет Дружинин, — заключался в энергичной натуре певца, предназначенной властвовать над людьми и только в последние годы его жизни отыскавшей свое прямое предназначение. До сближения Байрона с итальянскими патриотами жажда власти жила в нем как сила без применения, кидавшаяся во все стороны, по временам попадавшая на прямую дорогу (речь о страданиях работников в Палате лордов), но сбиваемая с нее неудачами, несвоевременностью попыток и событиями бурной жизни». Сопоставим эту характеристику политического властолюбия Байрона с тем, что пишет Дружинин о властолюбии Лермонтова, — и мы убедимся, что автор и в нем видел потенциального политического деятеля. «...По натуре своей [предназначенный властвовать над людьми]* горделивый, сосредоточенный, и сверх того, кроме гения, отличавшийся силой характера, — наш поэт был честолюбив и [горд] скрытен. Эти качества с годами нашли бы себе применение и выяснились бы в нечто стройно-определенное...» Видимо, Дружинин, много раз подчеркивающий в своей статье, что последний

* В квадратные скобки заключены слова, зачеркнутые Дружининым.

год жизни Лермонтова на Кавказе известен ему с достаточной полнотой, намекает на какую-то политическую тенденцию в поведении поэта. Основанием для уверенных заключений Дружинина служили, как говорилось, рассказы кавказских офицеров.

Рецензия Дружинина дает ответ на вопрос, какого рода сведения о гибели Лермонтова так взволновали его в Пятигорске в 1851 году.

Прямо поведать об этом читателям Дружинин не мог: подробности эти были таковы, что и в 1860 году о них так же нельзя было говорить, как и при жизни Николая I. Вот почему Дружинин не напечатал своего вступления к «Легенде», где он упоминал о пятигорской встрече с другом Лермонтова, вот почему описание знаменательного свидания стоило ему такого труда. В новонайденной рукописи изложение рассказа знакомого Дружинина оборвано; автор оставил в рукописи две пустые страницы, намереваясь заполнить их позже. Но он так и не решился это сделать и зачеркнул весь эпизод. «Как ни хотелось бы и нам поделиться с публикою запасом сведений о службе Лермонтова на Кавказе, — историей его кончины, рассказанной нам на самом ее театре с большими подробностями, — мы хорошо знаем, что для таких подробностей и сведений не пришло еще время», — пишет Дружинин. Но, опытный журналист, сделавший себе имя критика в годы самого тяжелого цензурного гнета, Дружинин умел лавировать. Ничего не рассказав, он сказал много.

В то время как во второй книжке «Современника» 1861 года И. И. Панаев легкомысленно заявлял, что Лермонтов «должен был кончить так трагически: не М(артынов), так кто-нибудь другой убил бы его»²², а Боденштедт, со слов М. П. Глебова, уверял, что дуэль произошла из-за сестры Мартынова²³, — у Дружинина в столе хранилась отложенная рукопись, где он намеревался рассказать подробности о дуэли. Рецензия его полна нераскрытых намеков. Нам остается только попытаться их расшифровать.

Автор отказывается признать дуэль Мартынова с Лермонтовым честным поединком. Он указывает на моральных виновников убийства, дает понять, что были негодяи, которые ждали смерти Лермонтова, проклиная секундантов.

«Безвременная насильственная смерть заканчивает всю эту великолепную картину, невольная злоба наполняет душу нашу, — злоба на общество, не сумевшее огра-

дить своего певца, злоба на презренные орудия его гибели, злоба на мерзавцев, осмелившихся ей радоваться или холодно встречать весть, скорбную для отечества. И только после долгого озлобления, после долгих уверений самого себя в невозвратимости утраты дух наш успокаивается. Мы принимаем то, что дано нам, снова дивимся песням безвременно погибшего юноши и, проклиная лиц, допустивших его гибель, — все-таки с гордостью убеждаемся, что «не бездарна та природа, не погиб еще тот край», где при стечении самых неблагоприятных случайностей, при полной неспособности общества ценить людей, его возвеличивающих, — все еще появляются личности, подобные поэту Лермонтову».

Не совсем понятно, почему Дружинин употребляет множественное число, говоря о непосредственных «орудиях гибели» Лермонтова.

Прежде всего приходит в голову упорный слух о посторонних свидетелях, присутствовавших на самом месте поединка, — слух, столь волновавший воображение позднейших биографов Лермонтова. Основываясь на этих слухах, П. А. Висковатов писал в 80-х годах: «В дело вмешались и посторонние люди, как, например, Дорохов, участвовавший на 14 поединках. Для людей, подобных ему, а тогда в кавказском офицерстве их было много, дуэль представляла приятное препровождение времени, щекотавшее нервы и нарушавшее единообразие жизни и пополнявшее отсутствие интересов»²⁴. При этом Висковатов ставил Дорохова в один ряд с представителями власти, которые (биограф Лермонтова это понимал) толкали поэта к гибели.

Казалось бы, разгадка фразы Дружинина о «презренных орудиях» гибели Лермонтова найдена: косвенным виновником трагического исхода дуэли называли Дорохова. Но все дело в том, что подробные рассказы об убийстве Лермонтова Дружинин слышал в Пятигорске именно от Дорохова! Ибо человек, который хранил самое нежное воспоминание о Лермонтове, знал наизусть каждую его строчку, берег как святыню его портрет и говорил о погибшем друге со слезами на глазах, — оказался известным начальником «беззаветной команды», знаменитым бретером Руфином Дороховым. В этом легко убедиться, ознакомившись с вычеркнутым отрывком из черновой рукописи.

«Между всеми теми, которых мы в разное время вызывали на сообщение нам воспоминаний о поэте, мы по-

ним только одного человека, говорившего о нем охотно, с полной любовью, с решительным презрением к слухам о дурных сторонах частной жизни поэта, — но и он все-таки решительно отказался набросать хотя несколько заметок о своем покойном друге, отговариваясь ленью и служебными делами. Мы должны прибавить, что последняя причина была уважительна, наш приятель собирался в экспедицию, где и положил свою голову. Дружеские отношения его к Лермонтову были несомненны. За день до своего выступления из города П(ятигор)ска, где мы сошлись случайно, — он, укладываясь в поход, показывал нам мелкие вещицы, принадлежавшие Лермонтову, свой альбом с несколькими шуточными стихами поэта, портрет, снятый с него в день смерти, и большую тетрадь в кожаном переплете, наполненную рисунками (Лермонтов рисовал очень бойко и недурно). Картинки карандашом изображали по большей части сцены кавказской жизни, стычки линейных казаков с татарами и т. д. Кой-где между ними были еще стихи — отрывки из известных уже произведений, да опять шуточные двустопные и четверостопные, относящиеся к каким-то неизвестным лицам и не имеющие другого значения²⁵.

Так как, пользуясь правами рецензента, мы намерены передать читателям кое-что из устных рассказов приятеля Лермонтова, то не мешает предварительно сказать два слова о том, какого рода человек был сам рассказчик. Он считался храбрым и отличным кавказским офицером, носил имя, известное в русской военной истории; и, подобно Лермонтову, страстно любил кавказский край, хотя брошен был туда не по своей воле. Чин у него был небольшой, хотя на лицо мой знакомый казался очень стар и издержан, — товарищи его были в больших чинах, и сам он не отстал бы от них, если б в разное время не подвергался разжалованию в рядовые (два или три раза, — об этом спрашивать казалось неловко). Должен признаться, что знакомец наш, обладая множеством достоинств, храбрый как лев, умный и приятный в сношениях, — был все-таки человеком из породы, которая странна и даже невозможна в наше время, из породы удальцов, воспетых Денисом Давыдовым и памятных, по преданию, во многих полках легкой кавалерии. Живи он в двенадцатом году, при широкой дороге для военного разгула и дисциплине, ослабленной необходимостью, его прославляли бы как рубаку, и, может быть, за самые шалости его не взыскивалось бы со строгостью, но при мире и тишине

дела шли иначе. Молодость его прошла в постоянных бурях, шалостях и невзгодах, с годами все это стало реже, но иногда возобновлялось с великой необузданностью. Но, помимо этих периодических отклонений от общепринятой стези, Д—в был человеком умным, занимательным и вполне достойным заслужить привязанность такого лица, как Лермонтов. Во все время пребывания поэта на Кавказе приятели видались очень часто, делали вместе экспедиции и вместе веселились на водах. С годами, — когда подробные рассказы о последних годах поэта будут возможны в печати, — мы передадим на память несколько особенных приключений, а также подробности о последних днях Лермонтова, в настоящее же время, по весьма понятной причине, мы можем лишь держаться общих отзывов и общих рассуждений о его характере.

Лермонтов, — рассказывал нам его покойный приятель, — принадлежал к людям, которые не только не нравятся с первого раза, но даже на первое свидание поселяют против себя довольно сильное предубеждение. Было много причин, по которым и мне он не понравился с первого разу. Сочинений его я не читал, потому что до стихов, да и вообще до книг, не охотник, его холодное обращение казалось мне надменностью, а связи его с начальствующими лицами и со всем, что терлось около штабов, чуть не заставили меня считать его за столичную выскочку. Да и физиономия его мне не была по вкусу, — впоследствии сам Лермонтов иногда смеялся над нею и говорил, что судьба, будто на смех, послала ему *общую армейскую наружность*. На каком-то увеселительном вечере мы чуть с ним не посчитались очень крупно²⁶, — мне показалось, что Лермонтов трезвее всех нас, ничего не пьет и смотрит на меня насмешливо. То, что он был трезвее меня, — совершенная правда, но он вовсе не глядел на меня косо и пил, сколько следует, только, как впоследствии оказалось, — на его натуру, совсем не богатырскую, вино почти не производило никакого действия. Этим качеством Лермонтов много гордился, потому что и по годам, и по многому другому он был порядочным ребенком.

Мало-помалу неприятное впечатление, им на меня произведенное, стало изглаживаться. Я узнал события его прежней жизни, узнал, что он по старым связям имеет много знакомых и даже родных на Кавказе, а так как эти люди знали его еще дитятей, то и естественно, что они оказывались старше его по служебному положению. Вообще говоря, начальство нашего края хорошо ведет себя

с молодежью, попадающей на Кавказ за какую-нибудь историю, и даже снисходительно обращается с виновными более важными. Лермонтова берегли по возможности и давали ему все случаи отличиться, ему стоило попроситься куда угодно, и его желание исполнялось, — но ни несправедливости, ни обиды другим через это не делалось. В одной из экспедиций, куда пошли мы с ним вместе, случай сблизил нас окончательно: обоих нас татары чуть не изрубили, и только неожиданная выручка спасла нас. В походе Лермонтов был совсем другим человеком против того, чем казался в крепости или на водах, при скуке и бездельи. . . » *

3

Руфин Иванович Дорохов родился в 1801 году²⁷. В 1812 году мальчик был зачислен на военную службу. Отец его, герой Отечественной войны генерал-лейтенант Иван Семенович Дорохов, умер в 1815 году от ран, полученных при изгнании французов из Вереи. «На тринадцатом году жизни своей» Руфин был оставлен без надзора. . . на произвол его пылких страстей, — сказано в одном из сохранившихся документов²⁸. Едва выйдя из Пажеского корпуса в учебно-карабинерный полк, он убил на дуэли капитана²⁹. В 1823 году М. И. Пущин нашел его на Арсенальной гауптвахте, «содержащегося под арестом и разжалованного в солдаты»³⁰ «за буйство в театре и ношение партикулярной одежды», как сказано в формулярном списке Дорохова³¹. Пущин рассказывает, что «в театре на балконе Дорохов сел на плечи какого-то статского советника и хлестал его по голове за то, что тот в антракте занял место незанумерованное и им перед тем оставленное». «Через несколько лет, — вспоминает Пущин, — я встретился с Дороховым на Кавказе, другой раз разжалованным».

В 1827 году Дорохов прибыл в Нижегородский драгунский полк, под начальство генерала Н. Н. Раевского. На войне он участвовал вместе с сосланными декабристами в самых рискованных делах. Пущин описывает, как темной, ненастной ночью он вместе с Дороховым и декабристом Коновницыным осматривал занятую врагом крепость Сардарь-Абад. «Паскевич, довольный исполненным

* Здесь в рукописи почти две страницы оставлены чистыми.

поручением, чтобы отогреть нас, приказал подать две бутылки шампанского и с нами, тремя солдатами, их роспил»³².

Об участии Дорохова в осаде той же крепости вспоминает и декабрист А. С. Гангеблов. «В Персии, при осаде Сардарь-Абада, ночью при открытии траншей адъютант Сакена привел Дорохова на мою дистанцию работ и приказал дать ему какое-нибудь поручение»³³. «Генералы нашего отряда относились к нему как к сыну славного партизана Отечественной войны, их сослуживца, и старались так или иначе Дорохова выдвинуть», — указывает Гангеблов причину появления адъютанта. Однако Дорохов «всегда держал себя с достоинством, в самой личности его не было ничего похожего на низкопоклонство».

В течение всей войны мы видим Дорохова на самых опасных пунктах. В кавалерийском деле при Джаванбулахе он врубается вместе с серпуховскими уланами в персидскую конницу и берет в плен двух наездников; в деле под Карсом он участвует в качестве саперного офицера и первый устанавливает орудия на башне Темирпаша; при штурме Ахалцыха врывается в город в первых рядах ширванцев. На передних траншеях под Эриванью Дорохов был ранен в грудь и контужен осколком гранаты.

По окончании войны Дорохов был награжден золотой саблей с надписью «За храбрость» и произведен в поручики. В это время с ним встретился Пушкин. Упоминание об этой встрече он ввел в свою прозу: «Во Владикавказе нашел я Дорохова и Пущина. Оба схали на воды лечиться от ран, полученных ими в нынешние походы» («Путешествие в Арзрум»).

Поэт присоединился к обоим приятелям. Пушин живо изобразил в своих «Записках» полукомические инциденты, происходившие во время этого совместного путешествия. «По натуре своей Дорохов не мог не драться», — и Пушкин с Пушиным хохотали, глядя на его «повинную вытянутую фигуру».

«Он позволяет мне, — рассказывает Пушин, — прибить себя, если он кого-нибудь при мне ударит»³⁴.

Пушкин, по словам Пущина, находил «тému грации» в Дорохове и «много прелести в его товариществе».

Гангеблов тоже считал Дорохова «человеком благовоспитанным, приятным собеседником, острым и находчивым. Но все это, — оговаривается мемуарист, — было испорчено его неукротимым нравом, который нередко в

нем проявлялся ни с того, ни с сего, просто из каприза, и преследовал à outrance * тех, кто ему не нравился, и он этого не скрывал»³⁵.

С 1833 года Дорохов, уволившись «за ранами» от службы и женившись, живет в Москве. В 1834 году у него происходит «неприятная история» с отставным поручиком Нижегородского полка Д. П. Папковым. Считая своего давнишнего врага «дрянным офицером», Дорохов «поносил его честь» — несправедливо, по мнению суда. Папков стрелял в Дорохова на улице³⁶. Суд приговорил Папкова к наказанию, но потребовал у Дорохова признания перед судом в клевете. По этому поводу Дорохов пишет генералу Н. Н. Раевскому письмо, полное достоинства: «Это касается уже до чести — и я скорее умру, чем дозволю наложить малейшую тень на оную, — ибо праху моего родителя должен я отдать отчет в наследстве, им мне завещанном, — имени беспорочном, которое он мне оставил. . .»³⁷

В 1837 году у Дорохова уже новая «история». «Ты, может быть, слышала о геркулесовском подвиге г-на Дорохова, который чуть не убил г-на Сверчкова в кабинете кн. Вяземского, — иронически писала Н. П. Шаликова 30 августа 1837 года С. Д. Кареевой. — Жизнь Сверчкова была в опасности, однако благодаря счастливой звезде г-на Дорохова он выздоровел. Полагают, что дело будет замято, ведь судьба покровительствует повесам. . . вот видишь, милая, как романтично! . .»³⁸

Но дело обернулось гораздо серьезнее. Дорохов был арестован и тяжело заболел в тюрьме. Очевидно, виновному угрожали каторжные работы, потому что «высочайшая» конфирмация о назначении его рядовым в Навагинский пехотный полк последовала только весной, да и то в результате усиленных хлопот В. А. Жуковского. Поэт просил наследника поговорить с царем, склонил на свою сторону Бенкендорфа, добился у московского генерал-губернатора облегчения режима арестованного. Правда, Жуковский заступился за Дорохова только ради его жены, но интересно, что сам потерпевший тоже присоединился к этим хлопотам. «Я виделся с князем Вяземским; и он, и Сверчков готовы сделать все возможное», — писал Жуковский М. А. Дороховой, к которой он относился с отеческой нежностью³⁹.

* беспощадно (фр.).

1 марта 1838 года Дорохов за «нанесение кинжальных ран» отставному ротмистру Сверчкову был назначен рядовым до выслуги в Навагинский пехотный полк. Но он «ранен в ногу, ходить не может, следственно будет плохой солдат в пехоте, — пишет Жуковский Н. Н. Раевскому в апреле 1838 года, — посадите его на коня: увидите, что он драться будет исправно. Одним словом, нарядите его казаком»⁴⁰. Раевский исполнил просьбу Жуковского и прикомандировал своего бывшего подчиненного к казачьим линейным войскам. Казацкий наряд как нельзя лучше подошел Дорохову. «Я запорожец в душе», — писал он в одном из своих позднейших писем⁴¹. «Вы водворили его в свою сферу», — благодарно писала М. А. Дорохова Жуковскому⁴².

Дорохов был назначен в десантный отряд, строящий Вельяминовский порт при устье реки Туапсе. Во время сильной бури, разразившейся 31 мая 1838 года, Дорохов бросился с несколькими солдатами в лодку и после шести часов борьбы с волнами был выброшен на противоположный берег реки, где потерпевшие крушение матросы отражали нападения черкесов⁴³. «За отличное мужество и самоотвержение, оказанное при крушении судов у черкесских берегов» Дорохов был произведен в унтер-офицеры. Подробности этого события описаны в уже упоминавшемся письме М. А. Дороховой к Жуковскому (12 июля 1838 года). «Руфин с товарищами вернулись, изнемогая от усталости и промокшие до костей, — пишет она по-французски. — Мой бедный муж, едва излечившийся от длительной и тяжелой болезни, схватил ужасную простуду, и начальник отправил его в госпиталь на излечение. Но он мне пишет, что не будет ждать своего выздоровления, и если предстоит новая экспедиция, он непременно постарается в ней участвовать. Для того, чтобы мне показать, как хранит его провидение, он прислал мне свою солдатскую фуражку, пробитую двумя пулями. . . Мой муж представлен к производству. . .»

М. А. Дорохова переписывает для Жуковского новую, очень слабую по форме, песню, сочиненную Дороховым, — «Что грустишь ты, казак». «Заметьте, что мой бедняга Руфин выдает себя в этой песне с головой, — пишет она, — ясно видно, что из всех постигших его бед больше всего его терзает потеря сабли с надписью «за храбрость». Вообразите, я ревную. Он по сабле тоскует более, нежели по жене. . . Но так как мой муж не желает никогда боль-

ше расставаться с военной службой, я прощаю ему, что он сделал моей соперницей золотую саблю...»

Это письмо, ярко характеризующее солдатскую натуру Дорохова, относится уже к периоду, близкому к началу дружбы с ним Лермонтова. В 1840 году мы видим Дорохова во главе собранной им команды охотников, в которую входили казаки, кабардинцы, много разжалованных. Эта команда, действуя партизанскими методами борьбы, обращала на себя внимание отчаянностью всех ее участников. 10 октября Дорохов был ранен и контужен на речке Хулху-лу и передал командование своими «молодцами» Лермонтову. Ранение Дорохова в ногу было тяжелым. Один глаз был поврежден (следствие контузии головы).

В 1841 году мы видим Дорохова рядом с Лермонтовым в Пятигорске. В 1843 году он вышел в отставку. Шесть последующих лет его жизни остаются несчастливыми. В феврале 1849 года он явился к П. Х. Граббе с просьбой выдать ему свидетельство, поручающее его покровительству Комитета инвалидов⁴⁴. Просьба Дорохова была исполнена бывшим командующим войсками на Кавказе «из уважения к памяти отца». Но через полгода какие-то новые происшествия заставили уже немолодого и изувеченного Дорохова опять надеть военный мундир. «Я, наконец, поступаю на службу, а война кончена! Признаюсь вам, этой насмешки от судьбы я не ожидал», — пишет он 10 августа 1849 года из Варшавы в Петербург. Старый вояка не разбирается в политических целях войны, он рвется в бой, чтобы снова добиться возвращения прежнего офицерского чина. «Я просто в отчаянии от моих неудач, и если бы не религия и не железный мой характер, то не знаю, на что бы другой решился на моем месте», — пишет он⁴⁵. Летом 1851 года Дорохов уже в Пятигорске, где перед отправлением в свою последнюю экспедицию успел рассказать Дружинину историю гибели Лермонтова. Из этого похода Дорохов не вернулся. 18 января 1852 года вместе с большим отрядом во главе с «атаманом всех кавказских казаков» генерал-майором Ф. А. Круковским Дорохов попал в засаду в Гойтинском ущелье и был изрублен противником. Тело Дорохова не было вынесено из боя. «Только через три недели князь Барятинский выкупил его у чеченцев за 600 рублей. Его доставили в лагерь, расклеванного хищными птицами и обглоданного шакалами»⁴⁶.

Судьба Руфина Дорохова заинтересовала Л. Н. Толстого. Некоторыми чертами его характера и биографии писатель наделил образ Долохова в романе «Война и мир».

4

Лермонтов познакомился с Дороховым на Кавказе в 1840 году, когда оба были прикомандированы к чеченскому отряду генерал-лейтенанта Галафеева. Из рассказа Дружинина мы узнаем подробности этого знакомства. Совместная боевая деятельность обоих ссыльных известна. Лермонтов «получил в наследство от Дорохова, которого ранили, отборную команду охотников», как сообщал он сам А. А. Лопухину. А Дорохов писал 18 ноября 1840 года М. В. Юзефовичу: «По силе моих ран я сдал моих удалых палетов Лермонтову. Славный малый — честная, прямая душа — не сносить ему головы. Мы с ним подружились и расстались со слезами на глазах. Какое-то черное предчувствие мне говорило, что он будет убит. Да что говорить — командовать летучею командою легко, но не малина. Жаль, очень жаль Лермонтова, он пылок и храбр, — не сносить ему головы»⁴⁷. Предчувствие друга поэта оправдалось менее чем через год. Но из экспедиции Лермонтов вернулся. «Во главе отряда» Лермонтов «оказывал самоотвержение выше всякой похвалы», — писал генерал Галафеев в наградном списке. Известен плачевный результат этого представления поэта к отличию. Попытка разжалованного героя дать возможность Лермонтову отличиться осталась безуспешной.

После окончания экспедиции Лермонтов встречался с Дороховым в Ставрополе, в избранном кругу кавказских офицеров, среди которых были сосланные декабристы. Затем оба друга встретились в 1841 году в Пятигорске. К этому времени относится сближение их имен историком Нижегородского полка.

«В Черкеевской экспедиции нижегородцы рассчитывали видеться с двумя своими старыми однополчанами — с Руфином Дороховым и М. Ю. Лермонтовым, которых роковая судьба опять привела на Кавказ, помимо их воли. Оба они принадлежали к войскам чеченского отряда, и обоих не было в экспедиции. Дорохов лечился от ран, полученных в минувшем году, а Лермонтов, ездивший в отпуск, остался на возвратном пути в Пятигорске.

Но хотя нижегородцам не пришлось их увидеть, они слышали о них рассказы и не могли не интересоваться судьбою их, как старых товарищей. Имя Лермонтова достигло тогда уже колоссальной славы, а о Дорохове говорил весь Кавказ как о человеке исключительном и по своей фатальной судьбе и по тем подвигам, которые два раза высвобождали его из-под серой шинели»⁴⁸.

Именно поэтому начальник штаба А. С. Траскин с таким неудовольствием писал о Дорохове к П. Х. Граббе в своем сообщении о гибели Лермонтова: «Пятигорск наполовину заполнен офицерами, покинувшими свои части без всякого законного и письменного разрешения, приезжающими не для того, чтобы лечиться, а чтобы развлекаться и ничего не делать; среди других сюда прибыл г-н Дорохов, который, конечно, уж не болен»⁴⁹. Какие-то неясные слухи ходили об участии Дорохова в ссоре и дуэли Лермонтова с Мартыновым. В них-то нам и надо разобратся.

Кавказский офицер Н. П. Раевский, живший в 1841 году в Пятигорске вместе с М. П. Глебовым в доме Верзилиных, рассказывал: после вызова Мартынова к ним пришел «некий поручик Дорохов, знаменитый тем, что в четырнадцати дуэлях участие принимал, за что и назывался он у нас бретер. Как человек опытный, он нам и дал совет:

— В таких, говорит, случаях принято противников разлучать на некоторое время. Раздражение пройдет, а там, бог даст, и сами помирятся».

По словам Раевского, друзья послушались Дорохова и отправили Лермонтова со Столыпиным в Железноводск. Когда выяснилось, что Мартынов мириться не хочет, «бретер Дорохов опять слово вставил: «Можно, господа, так устроить, чтобы секунданты поставили какие угодно условия»⁵⁰. Таким образом, у Раевского осталось впечатление, что Дорохов давал секундантам разумные советы, как избежать дуэли.

Еще подробнее рассказывает об этом Н. А. Кузминский со слов своего отца, жившего в Пятигорске летом 1841 года: «Лермонтовский кружок решил отправить Лермонтова со Столыпиным в Железноводск, будучи вполне убежден, что время даст забыть ссору: все забудется и пойдет своею обычною колеєю... В тот же день лермонтовский кружок посетил Мартынов; он пришел сильно взволнованный, на лице была написана решимость.

— Я, господа, — произнес он, — дожидаться не могу. Можно, наконец, понять, что я не шучу и что я не отступлю от дуэли.

Лицо его вполне говорило о том, что он давно обдумал этот решительный шаг; в голосе слышалась решимость. Все поняли тогда, что это не шутка. Тогда Дорохов, известный бретер, хотел попытаться еще одно средство... Уверенный заранее, что все откажутся быть секундантами Мартынова, он спросил последнего: «А кто же у вас будет секундантом?» — «Я бы попросил князя Васильчикова», — ответил тот: лица всех обратились на Васильчикова, который, к изумлению всех, согласился быть секундантом. «Тогда нужно, — сказал Дорохов, — чтобы секундантами были поставлены такие условия, против которых не допускались бы никакие возражения соперников»⁵¹.

Эмилия Александровна Шан-Гирей* передавала за верное, что Дорохов сопровождал противников и секундантов до самого места поединка⁵².

Другой очевидец в своем рассказе о вечере 15 июля упомянул: «Прискакивает Дорохов и с видом отчаяния объявляет: вы знаете, господа, Лермонтов убит!»⁵³

В переговорах со священником, отказывавшимся хоронить Лермонтова, «Дорохов горячился больше всех», — вспоминает А. С. Гангеблов. Дорохов «просил, грозил, и, наконец, терпение его лопнуло: он как буря накинулся на бедного священника и непременно бы избил его, если бы не был насильно удержан князем Васильчиковым, Львом Пушкиным, князем Трубецким и другими»⁵⁴.

Казалось бы, все эти детали, запомнившиеся разным людям, свидетельствуют о дружеском участии Дорохова к Лермонтову. Но были люди, которые приписывали ему совсем другую роль, и в их числе «госпожа А(лександров)ская», жена протоиерея, на которого набросился Дорохов. Задетая какими-то замечаниями в воспоминаниях Раевского, она откликнулась в «Ниве» на его рассказ.

«Вот как это было, — пишет Александровская в 1885 году. — Накануне памятной, несчастной дуэли, вечером пришел к мужу моему г. Дорохов, квартировавший у нас в доме на бульваре, и просил верховую лошадь ехать за город недалеко; мой муж отказывал ему, думая, не какое ли нибудь здесь неприятное дело, зная его как

* Жена А. П. Шан-Гирей, падчерица генерала П. С. Верзилина.

человека уже участвовавшего в дуэлях, и не соглашался, желая прежде знать, для чего нужна лошадь. Но тот убедительно просил, говоря, что лошадь не будет заморена и скоро ее доставят сохранно и неприятности никакой не будет; муж согласился, и действительно лошадь привели вечером не заморенной»⁵⁵.

Далее Александровская рассказывает, как в шесть-семь часов следующего дня к священнику пришли друзья Лермонтова просить о церковном погребении убитого.

«Они ушли, — продолжает она, — а муж позвал меня к себе и сказал: «У меня было предчувствие, я долго не решался давать лошадь Дорохову. Вчера вечером у подошвы Машука за кладбищем была дуэль; Лермонтова убил Мартынов, а Дорохов спешил за город именно поэтому. — И, опять задумавшись, сказал: — Чувствую неволью себя виновным в этом случае, что дал лошадь. Без Дорохова это могло бы окончиться примирением, а он взялся за это дело и привел к такому окончанию, не склоняя противников на мир».

О поведении священника в этот день мы знаем из официальных документов, обнаруженных в 90-х годах. Александровский отказывался отпевать Лермонтова и только, когда Столыпин дал ему двести рублей, согласился прогнать покойника*. Естественно, что попадьа отрицала этот факт, упомянутый и Раевским. О столкновении Дорохова со священником, описанном Гангебловым, она тоже умолчала.

Само собой разумеется, что никто из друзей Лермонтова не посвящал протоиерея в подробности ссоры поэта с Мартыновым. Александровский не мог знать, кто мирил, а кто ссорил противников. Разозленный Дороховым, он свалил на него всю вину, не имея к тому никаких реальных оснований. Против обвинений попадьи решительно протестовала Э. А. Шан-Гирей. «Несправедливо также предполагать Дорохова подстрекателем», — заявляла она⁵⁶. Но Висковатов твердо стоял на позиции виновности Дорохова, чрезвычайно субъективно толкуя все упоминания о нем в своих разысканиях. В Пятигорске рассказывали, например, что задержка Лермонтова в колонии Каррас по дороге из Железноводска к месту дуэли произошла согласно заранее намеченному плану друзей поэта: они, мол, надеялись привезти туда Мартынова, чтобы попытаться в последний раз примирить противни-

* См. ниже, в главе «Дуэль и смерть», с. 258.

ков. Говорили, что Мартынов действительно приехал в Каррас (это не подтверждается другими материалами); одни полагали, что его привез Васильчиков, другие — Дорохов. Последнее «сомнительно, — пишет Висковатов, — потому что в Пятигорске старожилы говорили, что Дорохов 15 июля под вечер много разъезжал верхом на коне». Казалось бы, этот факт свидетельствует только о каком-то беспокойстве Дорохова, но Висковатов всецело положился на подозрения неизвестных обывателей: «Знавших этого человека его суетня поразила: что-нибудь да замышляется недоброе, если Дорохов так суетится». При этом, передавая настроения жителей того времени, Висковатов отсылает читателя к приведенному нами рассказу Александровской. «Мне же она и в 1888 году говорила вышеозначенную фразу», — признается он. Вот на чем строил исследователь свою версию — на пристрастных рассказах попадьи!

Теперь, когда мы узнали от Дружинина об исключительной привязанности Дорохова к Лермонтову и прочли его письмо к Юзефовичу, мы уже не сомневаемся в том, что «суетня» его была вызвана желанием спасти друга. Но ошибочная версия Висковатова о роли Дорохова в дуэли Лермонтова до сих пор путает наше представление об обстановке поединка. Я имею в виду слух о посторонних свидетелях дуэли, упорно державшийся в Пятигорске.

«Есть полное вероятие, — пишет Висковатов, — что кроме четырех секундантов: кн. Васильчикова, Столыпина, Глебова и кн. Трубецкого, на месте поединка было еще несколько лиц в качестве зрителей, спрятавшихся за кустами, — между ними и Дорохов». «Этот слух доходил и до Лонгинова. . . — добавляет автор в примечании, называя еще некоего Тимирязева, слышавшего в Пятигорске нечто подобное. — Кто были эти господа, конечно, останется недознанным. Не подлежит сомнению, что на месте поединка был Дорохов. . .» Когда в 80-х годах Висковатов обратился к супругам Шан-Гиреям и А. И. Васильчикову, он спрашивал их не столько о Дорохове, сколько о целой группе зрителей. Эмилия Александровна ответила, что «она того не знает: — мало ли какие ходили слухи! — сказала она. — А участвовал Дорохов, — но это было скрыто на следствии, как и участие Столыпина и Трубецкого». «Когда я указывал кн. Васильчикову на слух, сообщаемый и Лонгиновым, — повествует Висковатов, — он сказал, что этого не ведает, но когда утверди-

тельно заговорил о присутствии Дорохова, князь, склонив голову и задумавшись, заметил: «может быть, и были. . .»⁵⁷

Васильчиков всякий раз настораживался, когда речь заходила о Дорохове. В «Эпilogе» своей книги Висковатов повторяет: «Князь Васильчиков упорно молчал относительно других лиц, свидетелей дуэли. Он и о Дорохове почему-то говорить не хотел. . .» Догадываясь, в каком резком освещении Дорохов нарисовал Дружинину картину гибели Лермонтова, мы начинаем понимать, почему Васильчиков избегал о нем говорить. Вероятно, Дорохов знал те подробности несчастья, которые противник поэта и секундант на дуэли хотели скрыть. Думается, что он был непрошеным свидетелем на самом месте поединка, и, может быть, его-то и имел в виду некий Н. Д. С — н, утверждавший, что «Лермонтов умер на руках офицера, выслужившегося из солдат»⁵⁸. Но так как Висковатов упорно приписывал Дорохову роль подстрекателя, то выплыла старая версия о группе посторонних зрителей, подзадоривавших Мартынова. Теперь ее можно подвергнуть сомнению.

Для нас важно другое: из всех приведенных материалов явствует, что в эти июльские дни в Пятигорске Дорохов был в самом центре событий. А следовательно, его рассказ о гибели Лермонтова приобретает особенное значение.

Дружинин, узнавший подробности катастрофы, не решился предать их гласности.

Но рассказ Дорохова, слышанный Дружининым, — первый сигнал, поступивший с самого места катастрофы. И сигнал этот был таков, что позволил «джентльмену» Дружинину, постоянно выступавшему в защиту дворянских традиций, называть Мартынова «презренным орудием» гибели Лермонтова. Все это указывает на то, что Дорохов — признанный знаток дуэльных правил, сам знаменитый брeтер — оценивал свершившийся поединок как преступление.

Разжалованный офицер Руфин Дорохов оказался преданнейшим другом Лермонтова, а либеральный общественный деятель А. И. Васильчиков — скрытым врагом поэта.

Дорохов помнил, как Лермонтов создавал бессмертные шедевры: «Выхожу один я на дорогу. . .», «Пророка», «Морскую царевну», «Свиданье». . . Ему казалось, что он даже знает поводы, послужившие толчком к творческой фантазии Лермонтова. Литератор Васильчиков не замечал поэтического вдохновения своего пятигорского приятеля. «Все мы тогда не сознавали, что такое Лермонтов, — говорил он П. А. Висковатову. — Иное дело смотреть ретроспективно»¹.

Дорохов и А. В. Дружинин проклинали в Пятигорске лиц, допустивших гибель Лермонтова, то есть секундантов. Васильчиков предпочитал говорить в своих позднейших выступлениях о нелюбви к Лермонтову при дворе.

Знаменитый дуэлянт, считавшийся подстрекателем Мартынова, называл противника Лермонтова «презренным орудием» его гибели. Независимый либерал заключил свой рассказ о дуэли обвинением убитого, ссылаясь на его строптивый, беспокойный нрав².

Выступление Васильчикова сразу вызвало скептические отклики современников. А. И. Арнольди, живший в Пятигорске одновременно с Лермонтовым, замечал: «Мартынов молчит, а Васильчиков рассказывает в «Русском архиве» 1872 года о происшествии так, как оно сложилось людскою молвою»³. Резкий комментарий к выступлению Васильчикова мы находим в эпизоде, записанном А. С. Сувориным в дневнике 1899 года: «Васильчиков о Лермонтове: — Если б его не убил Мартынов, го убил бы кто другой; ему все равно не сносить бы головы. — Васильчиков в Английском клубе встретил Мартынова. В клуб надо было рекомендацию. Он спрашивает одного — умер, другого — нет. Кто-то ударяет его по

плечу. Обернулся — Мартынов. — Я тебя запишу. — Взял его под руку, говорит: — Заступись, пожалуйста. А то в Петербурге какой-то Мартьянов прямо убийцей меня называет. — Ну, как не порадеть! Так и с Пушкиным поступали. Все кавалергарды были за Дантеса»⁴.

Эта запись редактора реакционной газеты «Новое время» сделана со слов П. А. Ефремова, известного издателя и редактора сочинений Пушкина и Лермонтова. Упомянув П. К. Мартьянова, Ефремов имел в виду не статью его, напечатанную в 1870 году по свежим впечатлениям от поездки в Пятигорск, а устные рассказы литератора о некоторых обстоятельствах дуэли. После смерти в 1875 году Мартынова, а в 1881-м Васильчикова Мартьянов выступил в печати с подробностями: обвиняя еще более резко Мартынова, он разоблачал также провокационную роль Васильчикова. Очевидно, Ефремов разделял выводы Мартьянова, но сам никогда не решался выступить по этому вопросу в печати против Васильчикова, с которым был связан сложными литературными и издательскими отношениями.

Статьи П. К. Мартьянова о последних днях жизни поэта в Пятигорске, печатавшиеся уже в начале 90-х годов, были встречены неодобрительно прогрессивно настроенными читателями из-за развязного тона автора, отсутствия документальных доказательств. Да и общественно-политическая физиономия П. К. Мартьянова, сотрудника «Нового времени», автора солдатских стихов, печатавшихся в казенно-благонамеренных военных изданиях, не внушала доверия. Спор о правильности сведений Мартьянова так и остался неразрешенным до наших дней. Многие советские лермонтоведы берут Васильчикова под свою защиту, считая предъявленные ему обвинения невероятными. Взаимоотношения его с поэтом представляются им безупречными. «По-видимому, поэту нравился молодой юрист Васильчиков, который отличался самостоятельностью суждений и не принадлежал к искателям чинов и должностей», — читаем в одной из биографических работ о Лермонтове⁵. Далее вывод о самостоятельности суждений Васильчикова подкрепляется определением его политической позиции: «Высокое положение отца, казалось, должно было способствовать блистательной карьере Васильчикова, и, конечно, он достиг бы самых высоких должностей, если бы он не обладал независимым характером, что раздражало и восстанавливало против него Николая I».

Такое деление на карьеристов и «независимых» представляется, однако, слишком общим.

Необходимо конкретнее представить себе политическую физиономию А. И. Васильчикова в молодости.

Прежде всего напомним основные вехи биографии его отца.

Генерал-адъютант Илларион Васильевич Васильчиков оказал поддержку Николаю I на Сенатской площади 14 декабря 1825 года. С этих пор началось его возвышение. В 1831 году он, подобно А. Ф. Орлову, был возведен царем в графское достоинство. В 1838-м Николай назначил его председателем Государственного совета вместо намечаемого на этот пост М. М. Сперанского. С 1 января 1839 года граф Васильчиков был возведен в княжеское достоинство. Он был ближайшим фаворитом Николая, царь и члены его семьи нередко посещали дом Васильчикова.

Его сын Александр, бывший с 1835 по 1839 год студентом юридического факультета Петербургского университета, имел совершенно другие устремления. Мы уже говорили о его репутации «свободомыслящего»*. М. Б. Лобанов-Ростовский, знавший его на последнем курсе, вспоминал, что Васильчиков «пользовался властью трибуна в весьма анархической республике своих товарищей, соединившихся в корпорации по немецкому образцу». Рисуя портрет Васильчикова, автор воспоминаний подчеркивает его ораторские данные. «Это был человек, — пишет он, — очень высокого роста, брюнет с длинным и строгим лицом, краснобай (blagueur) с могучим голосом, человек прекрасного сердца и благородной души, что составляет отличительную черту всей этой семьи, но недалекого ума и малосведущий, как все остальные его родичи»⁶. Характеристика очень беглая и субъективная. Но в ней существенны указания на видную роль, которую Васильчиков играл среди своих сокурсников.

«В студенческом кружке Александр Илларионович был избран старшиной»⁷, — сообщает также и автор биографического очерка об А. И. Васильчикове А. Голубев.

Переписка Васильчикова и другие материалы 1839 года подкрепляют эти сведения.

«Я забыл вам сказать, что вы решительно первый студент нашего курса, поздравляю вас», — пишет ему Сергей Долгорукий⁸. «Первому студенту А. Васильчико-

* См. главу «Кружок шестнадцати», с. 132 и 138.

ву», — адресуют шуточную записку два других сокурсника — Петр Шувалов и Иван Рибопьер⁹. «Все спрашивают меня о вас и кланяются вам. Вы становитесь популярным», — пишет ему студент Гаврила Сахаров¹⁰.

«Те, которые посвятили какое-нибудь ученое сочинение обществу, имеют большее право на избрание их в советники, а те, которые в продолжение всего своего бытия в университете не оказали себя сильными в какой-нибудь избранной ими науке, те не имеют права на диплом общего к нему особенного внимания», — сочиняет Васильчиков правила организуемой им студенческой «бурсы»¹¹. Последняя курьезная фраза показывает, что и в учебных занятиях, и в «анархической республике» студентов личное соревнование играло большую роль. Интересно привести в этой связи эпизод, рассказанный С. Н. Карамзиной в письме к брату Андрею 3—5 июня 1837 года.

«Вольдемар только что блестяще выдержал последний экзамен, так что товарищи даже немного ему завидуют, и один из них, Васильчиков, с которым он был связан дружбою, выразил удивление, что Вольдемар всегда получает четыре балла, тогда как он и другие только три с половиной, и, наконец, сказал ему: «На экзамене по истории, дорогой мой, вы отвечали не лучше нас, однако же, получили больше баллов; я думаю, что на профессоров подействовала слава вашего отца». Вольдемар, который никогда за словом в карман не лезет, не преминул возразить: «Совсем как в прошлом году, мой милый, когда я думал, что эполеты вашего отца подействовали на профессоров в вашу пользу» (он выдержал экзамен посредственно, а отец его все время на них присутствовал). На что Васильчиков ему ответил: «Хорошо, с этой минуты между нами все кончено», — взял свою шляпу и ушел»¹². Первый оскорбив товарища под влиянием завистливого чувства, Васильчиков не стерпел намека на покровительство его могущественного отца. Видно, что Карамзин задел больное место своего товарища. Васильчиков не любил, когда ему напоминали о заслугах и положении отца. Через четыре года подобная уязвимость доставила ему в лермонтовском кружке меткую кличку «мученик фавора».

Студенческая ссора произошла, когда обоим товарищам было по девятнадцать лет. Но те же особенности были характерны для Васильчикова на протяжении всей его жизни. Об этом свидетельствует портрет его в ста-

рости, принадлежащий перу редактора «Русской старины» М. И. Семевского. Запись сделана в 1880 году:

«Князь Васильчиков живет на Английской набережной в собственном доме. Весьма роскошная обстановка свидетельствует, что князь унаследовал от своего отца, некогда председателя Государственного совета, и от своих бездетных братьев большое достояние. Кабинет его составляет громадную комнату, обставленную весьма дорогими шкафами, наполненными отличною библиотекою. Вся обстановка свидетельствует о том, что князь посвящает значительную часть своего времени занятиям научным и не прочь дать почувствовать своим посетителям именно характер своих занятий. Фигура князя высокая, длинная, очень худощавая, бледная, с коротко обстриженными волосами и тусклыми, глубоко впавшими глазами. Едва ли надо напоминать, что князю Васильчикову принадлежат весьма объемистые, имеющие свои достоинства сочинения, каковы «О самоуправлении» и «О землевладении». Известно также, что в молодости он имел несчастье быть свидетелем трагической кончины поэта Лермонтова, в качестве его секунданта. Затем известно, что он принадлежал к кружку наших наиболее замечательных передовых двигателей, каковы: князь Черкасский, Самарин и другие. Наконец, известно, что он постоянно избирается одним или двумя земствами в гласные (новгородское земство) и в гласные Петербургской городской думы. Но известно также, что по характеру своему князь довольно неуживчивый, что источником этого служит не что другое, как непомерно громадное самолюбие и честолюбие этого человека. Теперь он стоит в стороне от правительственных, земских и городских общественных сфер и едва ли смирится с этим положением»¹³.

Самолюбие и раздражительность А. И. Васильчикова засвидетельствованы во многих письмах и мемуарах.

С характеристикой М. Семевского перекликаются также слова А. Голубева о «мнительности» Васильчикова, о том, что он «неохотно сближался с людьми». «Тот, кто мало знал его, — добавляет биограф Васильчикова, — тот постоянно мог думать о гордости, надменности, чопорности и холодности князя». Интересно заключение Голубева: «Начиная с внешнего вида и кончая его отношениями с людьми Александр Илларионович до самой смерти остался барин». Еще важнее для нас наблю-

дения Голубева о репутации Васильчикова: «Личность Александра Илларионовича своеобразная и, можно сказать, спорная; в обществе и литературе на него смотрят различно: одни ставят его на недосыгаемый пьедестал, другие же полуснисходительно отводят ему место в числе заурядных людей. Одни относятся к нему, как к человеку с обширным образованием, с серьезным строгим умом, с практическим знанием экономической русской жизни, как к человеку передовому и притом «не сходявшему с русской национальной основы»; другие же практическую его деятельность считают не только бесполезною, но даже вредною, а в литературной находят лишь легкомыслие и не признают в авторе не только серьезных знаний, но даже и умения грамотно писать»¹⁴.

Такое же двойственное впечатление остается от образа действий Васильчикова как в университете, так и в Пятигорске.

Во времена студенческой «бурсы» он пытался писать повести. Одна из них, названная «Две любви, две измены», наполнена стерсотипными жалобами на скуку, царящую в пстербургском обществе. Автор весьма неуклюже дает им политическую окраску, стремясь передать «эту атмосферу, нагретую одной модной лавкой, с небывалой страстью, зараженную пошлой лестью придворных и рабской лестью царедворцев»¹⁵. «Твой взгляд на жизнь и общество мне нравится», — пишет ему Гаврила Сахаров, прочитав повесть¹⁶.

Один из «бурсаков» посылает Васильчикову свои немецкие стихи, другой чувствует себя Чацким. «Я хотел немножко с тобой пошутить, — пишет он, — отвечая гексаметром на твой рифмованный мотт и «выходит дело» — как говорит экзекутор в *Архивариусе* — что я написал прекрасные, глубокомысленные стихи, это правда, несчастье! И, открыв такой талант, я тебе напишу сатиру, как некогда к Мольеру писал Буало, но скажу не как он: «Мольер, научи меня искусству не рифмовать больше», но: «искусству не иметь столько ума»¹⁷. Упомянутое о «рифмованном мотте» Васильчикова показывает, что он иногда писал и эпиграммы. «У меня кое-что поважнее в голове, — читаем в другом письме (французском), — и даже на бумаге. Да, мой милый! Я много думал, писал не слишком много, но то, что следует, и вскоре, приподняв завесу, я скажу: смотрите и присоединяйтесь»¹⁸.

Таково было направление умов в этой маленькой

«республике», именуемой «бурсой». Хотя она была организована по образцу немецких студенческих корпораций, задумана она была Васильчиковым в противовес немецкому «буршеству».

Провозглашенные им лозунги представляли собой смесь шовинистических и вольнолюбивых идей. В новое общество могли входить только русские. «Нечего вам объяснять причину отделения от немцев, это делалось по общему влечению, — читаем в черновике вступительной речи Васильчикова. — И прежде было видно к сему желание в некоторых, которое мало-помалу распространилось во многих, вдруг вспыхнуло и осуществилось. Это показывает нам, как будто русские, почувствовав свою собственную силу, воспрянули от долгого сна и выбросили из себя вкоренившееся мнение: что мы без немцев ничего не сделаем! Это пагубное предубеждение еще многие занимает умы и тем самым ослабевает (! — Э. Г.) нашу партию»¹⁹. Русским языком Васильчиков в ту пору владел еще плохо. Выраженные же здесь мысли, возможно, отражают дворцовые интриги, разделяющие у подножия трона две враждующие партии — «русскую» и «немецкую». «Русскую» олицетворяли князь И. В. Васильчиков и граф А. Ф. Орлов, самой яркой фигурой из так называемой «немецкой» партии был граф А. Х. Бенкендорф и другие представители остзейского дворянства, занимавшие в аппарате правительства Николая I важнейшие административные посты.

В дни смерти Пушкина эта борьба приняла даже определенное общественно-политическое значение. «Времена Бирона миновались!» — восклицал автор анонимного письма, посланного А. Ф. Орлову. Требуя сурового наказания Дантеса и высылки «презренного» нидерландского посланника, он рисовал те явления, которые «день ото дня делаются для нас нестерпимее»: «открытое покровительство и предпочтение чужестранцам», «неограниченная власть, врученная недостойным лицам, стая немцев...»²⁰. Как известно, анонимные письма произвели на Николая впечатление разорвавшейся бомбы. Бенкендорф объявил, что теперь он уже не сомневается в существовании тайного общества. Между тем «русская» партия при дворе, по существу, ничем не отличалась от «немецкой». Обе поддерживали трон Николая I, и «русские» сановники — «свободы, гения и славы палачи» — «таились под сению закона» наравне с космополитическим

кружком Нессельроде. Лермонтов это понимал еще в 1836 году, когда писал в «Сашке»:

.. Или трудясь как глупая овца
В рядах дворянства, с рабским униженьем,
Прикрыв мундиром сердце подлеца,
Искать чинов, мирясь с людским презреньем,
И поклоняться немцам без конца?

«Сердце подлеца», прикрытое мундиром, уже предвещает «надменных потомков известной подлостью прославленных отцов». Возмущение против остзейских баронов сливалось у Лермонтова с негодованием против всего бюрократического аппарата царского правительства.

«Бурсаки» иногда были способны на дерзкие фразы. Вот один из товарищей пишет А. Васильчикову летом 1839 года: «О здешней нашей жизни и происшествиях, могущих тебя заинтересовать, мало чего сказать. Наша публичная жизнь обыкновенно так занимательна важными происшествиями, как, например, благодетельными указами, производствами, награждениями, разводами и проч. и проч., она умолкла: недостает того лучистого центра, откуда она заимствует все свое разнообразие и живость, — его императорское величество в отсутствии»²¹. Если здесь говорится о царе с иронией, то уж совсем неуважительно упоминается самодержец в другой записке — в шутовском «отречении» двух подвыпивших друзей Васильчикова: «Господин де Рибоьеррр! и граф Шувалов торжественно отказываются от какой бы то ни было политической цели при посещении сегоднешнего бала в Благородном собрании и обещают, что направят свое внимание только на дам...»²² Упоминание в этой дурашливой записке о политической цели, хотя бы и в негативной форме, знаменательно. Собираясь на традиционный бал 6 декабря, чтобы «чувствовать тезоименитство нашего высокочтимого государя императора Николая I», повесы изображают предстоящие им развлечения такими чертами и в таких неудобных для печати выражениях, что имя монарха в этом контексте звучит издевательски.

Один из авторов приведенной записки — Петр Павлович Шувалов, младший брат Андрея Шувалова, члена кружка «шестнадцати»*. Как мы помним, на рисунке

* В 1837 г. Петр Шувалов вместе с Павлом Вяземским пришел прощаться к скончавшемуся Пушкину, чем привел в негодование графиню Юлию Строганову²³. Принадлежит к «партии врагов Пушкина»,

Г. Гагарина, изобразившего их собрание в зиму 1839—1840 года, Петр Шувалов тоже присутствует. Но пока «бурсаки» учились в университете, они — по железному закону, выработанному Васильчиковым, — не имели права входить в другие общества. «Участвующий в другом каком-нибудь обществе у нас быть не может; выйти может всякий, но должен дать расписку, что все секретное сохранит, не передав никому, — гласит пункт устава, — в противном случае, ежели кто докажет, что он проговорился кому-нибудь постороннему, то он должен выходить вон из университета».

Петербургская «бурса» была основана на «братстве», Васильчиков ввел такое понятие, как «особенный круг», в который входят по выбору, — члены его были связаны круговой порукой.

Члены «бурсы» должны были спасать «своих» от преследований закона в случае дуэли:

а) В дуэлях члены принимают участие только тогда, когда нужно пособие для скрyтия участвовавшего в несчастных последствиях, то есть дать ему средство, если сам в это время его не имеет, удалиться отсюда.

б) Средства могут быть двоякие:

1. или скрyтие его на некоторое время,
2. или денежное пособие, которое может быть собрано и от товарищей и от накопившейся суммы от пеней».

Подобные условия круговой поруки связали Васильчикова с Мартыновым на долгие годы после гибели Лермонтова.

В приведенных параграфах обращает на себя внимание фраза, ограничивающая право участия «бурсаков» в дуэлях. Но в том же проекте устава Васильчиков тщательно предусмотрел исключительные положения, при которых члены общества все же обязаны были драться. Главным образом это относилось к случаям, когда обнаруживались распри между «бурсаками» и «буршами». Сам он не дрался ни разу. Он считал себя выше этих устаревших предрассудков. «Долг благородного человека, — пишет он в черновике вступительной речи, — который не станет нарочно прискивать случай, чтобы с кем-нибудь подраться на дуэли, тем снискать себе название

она даже потребовала от Бенкендорфа присылки жандармов. Прощание Шувалова, сына княгини ди-Бутера, и Павла Вяземского с погибшим поэтом вызвало у Строгановой представление о демонстрации бунтующих студентов.

хорошего малого. Нет, товарищи! если у нас и явились бы такие, то мы их сочтем как самых пустых людей, не понимающих своего назначения. . . дуэли не должны быть так превозносимы, а некоторым образом постыдны, и чем бы их было более у нас, тем мы были бы богаче нарушителями чести, а чего мы не хотим».

Но зато, как член триумvirата бурсы, Васильчиков не один раз получал приглашения быть арбитром и в качестве секунданта принимал участие в дуэлях «бурсаков». «Не в первый раз я участвовал в поединке», — писал он Ю. К. Арсеньеву 30 июля 1841 года после гибели Лермонтова²⁴.

По всей видимости, он вспоминает о своих студенческих днях.

Окончив университет, Васильчиков стал вместе со своими бывшими однокурсниками Сергеем Долгоруким и Петром Шуваловым посещать собрания «шестнадцати». Как уже говорилось, одновременно с ними он должен был покинуть Петербург. Роль изгнанника льстила его самолюбию. Да, Васильчиков не принадлежал к числу искателей чинов и должностей, но его честолюбие питалось другими мечтами. С самого начала он знал, что его поездка на Кавказ не будет длиться больше года, тем не менее он пишет об этом сестре Е. И. Лужиной с явным самолюбованием:

«Мальбрук в поход собрался. Иными словами, я уезжаю в Тифлис с сенатором Ганом. Я отправляюсь без промедления, приблизительно на год. Принести в жертву блестящую карьеру — в этом есть что-то таинственное, сентиментальное и мизантропическое, что мне нравится бесконечно. Вполне уместно для молодого человека, который в течение полугода предавался тяжелому ремеслу светского человека, толкался во всех гостиных и приемных, шаркал по улицам и по паркетам, весьма уместно, говорю я, покинуть сцену большого света и удалиться в страну далекую, восточную, азиатскую. . .»²⁵

Когда через год сенатор П. В. Ган исполнил свою миссию в Закавказье, его молодые сотрудники обязаны были вернуться в Петербург. Но Васильчиков, вместо того чтобы поехать в отпуск к отцу в саратовские деревни, заехал 9 июня в Пятигорск²⁶. Там он встретился с Лермонтовым.

Пятигорские старожилы рассказывали П. К. Мартынову, что Лермонтов иронически называл Васильчикова «умником». Однако Фр. Боденштедт ошибался, когда

утверждал, что слышал такое же обращение Лермонтова к Васильчикову в Москве весной 1841 года. По официальным документам выясняется, что весь предшествующий год А. Васильчиков оставался на Кавказе. Не было его и в Ставрополе осенью 1840 года, где в доме И. П. Вревского Лермонтов встречался с декабристом М. Назимовым. В это время Васильчиков ездил по служебным делам в уезды, расположенные в глубине Закавказья²⁷. Но Назимов наезжал летом 1841 года в Пятигорск. Тогда-то и происходили беседы между ссыльным декабристом и поэтом, на которых присутствовал Васильчиков.

Предмет их споров известен со слов Васильчикова, а Назимов подтвердил в печати, «с каким потрясающим юмором Лермонтов описывал ничтожество того поколения, к которому принадлежал»²⁸.

«Князь А. И. Васильчиков рассказывал мне, — пишет Висковатов, — что хорошо помнит, как не раз Назимов, очень любивший Лермонтова, приставал к нему, чтобы он объяснил ему, что такое современная молодежь и ее направления, а Лермонтов, глумясь и пародируя салонных героев, утверждал, что «у нас нет никакого направления, мы просто собираемся, кутим, делаем карьеру, увлекаем женщин», он напускал на себя *la fanfaronade du vice* * и тем сердил Назимова. Глебову не раз приходилось успокаивать расходившегося декабриста, в то время, как Лермонтов, схватив фуражку, с громким хохотом выбежал из комнаты»²⁹. Описанная сцена вызывает, однако, сомнения. Назимову незачем было «приставать» к Лермонтову с расспросами о его взглядах на «направление» современной молодежи — образ Печорина был уже создан и назван автором «Думы» «героем нашего времени». Смешно было говорить Лермонтову о себе, что его деятельность ограничивается кутежами, карьерой и донжуанскими подвигами. Очевидно, это были не вопросы и уклончивые или вызывающие ответы Лермонтова, а прямо спор о «Герое нашего времени», в котором Лермонтов и Назимов расходились в оценке направления оппозиционной молодежи. Возможно, что Лермонтова раздражало уважительное отношение Назимова к либеральной общественной позиции Васильчикова.

* бахвальство пороком (фр.).

Об этом можно догадаться по эпиграмме, дошедшей до нас только в передаче П. К. Мартьянова, но написанной с таким мастерством, что авторство Лермонтова не вызывает сомнений:

Наш князь Василь-
Чиков по батюшке,
Шеф простофиль,
Глупцов по дядюшке,
Идя в кадриль
Шутов по зятюшке,
В речь вводит стиль
Донцов по матушке.

В. И. Чилаев рассказывал, что стихи были написаны Лермонтовым мелом на сукне карточного стола, когда во время игры Васильчиков слишком энергично выразился. Вероятно эти стихи были тут же списаны внимательным домовладельцем. В эпиграмме убийственным образом характеризовалась высокопоставленная родня Александра Васильчикова.

Князь «по батюшке» — отзвук мотивов «Моей родословной» Пушкина, имевшей такое влияние на знаменитое «прибавление» к «Смерти поэта» Лермонтова. По той же ассоциации Александр Васильчиков, ставший «князем» только «по батюшке», причислялся Лермонтовым к галерее николаевской знати.

«Шеф простофиль» как нельзя лучше выражает саркастическое отношение Лермонтова к «трибуну» оппозиционной молодежи. Особенный смысл получает это прозвище, если вспомнить, что «дядюшкой» Александру Васильчикову приходился женатый на родной сестре его отца князь Д. В. Голицын, «слывущий либералом и как *premier gentilhomme de l'empire*» * (Герцен)³⁰.

Незадолго до пятигорской встречи Лермонтова с А. Васильчиковым князь Д. В. Голицын получил титул светлейшего в нарушение русских традиций: этот титул давался только лицам, имевшим особенные заслуги. Московский генерал-губернатор получил его в знак личного расположения к нему Николая I.

Д. В. Голицын был очень популярен в Москве, считался «другом просвещения», был хлебосольным и гостеприимным баринем. На эту специфическую смесь в облике Голицына Герцен указывал в своем дневнике, определяя неустойчивость политической позиции совре-

* первый дворянин империи (фр.).

менных «государственных» и «значительных» лиц. В «Былом и думах» этому явлению посвящено несколько остроумных строк: «У нас тот же человек готов наивно либеральничать с либералом, прикинуться легитимистом, и это без всяких задних мыслей, просто из учтивости и из кокетства: бугор de l'arrogativité (желание понравиться) сильно развит в нашем черепе.

Князь Дмитрий Голицын, — сказал как-то лорд Дюрам, — настоящий виг, виг в душе.

Князь Голицын был почтенный русский барин, но почему он был «виг», с чего он был «виг» — не понимаю. Будьте уверены, князь на старости лет хотел понравиться Дюраму и прикинулся вигом»³¹.

Вся эта игра в либерализм очень метко определяется выражением «шеф простофиль», одинаково обидным и для московского вельможи, и для его племянника — молодого оппозиционера из семьи царедворца*.

«Идя в кадрили // Шутов по зятюшке» — эти строки могли относиться только к мужу московской сестры Александра Васильчикова, полковнику Лужину. По давнишней эпиграмме Лермонтова на лейб-гусара Тирана, которого он терпеть не мог за близость ко двору, мы знаем, что поэт называл его «шутом». Видимо, и в Лужине Лермонтов разгадал карьериста. Действительно, вскоре зять Васильчикова был назначен флигель-адъютантом, а впоследствии занял пост московского полицмейстера. Аналогия, проводимая поэтом между этим «шутом» и Александром Васильчиковым, была для последнего нестерпимой обидой.

Пародийная родословная Александра Васильчикова метила очень высоко — прямо в клику Николая I. В. И. Чилаев рассказывал П. К. Мартынову, что незадолго до дуэли Лермонтова с Мартыновым Васильчиков перешел в другой лагерь пятигорского общества — в кружок, группировавшийся вокруг генеральши Мерлини. Как теперь выяснилось документально, она была агентом III Отделения³². У Мерлини ненавидели Лермонтова, и слова Дорохова о людях, которые «радовались его гибели», по всей вероятности, относились к этому кружку.

Если Васильчиков мог порвать с В. Карамзиным за один только намек на покровительство отца, то эпиграм-

* У Александра Васильчикова были и другие дядья. Но Лермонтов, вероятно, имел в виду не личные свойства того или другого родственника своего пятигорского соседа, а их общественную позицию.

ма Лермонтова, ставившая под сомнение либеральные тенденции Васильчикова, могла вызвать его лютую ненависть к автору. Сам он не выходил на поединок, но «раздуть ссору» Мартынова с поэтом, а потом участвовать в дуэли в качестве секунданта было вполне в его духе. Слухи о провокационной роли Васильчикова в конфликте Мартынова с Лермонтовым находят свое психологическое обоснование *.

* В 1981 г. в журнале «Юность» было напечатано неподписанное, недатированное, неясного происхождения письмо, якобы являющееся ответом И. В. Васильчикова на просьбу сына помочь ему в чем-то, касающемся Лермонтова. Председатель Государственного совета описывает свои беседы с царем и Бенкендорфом, раскрывающие их тайные замыслы относительно поэта. Мало того, Васильчиков-отец прямо передает совет шефа жандармов молодым людям в Пятигорске избавиться от Лермонтова своими силами. «О последствиях беспокоиться не следует», — наивно заканчивается это неправдоподобное письмо. О невозможности признать его за подлинный документ уже писали В. Мануйлов и С. Латышев в статье «Осторожно: сенсация!» (Литературная газета, 1982, 23 июня, № 25). Тем не менее автор публикации повторил ее в своей книге (Чекалин С. В. Наедине с тобою, брат... Ставрополь, 1984). Не касаясь больше противоречивости содержания этого письма, обратимся к датам.

Хронологические данные о пребывании Васильчикова в Пятигорске содержатся в делах II Отделения собственной его величества канцелярии, где служил А. И. Васильчиков (ЦГИА СССР, фонд № 1261) и в делах Комитета об устройстве Закавказского края, куда он был откомандирован на год (там же, фонд № 1268).

20 июня 1841 г. И. В. Васильчиков сообщает министру внутренних дел Д. Н. Блудову, что царь «изволил уволить» его сына в отпуск «с 1 июля на 3 месяца для отъезда ко мне в деревню». На следующий день Блудов извещает Васильчикова, что одновременно с его письмом он получил письмо от П. В. Гана, вернувшегося уже в Петербург. Ган извещает, что он получил рапорт А. Васильчикова из Пятигорска от 9 июня с приложением медицинского свидетельства о болезни. Блудов прилагает к письму «увольнительный вид для сына Вашего к Кавказским Минеральным водам и потом в Саратовскую губернию». Итак, И. В. Васильчиков только из официальной переписки узнал 22 июня, что сын его уже две недели находится в Пятигорске. Старик уехал в деревню один. Когда же могли отец и сын обменяться письмами, когда мог старший Васильчиков иметь беседу с царем и вести переговоры с Бенкендорфом? Из деревни Васильчиков приехал в Петербург только 5 августа, вызванный оттуда срочным письмом сына о состоявшейся дуэли. А аудиенцию у царя он получил только 8 августа. Напомню, что, по свидетельству М. А. Корфа, И. В. Васильчиков лишь после гибели Лермонтова узнал о близости к нему сына, что и побудило его заинтересоваться «Героем нашего времени» (см. выше, с. 170). Все это не позволяет вводить в научный оборот «Письмо старого князя», как называет этот сомнительный документ С. В. Чекалин.

1

Обращаемся к мемуарам о последних неделях жизни Лермонтова. Кажется, что с поэтом произошла таинственная метаморфоза. Пятигорские свидетели рисуют образ забияки, вышедшего с Мартыновым на «обыкновенную офицерскую дуэль» из-за мальчишеской ссоры. Утверждали, что на водах Лермонтов напускал на себя какое-то щегольство пустотой и легкомыслием. Из-за этой пресловутой «двойственности» окружающие, мол, не могли замечать литературной работы Лермонтова. «Если б тогда мы смотрели на Михаила Юрьевича как теперь, этого бы не было. Он для нас был молодым человеком, как все», — оправдывалась Э. А. Шан-Гирей, рассказывая П. А. Висковатову, что у нее «были изорваны детьми родственников рисунки и наброски Лермонтова».

Висковатов сам был автором этой ложной концепции. «Большинство видело в нем не великого поэта, а молодого офицера, о коем судили и рядили так же, как о любом из товарищей, с которыми его встречали», — писал он. В своей книге Висковатов тенденциозно подобрал курьезные и случайные отзывы ограниченных людей о поэтической работе Лермонтова и заключал: «Где было Мартынову задумываться над Лермонтовым, как великим поэтом».

Это ходячее представление так же неверно в отношении пятигорского периода, как не оправдалось при оценке петербургского положения поэта. Мы уже убедились, что царь и его присные не игнорировали талант Лермонтова — они с ним боролись. К Лермонтову никогда не относились при дворе только как к недостаточно знатному лейб-гусарскому поручику, его выделяли как писателя. Обычно защитники противоположного мнения опираются на письмо М. Д. Нессельроде о дуэли Эрнеста Баранта,

где Лермонтов назван «офицером Лементьевым». Но подлинника письма никто не видел. Вернее всего, что здесь имеет место ошибка переписчика, не поправленная парижским публикатором архива Нессельроде — внуком вице-канцлера. Царский дипломат XIX века действительно мог не знать биографии Лермонтова, но графиня Нессельроде вряд ли могла забыть фамилию поэта, с такой сокрушающей силой повторившего нападки «Моей родословной» Пушкина в стихах о палачах славы и гения (известно, что у Пушкина был задет и вице-канцлер Нессельроде).

Неверное представление о положении Лермонтова в Петербурге распространяется и на пятигорский период его жизни. У нас нет никаких оснований думать, что на Кавказские Минеральные воды не дошла огромная прижизненная слава автора «Демона» и «Героя нашего времени». И тут надо заново посмотреть, кто окружал Лермонтова в Пятигорске.

Прежде всего отметим, что жандарм, осуществлявший летом 1841 года «надзор за посетителями минеральных вод», был петербургским офицером. Подполковник Кушинников с 29 марта 1839 года «состоял для особых поручений» при начальнике I Петербургского жандармского округа генерал-лейтенанте Полозове¹. На Кавказ он выехал почти одновременно с Лермонтовым. Об этом свидетельствует рекомендательное письмо к П. Х. Граббе, данное не кем иным, как А. П. Ермоловым. Опальный генерал приезжал в Петербург на свадьбу наследника. Но «не видел еще государя и потому сидит дома, никуда не выезжая», — свидетельствовал Корф 13 апреля². Письмо Ермолова к Граббе представляет для нас интерес:

«18 апреля 1841 г. С.-Петербург.

Отправляющийся на Кавказ корпуса подполковник Кушинников просил меня поручить его благосклонному вниманию Вашему. Об нем много говорили мне хорошего, и я в этом не хотел отказать близкому родному хорошему и долгое время приятелю моему Марченко, бывшего членом Государственного совета.

Он едет как обыкновенно отправляется к Минеральным водам чиновник жандармский и, вероятно, не будет напрашиваться на военные действия, на чем, впрочем, я настаивал, зная, что ты имеешь г-на Юрьева, к которому сделал уже привычку.

Итак, да будет по благоусмотрению твоему, а человеку достойному тебе приятно быть полезным! — Он будет уметь высокую дать цену благосклонному отзыву на счет его, отзыву много уважаемому».

Этот тип рекомендации ни к чему не обязывал Граббе. Еще в 1838 году Ермолов предупредил его: если письмо будет начинаться словами «такой-то NN просил меня дать ему письмо к Вашему превосходительству», значит, он пишет «о человеке, которого лично не знает и в его достоинствах не уверен»³. Совет Ермолова направить Кушинникова на линию не был исполнен. Петербургский жандарм устроился на Минеральных водах «для надзора за посетителями». В Ставрополь он явился, видимо, тогда же, когда и Лермонтов, но точная дата его приезда в Пятигорск не установлена. Осенью, по-видимому, его миссия на Минеральных водах уже была закончена. 17 сентября Кавказский областной начальник послал Бенкендорфу хвалебный отзыв об исполнении Кушинниковым своих обязанностей «минувшим летом»⁴. Особенно хвалить, казалось бы, было не за что, так как ссору и дуэль Мартынова с Лермонтовым он просмотрел. Как бы то ни было, 8 января 1842 года мы уже видим Кушинникова в Петербурге при исполнении своих обычных обязанностей при начальнике I округа жандармов генерал-лейтенанте Полозове⁵. Связано ли было пребывание Кушинникова на Минеральных водах с присутствием там поднадзорного Лермонтова, трудно сказать. Но забывать о коротком сроке службы Кушинникова на Кавказе (только летом 1841 года) тоже не следует⁶.

По свидетельству старожилов в Пятигорске его прозвали «глаз Траскина». Но начальник штаба, постоянное пребывание которого было в Ставрополе, и сам часто появлялся на Минеральных водах. Сохранились его письма оттуда от 25 июня, затем 5 июля. 3 августа он был в Кисловодске⁷. Самое значительное его письмо к Граббе написано из Пятигорска 17 июля, он описывает дуэль и гибель Лермонтова. В этом письме заключено указание, что Траскин был в Пятигорске с 12 июля⁸.

Нельзя не вспомнить и данные, собранные С. А. Андреевым-Кривичем. Они характеризуют Траскина как ловкого и изворотливого интригана, связанного с военным министром А. И. Чернышевым давними связями⁹.

Сохранились воспоминания учителя рисования И. К. Зайцева, в которых он рассказывает о встречах с Кушинниковым в Петербурге в литературном салоне

М. М. Попова — известного чиновника III Отделения¹⁰. Не удивительно, что Кушинников, привлеченный к следствию об убийстве Лермонтова, в первые же дни, не задумываясь, так же как и Траскин, провел прямую аналогию между смертью Лермонтова и Пушкина. Поводом послужило обращение в следственную комиссию священника, остерегавшегося хоронить убитого на дуэли Лермонтова по христианскому обряду. 17 июля был получен официальный ответ следственной комиссии, подписанный в числе других членов также и Кушинниковым: «Не имея в виду законоположения, противящегося погребению поручика Лермонтова, мы полагали бы возможным предать тело его земле, так точно, как в подобном случае камер-юнкер Пушкин отпет был в церкви Конюшен императорского двора в присутствии всего города».

Как видим, ни петербургскому жандарму, ни пятигорской администрации не пришло в голову сравнивать дуэль Лермонтова с другими офицерскими поединками. Им сразу припомнилась дуэль Пушкина с Дантесом. Мы имеем другое очень точное свидетельство, что в таком же духе восприняла смерть Лермонтова и остальная публика в Пятигорске. Когда до священника В. Эрастова дошли слухи о «денежном пожертвовании», полученном священником Александровским за отпевание Лермонтова, он тотчас обратился за справками к коллежскому регистратору Роциновскому, который, очевидно, нередко привлекался в нужных случаях для показаний. Чиновник обстоятельно ответил, что слышал рассказ Столыпина об этом на квартире у пятигорского коменданта. Когда же остальной причт, которому ничего не перепало из данных Столыпинам 200 рублей, написал по этому поводу донос в духовную консисторию, главным свидетелем оказался опять-таки Роциновский. И благодаря возникшему кляузному делу до нас дошло очень точное описание похорон Лермонтова. Приводим показание Роциновского от 12 октября 1842 года во всей красе его казенного слога:

«...В прошлом 1841 году, в июле месяце, кажется, 18 числа, в 4 или 5 часов пополудни, я, слышавши, что имеет быть погребено тело умершего поручика Лермонтова, пошел, по примеру других, к квартире покойника, у ворот коей встретил большое стечение жителей г. Пятигорска и посетителей Минеральных вод, разговаривавших между собой: о жизни за гробом, о смерти, рано постигшей молодого поэта, обещавшего много для рус-

ской литературы. Не входя во двор квартиры этой, я с знакомыми мне вступил в общий разговор, в коем, между прочим, мог заметить, что многие как будто с ропотом говорили, что более двух часов для выноса тела они дожидаются священника, которого до сих пор нет. Заметя общее постоянное движение многочисленного собравшегося народа, я из любопытства приблизился к воротам квартиры покойника и тогда увидел на дворе том не в дальнем расстоянии от крыльца дома стоящего о. протоиерея, возлагавшего на себя епитрахиль. В это самое время с поспешностью прошел мимо меня во двор местной приходской церкви диакон, который тотчас, подойдя к церковнослужителю, стоящему близ о. протоиерея Александровского, взял от него священную одежду, в которую немедленно облачился, и принял от него кадило. После этого духовенство это погребальным гласом обще начало пение: «Святой боже, святой крепкий, святой бессмертный, помилуй нас», и с этим вместе медленно выходило из двора этого; за этим вслед было несено из комнат тело усопшего поручика Лермонтова. Духовенство, поя вышеозначенную песнь, тихо шествовало к кладбищу: за ним в богато убранном гробе было попеременно несено тело умершего штаб- и обер-офицерами, одетыми в мундиры, в сопровождении многочисленного народа, питавшего уважение к памяти даровитого поэта или к страдальческой смерти его, принятой на дуэли. Таким образом, эта печальная процессия достигла вновь приготовленной могилы, в которую был опущен в скорости несомый гроб без отправления по закону христианского обряда: в этом я удостоверяю как самовидец. . .»¹¹

Даже местный чиновник, человек далекий от литературы, понимал, что Лермонтов не обыкновенный молодой офицер, а «даровитый поэт». Его рассказ убедительно свидетельствует о «многочисленном народе», живущем в Пятигорске, понимающем все значение Лермонтова для русской литературы. О том же, только более эмоционально, рассказывает один из почитателей таланта Лермонтова, бывший в эти дни в Пятигорске:

«. . . толпа народа не отходила от его квартиры. Дамы все приходили с цветами и усыпали его оными, некоторые делали прекраснейшие венки и клали близ тела покойника. Зрелище это было восхитительно и трогательно. 17-го числа в час поединка его хоронили. Все, что было в Пятигорске, участвовало в его похоронах. Дамы все были в трауре, гроб его до самого кладбища несли штаб-

и обер-офицеры, и все без исключения шли пешком до кладбища. Сожаление и ропот публики не умолкали ни на минуту. Тут я невольно вспомнил о похоронах Пушкина. Теперь 6-й день после этого печального события, но ропот не умолкает»¹².

Эти подлинные рассказы очевидцев убеждают, что в Пятигорске, так же как и во всей грамотной России, прекрасно знали, что Лермонтов — поэт, сравниваемый с Пушкиным.

Свидетельства прямо с места событий повышают наше доверие и к позднейшим воспоминаниям людей, бывших в 1841 году в Пятигорске. Так, А. В. Дружинин слышал от современников, что Лермонтов «имел на всем Кавказе славу льва-писателя»¹³.

Даже А. И. Васильчиков, пытавшийся впоследствии оправдаться непониманием значения поэта при его жизни, в действительности еще 30 июля 1841 года писал Ю. К. Арсеньеву: «Отчего люди, которые бы могли жить с пользой, а м(ожет) б(ыть) и с славой, Пушкин, Лермонтов, умирают рано, м(ежду) т(ем) как на свете столько беспутных и негодных людей доживают до благополучной старости»¹⁴.

Таким образом, ссылки П. А. Висковатова на рассказы А. И. Васильчикова и Э. А. Шан-Гирей теряют свою убедительность.

Сам биограф поэта сообщал, что прапорщик С. Д. Лисаневич, которого подстрекали вызвать Лермонтова на дуэль, отказался от этого: «что вы, возражал он, чтобы у меня поднялась рука на такого человека!» По словам Висковатова, Э. А. Шан-Гирей тоже знала об этом случае.

Другой эпизод. В Пятигорск приехал профессор Московского университета И. Е. Дядьковский, имя которого, по словам Аполлона Григорьева, «было окружено раболепнейшим уважением, и оно же было именем борьбы живой эоловой науки со старою рутинной». Философ-материалист, врач-клиницист, участник передовых кружков 30-х годов, друг всех замечательных людей своего времени, Дядьковский привез Лермонтову в Пятигорск поклон и гостинец от его бабушки. Первая встреча почтенного ученого с поэтом произошла в доме, где остановился Дядьковский, а следующая — у Верзилиных, то есть в присутствии Э. А. Шан-Гирей. Вот как описывает эти встречи Н. Молчанов, живший вместе с Дядьковским:

«Иустин Евдокимович сам пошел к нему и, не застав

его дома, передал слуге его о себе и чтоб Лермонтов пришел к нему в дом Христофоровых. В тот же вечер мы видели Лермонтова. Он пришел к нам и все просил прощения, что не брит. Человек молодой, бойкий, умом остер. Беседа его с Иустином Евдокимовичем зашла далеко за полночь. Долго беседовали они о Байроне, Англии, о Беконе. Лермонтов с жадностью расспрашивал о московских знакомых. По уходе его Иустин Евдокимович много раз повторял: «Что за умница».

На другой день поутру Лермонтов пришел звать на вечер Иустина Евдокимовича в дом Верзилиных, жена Петра Семеныча велела звать его к себе на чай. Иустин Евдокимович отговаривался за болезнью, но вечером Лермонтов его увез и поздно вечером привез его обратно. Опять восторг им:

— Что за человек! Экой умница, а стихи его — музыка, но тоскующая»¹⁵.

Много ли видела Э. А. Шан-Гирей офицеров, которые целый вечер читали бы у нее в доме свои стихи, восхитившие одного из самых просвещенных людей эпохи? Вряд ли Лермонтов казался ей и ее гостям «молодым человеком, как все». А ведь это было в том же самом доме, где через три дня произошла стычка Мартынова с Лермонтовым!

Даже стремясь подчеркнуть мелкие слабости Лермонтова, А. И. Васильчиков невольно показывает, как все окружающие видели в нем поэта, а не кутящего поручика. Таков рассказанный им эпизод с провинциальным стихотворцем, который явился к Лермонтову со своей поэмой. О его чтении своих бездарных стихов в лермонтовском кружке вспоминал и Н. П. Раевский.

Тут надо сказать несколько слов о спутниках поэта в самый последний день его жизни. Известно, что утром 15 июля в Железноводск приехала дальняя родственница поэта Екатерина Быховец — навестить Лермонтова. Она поехала в коляске со своей тетушкой по фамилии Обыденная, а верхами их сопровождали Лев Сергеевич Пушкин и юнкер Бенкендорф. Этого молодого человека, тщетно дожидавшегося в Пятигорске производства в офицеры, долгое время называли в лермонтовской литературе сыном шефа жандармов графа А. Х. Бенкендорфа. Мнимое сближение Лермонтова и брата Пушкина с сыном начальника тайной полиции бросало ложный и неприятный отблеск на пятигорское времяпровождение поэта. К счастью, в документах военного министерства в делах

о награждении офицеров за участие в осенней чеченской экспедиции 1840 года сохранились совсем другие сведения об этом, самом юном, лермонтовском знакомце (он родился в 1820 году). Александр Павлович Бенкендорф был сыном эстляндского военного генерал-губернатора, приходившегося шефу жандармов двоюродным братом. Юнкер Бенкендорф не принадлежал к той родне всеильного начальника, которой он оказывал свое покровительство. Николай I отнесся к юнкеру жестко, не дав своего «соизволения» на производство в офицеры. Царь причислил его к той группе офицеров и нижних чинов, «коих велено было представлять к наградам и производству» только за выдающиеся подвиги. Известно, что под действие этого повеления попал и Лермонтов, а также декабристы Вегелин и Черкасов¹⁶.

Напомним, что М. В. Дмитриевский¹⁷, проведенный с Лермонтовым последний день его жизни, приезжал в Пятигорск из Тифлиса специально для того, чтобы познакомиться с декабристами. Он писал стихи, которые нравились Лермонтову.

Как видим, на водах Лермонтов не изменял себе и был в кругу людей, которые могли ценить его дарование. К их числу принадлежал также князь В. С. Голицын.

Пятигорские старожилы придавали большое значение размолвке лермонтовского кружка с Голицыным в начале июля из-за устройства публичного бала для местного общества. По одной версии, друзья разошлись из-за того, что отказались пригласить на этот бал какую-то даму, которую хотел там видеть Голицын. По другой — Голицын пренебрежительно отозвался о всем кружке знакомых Лермонтова, заявив: «Здесь дикарей надо учить». Как бы то ни было, известно, что состоялось два бала: запомнившийся всем импровизированный бал 8 июля в гроте Дианы, убранном при участии Лермонтова с артистическим вкусом, и бал, устроенный Голицыным в Ботаническом саду, куда никто из друзей Лермонтова не был приглашен. Устроили его уже после смерти поэта, — по-видимому, 18 июля. Большинство биографов ставит этот бал в вину Голицыну и даже на этом основании берет под сомнение достоверность его сообщения о гибели Лермонтова. Между тем со слов Голицына Булгаков писал А. Тургеневу: «Россия лишилась прекрасного поэта и лучшего офицера. Весь Пятигорск был в сокрушении, да и вся армия жалеет об нем»¹⁸.

Биографы Лермонтова почему-то не отдают себе отчета в том, что полковник Голицын-«центральный», командовавший всей кавалерией на левом фланге кавказской линии, Голицын, представлявший Лермонтова к золотому оружию, Голицын — ермоловский офицер, Голицын — знакомец Пушкина и Голицын, принимавший в 1841 году участие в пятигорских увеселениях, — одно и то же лицо. Поэтому не следует придавать такое преувеличенное значение размолвке, и к рассказу Голицына о гибели Лермонтова мы отнесемся далее с полным доверием. Голицын имел отношение и к литературе: печатался в альманахах 30-х годов, переписывался с Пушкиным. «Неистошимый и остроумный весельчак, устроитель всяких увеселений и затей, — вспоминал о В. С. Голицыне один из мемуаристов, — он писал стихи, водевили, пел куплеты собственного сочинения, любил казаться ценителем словесности, искусств, музыки, любил знакомиться с выдающимися людьми и покровительствовать талантам»¹⁹. Ясно, что Лермонтов импонировал Голицыну своим литературным именем, это лишний раз подтверждает, что в Пятигорске Лермонтов был окружен тем же вниманием, к которому он уже привык в Москве и Петербурге.

В свете этих данных парадоксальное впечатление производит версия о том, что в основе ссоры Мартынова с поэтом лежало литературное соперничество.

2

Д. Д. Оболенский, написавший в 90-х годах для Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона специальную статью «Н. С. Мартынов», подчеркивал, что убийца Лермонтова «получил прекрасное образование, был человеком весьма начитанным и с ранней молодости писал стихи». Еще в 1852 году родная сестра Н. С. Мартынова, Е. С. Ржевская, беседуя в Гельсингфорсе с Я. К. Гротом, уверяла: «В юнкерской школе издавался литературный журнал, в котором оба они участвовали и старались колоть друг друга»²⁰. Это сопоставление наивно*. Ни в од-

* Образцом так называемого эпиграмматического стиля Мартынова могут служить пошлые анонимные вирши, на списке которых чьей-то рукой надписано: «подлец-Мартышка». Признание автором этой надписи Лермонтова основано на недоразумении: почерк лица, сделавшего надпись, ничего общего не имеет с почерком поэта. Научная экспертиза не производилась. Отпадает, следовательно, и утверждение, что «эпиграмма задела Лермонтова» (см.: Л е р м о н т о в М. Ю.

ном из воспоминаний об юнкерской школе Мартынов не называется в числе эпиграмматистов, в то время как Лермонтов конкурировал в школе с такими признанными остряками, как небезызвестный Костя Булгаков и В. А. Вонлярлярский. Последний занимал всех товарищей своими «забавными шутками, — вспоминает один из бывших юнкеров. — Бывало, в школе, по вечерам, когда некоторые из нас соберутся, как мы тогда выражались, «поболтать», рассказы Вонлярлярского были неинтересны. Разумеется, при этом Лермонтов никому не уступал в остротах и веселых шутках»²¹. Ксенофонт Полевой, человек литературный, писал по тому же поводу: «Как жаль, что не сохранилась шутовская переписка, которую вели они (Лермонтов и Вонлярлярский) между собою в это время! Кто видел ее, те почитают забавные письма двух молодых друзей одним из остроумнейших произведений в своем роде»²². О дружбе Лермонтова с Вонлярлярским писал в своих незаконченных записках и Мартынов. «Эти два человека, как и должно было ожидать, сблизились, — писал он. — В рекреационное время их всегда можно было застать вместе. Лярский, ленивейшее создание в целом мире (как герой «Женитьбы» Гоголя), большую часть дня лежал с расстегнутой курткой на кровати. Он лежал бы и раздетый, но дисциплина этого не позволяла»²³. Остроумные выдумки двух талантливых людей остались Мартыновым не замеченными. Полное отсутствие чувства юмора — характерная черта этого раздражительного, надутого и обидчивого человека.

Недоступной для понимания Мартынова осталась и драматизованная серия карикатурных рисунков Лермонтова, где в остроумных сюжетных ситуациях появлялся урод Мауеих — сам поэт, юнкер гусарского полка лейб-гвардии, Маешка. Комическое обыгрывание собственных недостатков было совершенно вне возможностей мартыновского склада ума.

Некоторые советские исследователи, ссылаясь на пять-шесть напечатанных в специальной биографической литературе стихотворений Мартынова, находили в них элементы подражания Лермонтову и на этом основании

Собр. соч. в 4-х томах, т. 1. Л., Наука, 1979, с. 624). Можно ли назвать эти беззубые стишки эпиграммой, пусть судит читатель:

Моп cher Michell	И вернется снова
Оставь Adel. . .	К тебе Реброва.
А нет сил,	Рецепт возврати не иной,
Пей эликсир. . .	Лишь Эмиль Верзилиной.

поддерживали версию о литературном соперничестве. Но кто же не подражал Лермонтову в те годы? Стихи Мартынова беспомощны и не всегда грамотны. Они не выходят за рамки любительских упражнений и механически воспроизводят какой-то средний уровень стихотворческой культуры того времени. Проза написана лучше, но ведь она гораздо более позднего происхождения, — это воспоминания. Что же удивительного, что, описывая Кавказ, Мартынов обратился к образцу, ставшему уже классическим, к «Герою нашего времени»? Это могло быть сделано даже бессознательно. О каком же «соревновании» может идти речь? Подобная гипотеза могла быть выдвинута только из-за непонимания масштаба прижизненной славы Лермонтова.

Многие современники утверждали, что причиной вызова Мартынова были карикатуры и эпиграммы, которыми Лермонтов его преследовал.

Тут необходимо сказать несколько слов о характере юмора Лермонтова, всегда имевшего обобщенный смысл. Никто в кругу поэта не умел так, как он, схватывать в своих карикатурах и эпиграммах самое существо предмета сатиры. Шуточная поэзия, шаржи и устные анекдоты не служили Лермонтову способом переключения внимания или отдыхом. Его остроумие было органически связано с непрекращающимся процессом его творческой мысли. Вынашиваемые им идеи, надолго овладевавшие им, вспыхивали в каком-то параллельном ряду мгновенными сатирическими импровизациями. Приведу примеры.

Рассказывают: как-то на масляной неделе веселая гусарская компания мчалась на тройках из Царского Села в Петербург. На заставе нужно было расписываться, обозначая чин, звание, имя. Лермонтов предложил создать «всемирную энциклопедию фамилий». Шалун и затейник Костя Булгаков, с которым Лермонтов всегда «соперничал в остротах», первый понял замысел приятеля и тотчас назвался «маркиз де Глупиньон». Посыпались «дон Скотилло», «пан Глупчинский», «лорд Дураксен», «боярин Болванешти» и т. д. и т. п. Лермонтов завершил эту интернациональную галерею титулованных дураков чисто фонвизинским: «российский дворянин Скот Чурбанов». В этот период он писал в «Сашке» о рабском униженье дворянства, о сердце подлеца, прикрытом мундиром чиновника.

Вспоминает Мартынов.

В юнкерскую школу поступили два новичка, оба в кавалергардский полк. «Это были, — пишет Мартынов, — Эммануил Нарышкин (сын известной красавицы Марьи Антоновны) и Уваров. Оба были воспитаны за границей: Нарышкин почти вовсе не умел говорить по-русски, Уваров тоже изъяснялся весьма плохо. Нарышкина Лермонтов прозвал «Французом» и не давал ему житья, Уварову также была дана какая-то особенная кличка, которой не припомню». Очень жаль, что Мартынов забыл самую суть насмешки Лермонтова. Ведь в «школьных» забавах Лермонтова тоже сказалось его презрение к космополитической бюрократии Николая I. Что касается «Француза», Эммануила Нарышкина, то кто же в те годы не знал, что он был сыном Александра I. Даже в тривиальных выходках юнкера Лермонтов остался верен своей ненависти ко двору.

Когда Лермонтов вернулся из первой ссылки в Царское Село, в гусарском полку служил А. Ф. Тиран — сын одного из участников убийства Павла I. Рассказ Лобанова о куплетах Лермонтова о Тиране подтверждается воспоминаниями Д. В. Стасова, наивно уверенного, что Лермонтов «бесился» из зависти к придворным успехам своего однополчанина — «он на него сочинял, разыгрывал, рисовал карикатуры, и раз даже написал целую поэму, в которой сначала описывал его рождение, жизнь, похождения и, наконец, смерть. В конце нарисовал надгробный памятник и к нему эпитафию:

Родился шут
 тиран

 А умер пьян»²⁴.

[(Средних слов и строк Стасов не запомнил.)

Лобанов намекал, что в этих шутках была принципиальность: «Правда, это был смешной дурак, к тому же имевший несчастье носить фамилию Тиран». Фамилия, напрашивающаяся на политические каламбуры, что и говорить.

Сатирическая струя художественного дарования и склада ума Лермонтова находила себе выход в эпиграммах и карикатурах, отмеченных богатством художественной фантазии и драматургическим даром.

Жанр подобных злободневных произведений не может существовать без немедленной реакции читателя или зрителя. Они всегда рассчитаны на коллективное

чтение и на авторское содружество. Такими соавторами у Лермонтова были на Кавказе — доктор Майер, в Царском Селе — Александр Долгорукий, в Петербурге — вероятно, С. А. Соболевский. В Пятигорске среди его приятелей было много талантливых рисовальщиков и остряков — Лев Пушкин, В. С. Голицын, «высокодаровитый» Сергей Трубецкой и, очевидно, М. П. Глебов.

А. И. Арнольди передает такой эпизод:

«Я часто забегал к соседу моему Лермонтову. Однажды, войдя неожиданно к нему в комнату, я застал его лежащим на постели и что-то рассматривающим в обществе С. Трубецкого и что они хотели, видимо, от меня скрыть. Позднее, заметив, что я пришел не вовремя, я хотел было уйти, но так как Лермонтов тогда же сказал: «Ну, этот ничего», то и остался. Шалуны-товарищи показывали мне тогда целую тетрадь карикатур на Мартынова, которые сообща начертили и раскрасили. Это была целая история в лицах вроде французских карикатур: *Cryptogram M-g la Lauvisse* и проч., где красавец, бывший когда-то кавалергард, Мартынов был изображен в самом смешном виде, то въезжающим в Пятигорск, то рассыпающимся перед какою-нибудь красавицей и проч.»²⁵.

Висковатову рассказали другой подобный эпизод:

«Однажды Мартынов вошел к себе, когда Лермонтов с Глебовым с хохотом что-то рассматривали или чертили в альбоме. На требование вошедшего показать, в чем дело, Лермонтов захлопнул альбом, а когда Мартынов, настаивая, хотел его выхватить, то Глебов здоровую рукой отстранил его, а Михаил Юрьевич, вырвав листок и спрятав его в карман, выбежал».

Даже поручик Н. П. Раевский, не столь близкий приятель Лермонтова, принимал участие в составлении альбома. «У нас велся точный отчет об наших *parties de plaisir* *, — рассказывал он писательнице Желиховской. — Их выдающиеся эпизоды мы рисовали в «альбоме приключений», в котором можно было найти все: и кавалькады, и пикники, и всех действующих лиц»²⁶.

Об этом же альбоме рассказывал Висковатову А. И. Васильчиков: «Помню и себя, изображенного Лермонтовым, длинным и худым посреди бравых кавказцев. Поэт изобразил тоже самого себя маленьким, сутуловатым, как кошка вцепившимся в огромного коня, длинно-

* увеселительные прогулки (*фр.*).

ногого Менго Столыпина, серьезно сидевшего на лошади, а впереди всех красовавшегося Мартынова, в черкеске, с длинным кинжалом. Все это гарцевало перед открытым окном, вероятно, дома Верзилиных. В окне были видны три женские головки»²⁷.

Васильчиков прибавлял, что в своих карикатурах на Мартынова Лермонтов «довел этот тип до такой простоты, что просто рисовал характерную кривую линию да длинный кинжал, и каждый тотчас узнавал, кого он изображает». Может быть, никто из окружающих Лермонтова рисовальщиков не обладал таким артистическим карандашом, но коллективное авторство драматизованного альбома карикатур несомненно. Отрицала это только Э. А. Шан-Гирей, настаивавшая на том, что «Лермонтов рисовал сам, один», но воспоминания Арнольди и Раевского, а также рассказ Висковатова противоречат этому утверждению. В пользу соавторства Глебова говорит и то обстоятельство, что альбом этот не попал в опись вещей погибшего Лермонтова. Сама Шан-Гирей подтверждала, что Глебов показывал ей этот альбом вскоре после гибели поэта.

Описывая эпизод в комнате Глебова, Висковатов прибавлял: «Мартынов чуть не поссорился с Глебовым, который тщетно уверял его, что карикатура совсем к нему не относилась». Конечно, все эти сведения дошли до биографа Лермонтова через третьи руки, но настороженное отношение Мартынова к Глебову подтверждается документально. Касаясь в черновых показаниях следственной комиссии миролюбивых попыток секундантов, Мартынов писал: «они только хотели проверить меня». Эта вырвавшаяся фраза лучше всего иллюстрирует ту недоверчивость, с какой Мартынов относился даже к своему другу, соседу и секунданту — М. П. Глебову. Мартынов был предметом шуток и насмешек всей компании Лермонтова, в которую входили и друзья обиженного. «Этот Мартынов глуп ужасно, все над ним смеялись, — писала Екатерина Быховец, — он ужасно самолюбив; карикатуры его беспрестанно прибавлялись; Лермонтов имел дурную привычку остричь»²⁸.

Что же подавало повод к этим насмешкам?

Ссора противников произошла не в великосветской среде, а на Кавказе, «где среди величавой природы со времени Ермолова не исчезал приют русского свободо-мыслия, где по воле правительства собирались изгнанны-

ки, а генералы, по преданию, оставались их друзьями»²⁹. В этой среде были свои герои и свое честолюбие. Мы уже убедились, что корни обиды Васильчикова на Лермонтова лежали во внутренних трениях кавказской ссылки. Зная, что не только для него самого, но и для Столыпина и Трубецкого военная ссылка не была шуткой, Лермонтов не мог сочувствовать временной опале Васильчикова, возвращавшегося уже к отцу, в его саратовские деревни. Еще более претенциозной была в Пятигорске позиция отставного майора, который не подвергался больше никакой опасности.

Между тем Мартынов вполне усвоил себе неписанные; но твердые законы среды ссыльных. Когда его военная карьера была разбита (в феврале 1841 года), он стал тянуться к этому кругу, значение которого хорошо понимал. Так, в незаконченном очерке Мартынов с большим сочувствием характеризует старшего брата Александра Долгорукого — Николая. Это был талантливый юноша, известный своей выдающейся храбростью, погибший при штурме Шапсуго в 1837 году.

«Палатка его, — писал Н. С. Мартынов, — всегда была наполнена разжалованными, ссыльными политическими и разных других оттенков людьми, которыми так изобиловал кавказский край...»³⁰ Эти заметки написаны Мартыновым уже в пореформенную эпоху. Их либеральные тенденции перекликаются и со стихотворением Мартынова «Декабристам», которое даже сохранялось в списках в рукописных собраниях XIX века и могло быть напечатано только в 1908 году³¹. Написанное в 1870 году, оно дышит горячим участием к подвигу декабристов, но не обнаруживает понимания сущности этого исторического события.

Все, что мы знаем об образе жизни и деятельности Мартынова 50—70-х годов, дает нам право назвать его либерализм пустым заигрыванием. Кокетством было окрашено и его поведение в молодости на Кавказе. Об этом согласно говорят все без исключения очевидцы. Его утрированная «черкесская» одежда, огромный кинжал, бакенбарды, бритая голова — во всем, как нарочно, Мартынов неукоснительно следовал той моде, которая дала повод Лермонтову для изобретения собирательного имени «l'agmée russe». Не обладая военной доблестью ермоловских офицеров, Мартынов зато олицетворял собою те черты «настоящего» кавказца, о которых Лермонтов го-

ворит в своем очерке с такой горечью. Только в свете вскрытых нами идей «Кавказца» можно полностью расшифровать смысл эпиграммы, приписываемой В. И. Чилаевым Лермонтову:

Скинь бешмет свой, друг Мартыш,
Распояшься, сбрось кинжалы,
Вздень броню, возьми бердыш
И блюди нас, как хожалый.

По мастерству, с которым в этом экспромте дано скрещиванье разных смыслов, можно с уверенностью сказать, что сочинил его действительно Лермонтов. Рядом с прямым приглашением сменить кавказский народный костюм на старинную русскую военную одежду (идея «Кавказца») здесь уживается намек на неважные боевые качества Мартынова — ему оставалось бы только нести полицейскую службу (хожалый), — и насмешка над его мнительным отношением к шуткам товарищей («блюди нас»), и, может быть, глухой намек на какие-то связи Мартынова с полицией или жандармерией.

Излюбленным прозвищем, которым Лермонтов награждал Мартынова, было, как известно, «*montagnard au grand poignard*» — в буквальном переводе «горец с большим кинжалом». Но французское слово «*montagnard*» имеет еще второй смысл, переносный. Оно вошло в русский обиход как синоним слова «революционер». Вспомним, в образе Грушницкого Лермонтов изображал не только ложный романтизм этого типа, но и фальшивую позу гражданского мученичества. В этом свете нам не покажутся лишены основания замечания Глебова относительно «Героя нашего времени». Он сообщал Боденштедту, что Мартынов чувствовал в образе Грушницкого намек, обращенный к нему. Версия эта не может быть поддержана из-за хронологического несоответствия, но психологически она верна.

Есть глухие указания, что отставка Мартынова в феврале 1841 года была вызвана какой-то некрасивой карточной историей. Не надо забывать при этом, что убийца Лермонтова был родным племянником известного игрока, по мнению многих также и шулера, — Саввы Мартынова. Отсюда, вероятно, происхождение другой каламбурной клички Мартынова — «Маркиз де Шулерхоф».

На фоне всех этих фактов стремление Мартынова изображать из себя политическую жертву не могло не вызывать постоянного острого раздражения у Лермонтова.

3

Защитники Мартынова — а их немало — называли убийцу Лермонтова «благороднейшим человеком», ставшим жертвой жестокого характера поэта. Эти настроения отразились в письме земского деятеля Н. А. Елагина, сообщавшего 16 декабря 1875 года своим родным:

«Умер Мартынов лермонтовский; и все очень жалуют»³².

Мартынов, член и завсегдатай Английского клуба, был любим и уважаем в среде московских тузов и в буржуазно-либеральных кругах. Пусть у большинства людей виновник преждевременной смерти великого поэта вызывал чувство любопытства, смешанного с ужасом, — московские бары относились к нему особенно бережно. «Если и был он виноват, — говорили они, — то, конечно, никак не более всякого другого дуэлиста, а между тем ни одному из них не привелось так тяжело искупать свой грех»³³.

Чем суровее осуждали Мартынова все, кому была дорога русская поэзия, тем более сострадали ему доброжелатели, взывая к чувству гуманности и справедливости современников. «В 1837 году, — читаем в воспоминаниях И. П. Забеллы, — благодаря ненавистному иностранцу Дантесу не стало у нас Пушкина, а через четыре года то же проделывает с Лермонтовым уже русский офицер; лишиться почти зараз двух гениальных поэтов было чересчур тяжело, и гнев общественный всюю силою своей обрушился на Мартынова и перенес ненависть к Дантесу на него; никакие оправдания, ни время не могли ее смягчить. Она преемственно сообщалась от поколения к поколению и испортила жизнь этого несчастного человека, дожившего до преклонного возраста. В глазах большинства Мартынов был каким-то прокляженным...»

Забелла познакомился с Мартыновым в Английском клубе в конце 60-х годов. Впечатление от этой встречи он вынес самое трогательное. «Высокий, красивый, как лунь седой, старик Николай Соломонович Мартынов, —

пишет он, — был любезный и благовоспитанный человек; но в чертах лица его и в прекрасных синих глазах видна была какая-то запуганность и глубокая грусть». Автор добавлял, что «люди, близко знавшие Мартынова», «говорили, что он набожен и не перестает молиться о душе погибшего от руки его поэта, а 15 июля — в роковой день — он обыкновенно ехал в один из окрестных монастырей Москвы, уединялся там и служил панихиду».

В молодости Мартынов не отличался той набожностью, которая трогала впоследствии его современников. Пресловутые ежегодные панихиды были введены им в обычай уже на склоне лет. В первые годы после дуэли он, напротив, отмечал годовщину смерти Лермонтова прошениями об облегчении своей участи. Первая его просьба, адресованная шефу жандармов Бенкендорфу 8 августа 1841 года, заключалась в том, чтобы за дуэль с Лермонтовым его судили военным, а не гражданским судом, которому он подлежал как отставной уже офицер. «Чего я могу ожидать от гражданского суда? — писал он секунданту М. П. Глебову с пятигорской гауптвахты. — Путешествия в холодные страны? Вещь совсем не привлекательная. Южный климат гораздо полезнее для моего здоровья, а деятельная жизнь заставит меня забыть то, что во всяком другом месте было бы нестерпимо моему раздражительному характеру»³⁴. Как видим, Мартынов ожидал за убийство Лермонтова на дуэли либо сибирской каторги, либо отдачи в солдаты до выслуги в кавказской армии. Он предпочитал второе. Но вскоре опасения его рассеялись, и после милостивого приговора Николая I он очень осмелел.

В 1973 году на Украине были опубликованы С. Кравченко обнаруженные ею в государственных архивах документы, подробно отразившие многочисленные ходатайства Мартынова о смягчении своей участи³⁵. Прохождение наложенной на него пятнадцатилетней епитимьи было связано с прикреплением к месту жительства, и это обстоятельство вызвало со стороны Мартынова поток просьб о поездке в Петербург, в Москву, в Воронеж, даже за границу «для лечения» и, наконец, об окончательном переселении в Москву.

По завершении производства военно-судного дела ему было в ноябре 1841 года «высочайше» разрешено уехать с Минеральных вод в Одессу еще до вынесения приговора.

После царской конфирмации приговора 3 января 1842 года он был направлен в Киев для трехмесячного заключения на гауптвахту, после чего его надлежало подвергнуть духовному покаянию. Перевод в Киев и дальнейшее там пребывание происходило под покровительством военного генерал-губернатора Д. Г. Бибикова, с которым семейство Мартыновых было в свойстве, а затем и в родстве*.

Относительно места и срока епитимьи велась длинная ведомственная переписка. Назначение Киевской духовной консисторией пятнадцатилетнего срока привело в ужас Мартынова и все его семейство. Такой длительный срок объяснялся тем, что консистория приравняла убийство на дуэли к умышленному убийству. Мартынов немедленно откликнулся прошением на «высочайшее» имя, где протестовал против этой квалификации, приводя такие доводы: он был спровоцирован Лермонтовым к вызову; подойдя к барьеру, долго ждал его выстрела (а мы знаем, как вдалбливали ему в голову эту версию секунданты в своей потаенной переписке с ним в начале следствия!) и, наконец, что он подошел к убитому и простился с ним «по-христиански».

В Петербурге ему почти во всем шли навстречу, кроме одного знаменательного случая. Речь идет о его просьбе разрешить ему поездку за границу на воды. Вооруженный медицинским свидетельством, он обратился к Бибикову с просьбой поддержать его просьбу перед синодом. Но обер-прокурор синода понял, что высшая духовная власть не может взять на себя решение судьбы убийцы Лермонтова, и обратился к министру внутренних дел Л. А. Перовскому. Тот, в свою очередь, обратился 27 ноября 1844 года к А. Ф. Орлову, начальнику III Отделения. Царский приближенный написал на ходатайстве министра следующую резолюцию:

«Невозможно. Всюду, кроме за границу, даже на Кавказ. Могу предст(авить) гос(ударю)»³⁶.

Тем исследователям, которые продолжают считать катастрофу Лермонтова «обыкновенной офицерской дуэлью», не мешало бы призадуматься над этой резолюцией.

Что касается остальных просьб, то они постепенно удовлетворялись.

Первое прошение о сокращении срока покаяния было

* Дочь старшей сестры Мартынова, Е. С. Шереметьевой, вышла замуж за сына Бибикова.

подано ровно через год после дуэли — 15 июля 1842 года.

Синод отклонил ходатайство Бибикова, указав, что «в случае истинного раскаяния духовный отец может и по своему усмотрению сократить время эпитимии».

В 1843 году Мартынов снова обращался с соответствующим прошением в синод, и срок эпитимьи был уже сокращен ему до семи лет, то есть до 1848 года³⁷.

Через два года, 25 ноября 1846 года, синод «по прошению Мартынова» окончательно освободил его «от дальнейшей публичной эпитимии». Мартынов уже был женат и прожил еще несколько лет в Киеве. По ироническому выражению Н. С. Лескова, он составлял «одну из достопримечательностей» этого города. «Когда Мартынов проходил мимо кого-либо, кто его еще не знал, тому шепотом называли его, указывали и пр.», — рассказывал писатель А. Маркевич³⁸. П. А. Висковатов утверждал (впрочем, не указывая источника своих сведений), что «Мартынов отбывал церковное покаяние в Киеве с полным комфортом. Богатый человек, он занимал отличную квартиру в одном из флигелей Лавры. Киевские дамы были очень им заинтересованы. Он являлся изысканно одетым на публичных гуляньях и подыскивал себе дам замечательной красоты, желая поражать гуляющих и своим появлением и появлением прекрасной спутницы»³⁹.

О фатовстве Мартынова рассказывали все встречавшие его еще и до его геростратовой славы. Даже оставивший враждебные воспоминания о Лермонтове Я. Костенецкий, встречавшийся с Мартыновым на Кавказе в 1839 и 1841 годах, описывал его весьма критически: «Это был очень красивый молодой гвардейский офицер, блондин со вздернутым немного носом и высокого роста. Он был всегда очень любезен, весел, порядочно пел под фортепиано романсы и был полон надежд на свою будущность: он все мечтал о чинах и орденах и думал не иначе, как дослужиться на Кавказе до генеральского чина. После он уехал в Гребенской казачий полк, куда он был прикомандирован, и в 1841 году я увидел его в Пятигорске. Но в каком положении! Вместо генеральского чина он был уже в отставке всего майором, не имел никакого ордена и из веселого и светского изящного молодого человека сделался каким-то дикарем: отрастил огромные бакенбарды, в простом черкесском костюме, с огромным кинжалом, в нахлобученной белой папахе, мрачный и молчаливый»⁴⁰.

А. В. Мещерский уверял, что Мартынов перевелся из кавалергардского полка в Нижегородский драгунский во время своего первого пребывания на Кавказе, «потому что мундир этого полка славился тогда, совершенно справедливо, как один из самых красивых в нашей кавалерии». «Я видел Мартынова в этой форме, — вспоминает Мещерский, — она шла ему превосходно. Он очень был занят своей красотой»⁴¹.

21 апреля 1838 года, одновременно с Лермонтовым, Мартынов вернулся с Кавказа в Петербург в кавалергардский полк. Там он прослужил до ноября 1839 года, отлучаясь в Москву только в марте 1839 года по случаю болезни и смерти отца.

30 октября того же года Мартынов по невыясненным причинам был опять переведен на Кавказ, на этот раз прикомандированный к Гребенскому казачьему полку. В 1840 году он участвовал в осенней чеченской экспедиции. В этом походе Лермонтов командовал дороховской «сотней» охотников, а Мартынов линейными казаками.

В 1841 году Мартынов уже в отставке. Обстоятельства ее остались неизвестными. Сохранилась запись в книге входящих и исходящих инспекторского департамента военного министерства от 10 февраля 1841 года «Об определении вновь на службу отставного майора Мартынова». Переписка на восьми листах была впоследствии уничтожена. Закончена она была 27 февраля⁴². Но еще 23 февраля царь подписал «высочайший» приказ об отставке Мартынова «по домашним обстоятельствам». Однако отставной майор домой не вернулся и остался на Кавказе. 2 июля в Петербурге царь отказал ему в награде, к которой он был представлен за осеннюю экспедицию⁴³. В это время Мартынов уже жил в Пятигорске, где снимал квартиру сообща с М. П. Глебовым и бывал в местном салоне Верзилиных.

Характерно, что старшая сестра Мартынова смело уверяла знакомых, что Н. С. Мартынов был вынужден выйти в отставку из-за дуэли с Лермонтовым. Эта ложь, рисующая в неприглядном свете семейство убийцы поэта, возможно, преследовала цель приглушить слухи об упоминавшейся уже карточной истории Мартынова, послужившей причиной его отставки 23 февраля 1841 года. Мы располагаем позднейшими свидетельствами о Мартынове как опытном игроке.

Один из мемуаристов писал в своих неизданных воспоминаниях о московском обществе 70-х годов:

«Не могу не упомянуть о Мартынове, которого жертвой пал Лермонтов. Жил он в Москве уже вдовцом, в своем доме в Леонтьевском переулке, окруженный многочисленным семейством, из коего двое его сыновей были моими университетскими товарищами. Я часто бывал в этом доме и не могу не сказать, что Мартынов-отец как нельзя лучше оправдывал данную ему молодежью кличку «Статуя Командора». Каким-то холодом веяло от всей его фигуры, беловолосой, с неподвижным лицом, суровым взглядом. Стоило ему появиться в компании молодежи, часто собиравшейся у его сыновей, как болтовня, веселье, шум и гам разом прекращались и воспроизводилась известная сцена из «Дон-Жуана». Он был мистик, по-видимому, занимался вызыванием духов, стены его кабинета были увешаны картинами самого таинственного содержания, но такое настроение не мешало ему каждый вечер вести в клубе крупную игру в карты, причем его партнеры ощущали тот холод, который, по-видимому, присущ был самой его натуре»⁴⁴.

Этот портрет написан очень субъективно, но некто Ф. Ф. Маурер, владелец богатого московского особняка, подтверждал, что Н. С. Мартынов вел в его доме крупную карточную игру. Маурер заходил даже еще дальше, уверяя, что это было единственной доходной статьей Мартынова.

Описал Маурер также очень важный эпизод, в котором Мартынов выдвинул свою версию причины его дуэли с Лермонтовым. Вообще, по наблюдению Маурера, Мартынов «весь сжимался», если кто заговаривал о Лермонтове. Хозяин предупреждал об этом своих гостей и просил не говорить о поэте в присутствии Мартынова. Но однажды в очень тесной мужской компании «Мартынова прорвало», и он сказал: «Обиднее всего то, что все на свете думают, что дуэль моя с Лермонтовым состоялась из-за какой-то пустячной ссоры на вечере у Верзилиных. Между тем это не так. Я не сердился на Лермонтова за его шутки... Нет, поводом к раздору послужило то обстоятельство, что Лермонтов распечатал письмо, посланное с ним моей сестрой для передачи мне. Поверьте также, что я не хотел убить великого поэта: ведь я даже не умел стрелять из пистолета, и только несчастной случайности нужно приписать роковой выстрел». Маурер прибавлял, что он «особенно не верил этому рассказу, зная, как безумно хотел Мартынов снять с себя клеймо убийцы Лермонтова»⁴⁵.

Между тем версия о распечатанном пакете приобрела к 90-м годам такие права достоверности, что Д. Д. Оболенский ввел ее в свою статью о Мартынове в Энциклопедический словарь, откуда она перешла во все позднейшие дореволюционные издания как указание на единственную причину дуэли Лермонтова с Мартыновым. Нам надлежит ее проверить.

4

Версия о том, что Мартынов вызвал Лермонтова, защищая честь сестры (или сестер), появилась очень скоро после дуэли. В Москву она дошла еще в августе 1841 года, но не в виде рассказа о распечатанных письмах, а в гораздо более определенной форме. Утверждали, что Лермонтов вывел в образе княжны Мэри сестру своего будущего убийцы.

22 августа студент Андрей Елагин (младший брат славянофилов Киреевских) писал отцу в деревню:

«Как грустно слышать о смерти Лермонтова, и, к несчастью, эти слухи верны. Мартынов, который вызвал его на дуэль, имел на то полное право, ибо княжна Мэри сестра его. Он давно искал случая вызвать Лермонтова, и Лермонтов представил ему случай, нарисовав карикатуру (он, говорят, превосходно рисовал) и представив ее Мартынову. У них была картель (...) я думаю, что за сестру Мартынову нельзя было поступить иначе...»

Тогда же (в августе 1841 года) Мефодий Никифорович Катков написал брату, «известному» Михаилу Никифоровичу Каткову, в Берлин:

«Семейство Аксаковых нанимало дачу в трех верстах от Никольского, и я часто виделся с Константином. От него я услышал страшную, убийственную весть, которой я не смел сперва поверить, — о смерти Лермонтова. Ты, я думаю, уже знаешь об этом. Мартынов, брат мнимой княжны Мэри, описанной в *Герое нашего времени*, вызвал его на дуэль, впрочем не за нее, а за личные оскорбления, насмешки (...) Лермонтов в самое сердце навывлет был прострелен. Вот что пишут в *Одесском вестнике*: «15 июля, около 5 часов вечера, разразилась ужасная буря с молниею и громом: в это самое время между горами Машуком и Бештау скончался лечившийся в Пятигорске М. Ю. Лермонтов. С сокрушением смотрел я

на привезенное сюда бездыханное тело поэта». Как грустно! Теперь русская литература заснет глубоким апатическим сном.

Странно, все русские поэты имеют одинаковую судьбу, все умерли противуестественною смертью (Грибоедов, Пушкин, Лермонтов).

Мартынов осужден на ужаснейшее, говорят, наказание. Лишение чинов и дворянства и несколько десятков лет ссылки в отдаленную крепость на тягостнейшую работу. Его сперва хотели было судить военным судом. Говорят, что Лермонтов слишком много себе позволял оскорблять и насмехаться над всеми, им все недо-вольны»⁴⁶.

В этих, уже обросших домыслами, рассказах варьируются разные слухи. Карикатура, насмешки и совсем новая причина ссоры и дуэли: сестра Мартынова — княжна Мери. Этот слух был очень упорен. Его передает даже Т. Н. Грановский:

«Лермонтов, автор «Героя нашего времени», единственный человек в России, напоминающий Пушкина, умер той же смертью, что и он. Он убит на дуэли г. Мартыновым, братом молодой особы, выведенной в его романе под именем княжны Мэри»⁴⁷.

Такие же сведения дошли до русских за границу. Так, Н. А. Мельгунов писал из Флоренции Н. М. Языкову 1 декабря (нового стиля) 1841 года: «Спасибо вам за последние стихи Лермонтова... мне писали, что он убит на дуэли с Мартыновым, вызвавшим его за княжну Мэри (читали ль), в которой Лермонтов будто представил сестру того...»⁴⁸

На эту же причину намекал и М. П. Глебов, часто беседовавший в Тифлисе о поэте с Фр. Боденштедтом, немецким переводчиком стихов Лермонтова и его биографом. «Не берусь решить, — писал Боденштедт, — что именно подало повод к этой последней дуэли, неосторожные ли остроты и шутки Лермонтова, как говорят некоторые, вызвали ее, или, как утверждают другие, противник его принял на свой счет некоторые намеки в романе «Герой нашего времени», и оскорблялся ими, как касавшимися при том и его семейства. В этом последнем смысле слышал я эту историю от секунданта Лермонтова г. Г(лебова), который и закрыл глаза своему убитому другу»⁴⁹.

Версию о «княжне Мери» выдвинули также взрослые сыновья Мартынова, обратившиеся в 1893 году к

Д. Д. Оболенскому с тем, чтобы он выступил в печати с публикацией сохранившейся у них переписки семейства Мартыновых о Лермонтове. Касаясь в этой публикации характера взаимоотношений поэта с сестрой Мартынова, Оболенский писал:

«Неравнодушна к Лермонтову была и сестра Н. С. Мартынова — Наталья Соломоновна. Говорят, что и Лермонтов был влюблен и сильно ухаживал за ней, а быть может и прикидывался влюбленным. Последнее скорее, ибо когда Лермонтов уезжал из Москвы на Кавказ, то взволнованная Н. С. Мартынова провожала его до лестницы; Лермонтов вдруг обернулся, громко захотал ей в лицо и сбежал с лестницы, оставив в недоумении провожавшую»⁵⁰.

«Одной нашей родственнице, старушке, — добавляет в другой редакции своих сообщений Оболенский, — покойная Наталья Соломоновна не скрывала, что ей Лермонтов нравится, и ей пересказывала с горечью последнее прощание с Лермонтовым и его выходку на лестнице»⁵¹. Описанная сцена вполне правдоподобна, если принять во внимание капризную и нервную натуру поэта. Но, варьируя в разных редакциях своих сообщений эту сцену, Оболенский совершенно не представлял себе, в каком году могло происходить это неловкое прощание. В другом своем сообщении Оболенский пишет: «Что сестры Мартыновы, как и многие тогда девицы, были под впечатлением таланта Лермонтова, неудивительно и очень было известно. Вернувшись с Кавказа, Наталья Соломоновна бредила Лермонтовым и рассказывала, что она изображена в «Герое нашего времени». Одной нашей знакомой она показывала красную шаль, говоря, что ее Лермонтов очень любил. Она не знала, что «Героя нашего времени» уже многие читали и что «пунцовый платок» помянут в нем совершенно по другому поводу...»⁵² В другой статье он еще подробнее описывает этот эпизод: «Она только и говорила про Лермонтова, про прелести Кавказа, именно нашей родственнице, и в разговоре обратилась к вошедшей горничной, говоря: принесите же красную мою шаль, которую так любил Лермонтов, он в новом своем романе ввел и меня в героини романа»⁵³.

Сообщения Оболенского поразительны — они показывают полную его неосведомленность. Из дальнейшего изложения читатель убедится в бесспорном факте, что Мартыновы были на Кавказе в 1837 году, а «Княжна

Мери», как известно, вышла в свет в апреле 1840 года. 8 мая Лермонтов приехал в Москву и пробыл здесь проездом на Кавказ три недели — до последней декады месяца. Если бы образ княжны Мери был навеян Натальей Мартыновой и если бы Лермонтов расстался с ней в 1837 году, подобно Печорину, он не мог бы с тех пор бывать у Мартыновых. Между тем в течение своего пребывания в Москве в 1840 году поэт часто навещал Мартыновых и даже «любезничал» с сестрами своего будущего убийцы, в том числе и с мнимой княжной Мери. Об этом свидетельствует дневник А. И. Тургенева:

«12 мая... После обеда в Петровское к Мартыновым, они еще не уезжали из города... Несмотря на дождь, поехали в Покровское-Глебово, мимо Всехсвятского... возвратились к Мартыновым — пить чай и сушиться. Князь Гагарин *гарсевал** на коне своем. Лермонтов любезничал и уехал».

«19 мая, воскресенье... обедал дома, после в Петровское, гулял с гр. Зубовой, с Демидовыми, с Анненковой, с Мартыновыми...»

Цыгане. Волковы, Мартыновы. Лермонтов; я благодарил к(нязя) Голицына за добрые дела. Наслушавшись цыган — поехал к Пашковым».

«22 мая... в театр, в ложи гр. Броглио и Мартыновых, с Лермонтовым; зазвали пить чай и у них и с Лермонтовым и с Озеровым кончил невинный вечер; весело. Сплетни и эпиграммы, непостоянство в ваших глазах, в Наталье Мартыновой что-то милос и ласковое для меня»⁵⁴.

При лаконичной манере Тургенева каждое слово его дневника становится весомым. В записях о встречах Лермонтова с Мартыновыми нет ни намек на какую-либо драму или напряженность в отношениях. Тургенев подчеркивает: невинный и веселый вечер, Лермонтов с Озеровым, видимо, злословили, сочиняли эпиграммы, упрекали Наталью Мартынову в кокетстве. Где же обманутая, страдающая, разочарованная «княжна Мери»?! В таком же духе, как и Тургенев, описывала времяпрепровождение и настроение своих дочерей в это время мать Н. С. Мартынова. Но, прежде чем обратиться к этим строкам ее письма, нужно остановиться на запутанной истории с вскрытым пакетом, которую Н. С. Мар-

* Курсив А. И. Тургенева.

тынов настойчиво приводил в качестве «истинной причины» дуэли.

Сопоставим опубликованную Д. Д. Оболенским в «Русском архиве» и «Новом времени» переписку Мартыновых с копиями этих писем, сохранившимися в редакции «Русского архива» (Государственный Исторический музей).

5 октября 1837 года Николай Соломонович Мартынов писал отцу из Екатеринодара: «Триста рублей, которые вы мне послали через Лермонтова, получил, но писем никаких, потому что сго обокрали в дороге, и деньги эти в письме также пропали, но он, само собой разумеется, отдал мне свои. Если вы помните содержание вашего письма, то сделайте одолжение, повторите; также и сестер попросите об этом от меня. Деньги я уже все промотал».

На это известие пришел ответ матери Н. С. Мартынова, посланный из Москвы 6 ноября 1837 года: «Как мы все огорчены тем, что наши письма, писанные через Лермонтова, до тебя не дошли. Он освободил тебя от труда их прочитать, потому что, в самом деле, тебе пришлось бы читать много: твои сестры целый день писали их; я, кажется, сказала: «при сей верной оказии». После этого случая даю зарок не писать никогда иначе, как по почте: по крайней мере останеся уверенность, что тебя не прочтут».

Этими двумя письмами документальная часть инцидента исчерпывается. Третье письмо, опубликованное Оболенским в выдержках, было искусственно притянута к эпизоду со вскрытием пакетов. 25 мая (год не указан) Е. М. Мартынова пишет сыну Николаю на Кавказ (строки, напечатанные Оболенским, выделяем курсивом):

«Где ты, мой дорогой Николай? Я страшно волнуюсь за тебя, здесь только и говорят, что о неудачах на Кавказе; мое сердце трепещет за тебя, мой милый; я стала более, чем когда-либо, суеверна: каждый вечер гадаю на трефового короля и прихожу в отчаяние, когда он окружен пиками: не будь таким же лентяем, как Мишель, пиши мне почаще, не лишай меня моего последнего утешения.»

Мы еще в городе, погода все еще холодная, но я думаю перебраться во вторник; но сколько бы я ни меняла обстановки, воспоминание о моем горе всюду преследует меня, я влачу свое жалкое существование. Оплакивать

воспоминания прошлого — занятие каждого моего дня, когда только я могу это делать; меня часто утомляют несносными делами. *Лермонтов у нас чуть ли не каждый день. По правде сказать, я его не особенно люблю; у него слишком злой язык, и, хотя он выказывает полную дружбу к твоим сестрам, я уверена, что при первом случае он не пощадит и их; эти дамы находят большое удовольствие в его обществе. Слава богу, он скоро уезжает; для меня его посещения неприятны.* Прощай, дорогой Николай, целую тебя от всей души, да благословит тебя бог.

Е. М.

Р. С. Твои сестры спят, как обычно, я их еще не видала. Они здоровы и много веселятся; от кавалеров они в восторге»⁵⁵.

Это письмо было механически присоединено к двум предыдущим и с условной датой «1837 год» напечатано первым (как майское). Получалась стройная последовательность событий: весной (25 мая 1837 года) Е. М. Мартынова делится с сыном своими опасениями относительно злого языка Лермонтова, а не далее как осенью ее предчувствия уже оправдались: пропажа писем, засвидетельствованная 6 октября 1837 года письмом Н. С. Мартынова, подозрения семейства о злом характере этой пропажи, выраженные в письме Е. М. Мартыновой 6 ноября 1837 года.

Однако как ни странно, но в публикации Д. Д. Оболенского была допущена подтасовка.

Майское письмо было написано в 1840 году, а не в 1837-м. Это лишает переписку Мартыновых того смысла, который ей хотели придать редактор «Русского архива» П. И. Бартенев, Д. Д. Оболенский и сын Мартынова. Мы не можем обвинять их в том, что они не потрудились высчитать, что на 25 мая 1837 года приходился вторник, в то время как в пропущенных строках Е. М. Мартынова пишет: «Мы еще в городе, погода все еще холодная, но я думаю перебраться во вторник...» Не упрекнем издателей переписки и за то, что они не распознали, о каких «неудачах на Кавказе» идет речь в напечатанной части письма. В 90-х годах могли не помнить, что военные действия на Кавказе в 1837 году были ознаменованы затишьем, а в 1840-м произошел разгром черноморской береговой линии, и как раз весной. Трудно было ожидать от тогдашних публикаторов

подобных навыков вспомогательной научной работы. Но центральные события мартыновской семейной хроники должны были быть им знакомы! Знал же Н. С. Мартынов, передавший сыновьям заветную переписку, что его отец умер 21 марта 1839 года, и раньше этого времени мать не могла наполнять свое письмо вдовьями жалобами, опущенными в публикации Оболенского. Не могло быть написано это майское письмо и в 1841 году — Лермонтов в этом году был в Москве только пять дней и выехал оттуда на Кавказ 23 апреля.

Таким образом, Е. Мартынова говорит о тех же визитах Лермонтова в их дом, о которых в 1840 году пишет в своем дневнике А. И. Тургенев. «Он выказывает полную дружбу твоим сестрам, — пишет она, — эти дамы находят большое удовольствие в его обществе», «они много веселятся, от кавалеров они в восторге». Ситуации, изображенной в «Княжне Мери», нет и в помине.

Один из главных «кавалеров» сестер Мартыновых был укрывающийся в Москве от дуэли князь Лев Андреевич Гагарин. «Здесь лев — ваш Лев Гагарин, — пишет П. А. Вяземский родным 23 апреля. — На гуляньи, в течение двадцати минут видишь его пешком, на дрожках, верхом. Вся Москва полна его «пажескими проказами», но, впрочем, нет ничего предосудительного и его здесь любят»⁵⁶.

«Московское высшее общество приняло... очень радушно... кн. Гагарина, имевшего большой успех, — вспоминал об этом времени А. В. Мещерский. — Он был находчив и смел, так что его остроты охотно передавались во многих гостиных»⁵⁷.

«Он отличался необыкновенной свободой речи, — пишет Лобанов о Льве Гагарине, — это был непрерывный поток острот и насмешек при величайшей самоуверенности, смелости и предприимчивости с женщинами, любовью которых он овладевал так же легко, как и дружбой мужчин»⁵⁸.

Вместе с А. И. Барятинским и сыном московского генерал-губернатора князя Д. В. Голицына (не членом «кружка шестнадцати») — Лев Гагарин, племянник Меншикова, был главным вкладчиком «прекрасного праздника, стоившего 10 000 руб. и устроенного в начале мая в Петровском в честь молодых красавиц».

Девушки Мартыновы, только что начавшие выезжать после траура по отцу, имели большой успех: «Великий московский комераж!!! Закревский, говорят, влюблен в

Мартынову, — пишет Вяземский 21 апреля. — На старости лет непременно в Москву перееду. Здесь сердце молодеет. Москва такая республика, что нет ни старших, ни младших»⁵⁹.

Лев Гагарин недаром «гарсевал на коне своем» перед Мартыновыми. Этот молодой человек, «выросший, — по словам Лобанова, — верным заложненным в нем инстинктам и безнравственным советам своего дяди — самого ядовитого, остроумного, беспринципного и порочного человека в России», вскоре стал женихом Юлии Мартыновой.

«Все ваши в Петербурге и Москве женятся. Здесь говорят о браке Льва Гагарина, который стал москвичом, с одной из Мартыновых, которая прелестна; они составят прекрасную парочку на несколько недель по крайней мере», — не без иронии писал А. И. Тургенев П. А. Вяземскому из Киссингена 17 августа 1840 года⁶⁰.

Еще не получив этого письма, Вяземский писал Тургеневу 25 августа: «Знаешь ли ты, что красавица твоя московская Мартынова выходит замуж за пострела Гагаренка?»⁶¹ 30 ноября 1840 года, описывая начало великосветского сезона в Петербурге, наследник писал сестре, великой княгине Марии Николаевне: «Из новых явлений нужно назвать молодую княгиню Гагарину, жсну повесы. Ему 19 лет, ей 17. Она беременна, и он сказал мне, смеясь, что намерен расти вместе со своим первенцем. Молодец! Она отнюдь не дурна»⁶².

Когда в Петербург пришло известие о смерти Лермонтова на дуэли, Корф ничего не мог вспомнить о противнике поэта, кроме того, что он «брат молоденькой княгини Гагариной»⁶³.

Но если внимание светского общества было привлечено к племяннику А. С. Меншикова и его ухаживанию за Юлией Мартыновой, то в Москве мало кто заметил интерес Лермонтова к другой сестре Мартынова. Так, А. И. Тургенев не придал никакого значения «любезничанью» поэта. Узнав о гибели Лермонтова, он не мог догадаться, кто же стал его убийцей, называя его «каким-то Мартыновым». Не мог Тургенев также сообразить, на какой из сестер Мартыновых женится Гагарин.

Не заметил и П. А. Вяземский заинтересованности Лермонтова барышнями Мартыновыми, хотя и упоминает дважды поэта в своих московских письмах. 10 мая он пишет М. П. Валуевой: «Вчера обедал я с Лермонтовым у Гоголя на Девичьем поле под открытым небом».

А через неделю отмечает ухаживанья Лермонтова, но только не в доме Мартыновых, а в дружественном ему доме Оболенских: «Если Бартенева еще не уехала, — пишет Вяземский в Петербург 18 мая, — попроси у нее романс *Leon, pardonne moi* (Леон, прости меня), — отправь его Софии Александровне Евреиновой на Солянку в доме Оболенского. Лермонтов ведет здесь осаду Трои, т. е. трех сестер. (Lermantoff fait ici le siège de Troye, c'est à dire de trois soeurs)»⁶⁴.

Какой фальшивой нотой на всем этом фоне звучат сетования некоего Бетлинга, случайного попутчика Мартынова, которого убийца Лермонтова посвятил в тайну «истинных причин» дуэли: «Мартынову было тяжело вообразить, как дерзко, как, скажем, нагло было попрано доверие сестер, отца, оказанное товарищу!»⁶⁵ Между тем отец давно умер, мать и думать забыла о недоразумении с пропавшими письмами, ее тревожило только будущее ее дочерей, а им уж, во всяком случае, было не до эпизода четырехлетней давности. Кто же был обижен?

Во всех своих рассказах о причинах дуэли Мартынов приводил эпизод с перехваченными письмами. Но он никогда не упоминал, что после своих встреч с Лермонтовым на Кавказе в 1837 году в течение последующих четырех лет он неоднократно имел случаи сталкиваться с поэтом и в Петербурге, и на Кавказе.

В 1841 году в Пятигорске он встретился с Лермонтовым дружески. «Давно ли он (Лермонтов) мне этого изверга, его убийцу, рекомендовал как товарища, друга!» — восклицала Екатерина Быховец.

О приятельских отношениях с Лермонтовым говорил и сам Мартынов в своих показаниях на суде. Прямые его заявления — «злости к нему я никогда не питал, следовательно, мне незачем было иметь предлог с ним поссориться» и тому подобные — не имеют большого значения, потому что на суде, естественно, подсудимый старался скрыть излишние подробности, но в вычеркнутых фразах произвольно вырисовывается картина дружественных отношений обоих противников.

17 июля в самой первой редакции своих ответов следственной комиссии Мартынов описывал действия секунданта: «Они напоминали мне прежние мои отношения к нему, говорили о веселой жизни, которая всех нас еще ожидает в Кисловодске, и что все это будет расстроено моей глупой историей». В черновых ответах на вопросы

окружного суда читаем: «Васильчиков и Глебов напомнили мне прежние мои отношения с ним и тесную связь, которая до сего времени существовала между нами»⁶⁶.

Впоследствии Мартынов, забыв о «четырёхлетней обиде», уверял П. И. Бартенева, что незадолго до дуэли Лермонтов заезжал к нему в Кисловодск, якобы «отвести душу». Э. А. Шан-Гирей, описывая последнюю стычку между Мартыновым и Лермонтовым, рассказывала: «На мое замечание — язык мой, враг мой — Михаил Юрьевич отвечал спокойно: — Это ничего, завтра мы будем добрыми друзьями»⁶⁷. Даже в последние дни Лермонтов не заметил напряженности в отношении к нему Мартынова. Ничего не подозревали и окружающие. Е. Быховец уверяла, что «Лермонтов совсем не хотел его обидеть, а так посмеяться хотел, бывши так хорошо с ним».

Когда в 90-х годах Д. Д. Оболенский пытался воскресить ходячую версию о «сестрах», а также и о «сестре», он писал: «Мартынов, конечно, не говорит, что Лермонтов компрометировал его сестер». Сыновья противника Лермонтова подхватывали это и замечали, что Мартынов «внешне оставался с Лермонтовым в приятельских отношениях»⁶⁸. А сам Мартынов, объясняясь с Бартевым, очевидно, должен был признать, что поведение его в такой интерпретации выглядело не совсем красивым и вовсе не рыцарским. В редакционном примечании к публикации переписки Мартыновых Бартев указал, что убийца Лермонтова объяснял ему связь истории с письмами и дуэлью иначе. Когда летом 1841 года Лермонтов преследовал Мартынова насмешками, он «иногда намекал ему о письме, прибегая к таким намекам, чтобы избавиться от его приставаний». «Таков рассказ Н. С. Мартынова, слышанный от него мною и другими лицами», — добавлял П. И. Бартев⁶⁹. Таким образом, никакой четырехлетней обиды не было, а было желание хоть чем-нибудь досадить Лермонтову. Потому-то эта старая юношеская история всплыла опять в Пятигорске в 1841 году и стала известной их общим приятелям. А о том, чтобы притянуть давнишний эпизод к дуэльной истории, позаботились уже другие люди. «От одного из отставных офицеров, не пожелавшего, впрочем, предавать имени своего гласности, я узнал, что бывший московский полицмейстер, генерал-майор Николай Ильич Огарев, под начальством которого он служил когда-то, со слов Н. С. Мартынова, рассказывал ему, что натолк-

нул Мартынова на мысль о дуэли из-за сестры один из жандармских офицеров, находившихся в Пятигорске в 1841 году, во время производства следствия по делу об его дуэли с Лермонтовым, который в таком смысле донес тогда о причинах дуэли генералу Дубельту»⁷⁰. Так писал в 1893 году П. К. Мартыянов, литератор отнюдь не левого направления. В данном случае мы можем отнестись с доверием к сотруднику реакционного «Нового времени», позволившему себе сослаться на всем известного полицмейстера: теперь-то мы знаем, что петербургский жандарм Кушинников действительно руководил следствием в Пятигорске.

Заметим, что родные Мартынова тоже приехали в Пятигорск, когда убийца Лермонтова был под судом.

Версия о распечатанных письмах и компрометации Натальи Соломоновны поддерживалась ими в течение всех последующих лет. Е. С. Ржевская, встретившаяся в 1852 году в Гельсингфорсе с Я. К. Гротом, представляла дело так, что поэт неудачно сватался к Наталье Мартыновой в 1837 году и поэтому-то и распечатал ее письмо к брату, чтобы узнать мотивы отказа. Взрослый сын Мартынова, наоборот, утверждал в 1898 году, что его отец потому не порывал дружеских отношений с Лермонтовым, что ждал от него в 1841 году в Пятигорске формального предложения той же Наталье. (С. Н. Мартынов утверждал, что Лермонтов написал «Тамань» для того, чтобы доказать Мартыновым, что его действительно обокрали на Кавказе. И это было напечатано в журнале!)

В корректуре этой статьи сохранились строки, где названа еще одна причина взаимного антагонизма противников. Сын Мартынова первоначально вел весь рассказ от лица самого Николая Соломоновича:

«...особенно отличалась своею красотой и остроумием Эмилия Александровна, которая несколько увлеклась мною, но за которую ухаживали все, в том числе и Лермонтов. У меня в то время были хорошие средства, собою я был не дурен и, только что вышед в отставку из военной службы, продолжал носить красивую форму гребенских казаков, которая очень шла ко мне...» И несколько ниже: «Эмилия Верзилина, за которую ухаживали как он, так и я, отдавала мне видимое предпочтение, которое от Лермонтова и не скрывала, что приводило этого крайне самолюбивого человека в неопишное негодование»⁷¹.

Сбивчивость, бездоказательность и необедительность объяснений Мартынова очевидна.

Самое важное в них то, что они указывают на отсутствие у Мартынова серьезных оправданий. Но версия о «пакете» служила другой цели. Она набрасывала тень на моральный облик Лермонтова. И Мартынов этим широко пользовался в течение всей своей жизни. Он заявлял направо и налево, что эпизод с письмами «дает мне право считать себя вовсе не так виновным, как представляют меня вообще». Он говорил об этом в провинции Пирожкову и Бетлингу, в Петербурге и в Москве распространял эту версию в Английском клубе и, как мы видели, в доме Маурера. Не остановилось семейство Мартыновых и перед компрометацией Натальи Соломоновны. Сама она вышла замуж за француза графа де Ла Турдоннэ, (неизвестно когда) и уехала за границу. От нее до нас не дошло никакого свидетельства об отношениях ее с Лермонтовым. Но частое упоминание ее имени в связи с дуэлью привело лишь к ее компрометации.

В публикации Оболенского есть фраза, указывающая, что, по его мнению, Наталья изображена Лермонтовым не в образе невинной и страдающей Мери, а в образе Веры. «Она не знала, что пунцовая шаль упоминалась в романе совсем по другому поводу», — как мы помним, заметил Оболенский *. Следовательно, Оболенский считал, что Вера, а не Мери олицетворяла в романе Лермонтова Наталью. О том же развязно писал и сын Мартынова в 1898 году. Так же поняли ситуацию и современники. В октябре 1841 года некий А. П. Смольянинов описывал преддуэльную историю: «Является Мартынов, чего лучше, шутки и колкие сатиры начинаются. — Мартынов мало обращал на них внимание или, лучше сказать, не принимал их на свой счет и не казался обиженным. — Это кольнуло самолюбие Лермонтова, который теперь уже прямо адресует к Мартынову с вопросом, читал ли он «Героя нашего времени»? «Читал», — был ответ. — «А знаешь, с кого я писал портрет Веры?» — «Нет». — «Это твоя сестра». — Не знаю, что было причиной этого вопроса, к чему сказаны эти слова: «Это твоя сестра», которые стоили Лермонтову жизни, а нас

* Характерна эта ошибка Оболенского, забывшего, что пунцовый платок действительно покрывал плечи княжны Мери, когда ее, грустную и задумчивую, увидел через окно Печорин.

лишили таланта, таланта редкого, — следствием этих слов был, конечно, вызов со стороны Мартынова. — Благородно он поступил, всякий бы сделал то же на его месте»⁷². Таким образом, из обывательских толков очень быстро выросла легенда, что Лермонтов вывел сестру Мартынова в образе замужней женщины, с которой у Печорина была любовная связь. Компрометация сестры, как видим, исходила от самого Мартынова и остальных членов его семейства.

«Мартыновские» версии доходили и до слуха А. Н. Пыпина, поместившего в 1873 году вступительный биографический очерк Лермонтова в издании сочинений поэта под редакцией П. А. Ефремова. Ссылаясь на толки о «княжне Мери», Пыпин очень неточно пишет: «Прибавляют, что Мартынов был уже ранее знаком Лермонтову, который знал также семейство Мартынова в Петербурге, где видел его перед последним отъездом на Кавказ. Был слух, что недоразумение между ними шло и с этой стороны, и, по-видимому, не в пользу Лермонтова»⁷³.

Однако до него доходили и другие слухи. В том же очерке он осторожно замечал: «До сих пор, кроме рассказов вышеприведенных, известны по слухам и другие подробности этой истории: со временем они, вероятно, разъяснятся...» Через несколько страниц, возвращаясь к истории дуэли, он пишет: «Относительно последней дуэли люди довольно компетентные говорят, что к ней не было никакого серьезного повода». Со своей стороны, М. И. Семевский, призывая Мартынова высказаться самому о дуэли, писал в 1869 году: «Искренность исповеди искупила бы до некоторой степени то несчастье, в которое г. Мартынов был, как говорят, почти против воли вовлечен»⁷⁴.

Одним из самых компетентных людей в этом вопросе был, конечно, А. А. Столыпин (Монго). Его отзыв о причинах дуэли выявил незадолго до своей кончины Б. М. Эйхенбаум. Он обратился в 1959 году к переводу на французский язык «Героя нашего времени», выполненному А. А. Столыпиным и напечатанному в 1843 году в Париже в фурьеристской газете. В редакционной заметке этой газеты, анонсирующей начало печатания перевода Столыпина в следующих номерах, прибавлено: «Г-н Лермонтов недавно погиб на дуэли, причины которой остались неясными»⁷⁵. Б. Эйхенбаум правиль-

по указал, что это могло быть написано только со слов А. А. Столыпина (Монго).

Нам остается только согласиться с ближайшим спутником жизни поэта и свидетелем его гибели — причины дуэли Лермонтова с Мартыновым остались неясными.

5

«Лейб-гвардии конного полка корнет Глебов, вчерашнего числа к вечеру пришел ко мне на квартиру, объявил, что в 6 ч. веч. у подножия горы Машук была дуэль между отставным майором Мартыновым и Тенгинского пехотного полка поручиком Лермонтовым, на коей сей последний был убит», — писал в Пятигорский земский суд комендант Ильяшенков 16 июля 1841 года.

В тот же день Ильяшенков доносил командующему войсками П. Х. Граббе:

«Секундантом у обоих был находящийся здесь для излечения раны лейб-гвардии конного полка корнет Глебов. Майор Мартынов и корнет Глебов арестованы, и о происшествии сем производится законное расследование и донесено государю императору за № 1356».

Но в таком виде рапорт послан не был. В текст чернового отпуски (он сохранился в деле), внесены поправки, после которых рапорт и был отправлен к Граббе. Теперь в нем содержались другие сведения:

«Секундантами были у них находящиеся здесь для пользования минеральными водами [со стороны] (вычеркнуто. — Э. Г.) лейб-гвардии конного полка корнет Глебов и служащий во II Отделении собственной его императорского величества канцелярии в чине титулярного советника князь Васильчиков»⁷⁶ и т. д.

Итак, поначалу было решено объявить единственным свидетелем Глебова, но на следующий же день был привлечен и Васильчиков. Замечательно, что Ильяшенков не знал, как указать, кто с чьей стороны был секундантом. Это было еще не решено.

«Рассказывали в Пятигорске, — замечал в своих записках А. И. Арнольди, — что заранее было условлено, чтобы только один из секундантов пал жертвою правительственного закона, что поэтому секунданты между собою кидали жребий, и тот выпал на долю Глебова, который в тот же вечер доложил о дуэли коменданту и был посажен им на гауптвахту. Так как Глебов жил с

Мартыновым на одной квартире, правильная по законам чести дуэль могла казаться простым убийством, и вот, для обеления Глебова, А. Васильчиков на другой день сообщил коменданту, что он был также секундантом Лермонтова, за что посажен был в острог, где за свое участие и содержался»⁷⁷.

Подобная мотивировка высмеяна М. А. Корфом.

«Барон Ган, — пишет он в дневнике 30 сентября 1841 года, — на которого, впрочем, никогда нельзя вполне положиться, потому что во всяком действии и слове его предполагаешь ипе аггièге pensée *, выпускает теперь, с видом величайшего секрета, довольно курьезную историю насчет участия Васильчикова в дуэли Лермонтова. По словам его, дуэль происходила при одном только Глебова, Васильчиков совсем не был секундантом, а лишь впоследствии добровольно выдал себя за секунданта, чтобы дуэль, как происходившая при одном секунданте, не была вменена Мартынову в простое смертоубийство. Очевидно, что распушение такого слуха, — хотя, конечно, и нельзя дать ему официальной гласности, потому что тогда пришлось бы судить Васильчикова за подлог, — не только извинит последнего, но еще и придаст ему особенный рельеф благородства в глазах государя, и что наказание последует только для формы, не повредив ни ему лично, ни его карьере. Но вопрос, правда ли это, а если вымысел, то тамошной ли фабрики, или здешней, самого Гана, который надеется через такую ловкую штуку выиграть опять в глазах Васильчикова-отца? Что тут есть вымысел, это почти несомненно: ибо наши законы не делают никакого различия в том, была ли дуэль при десяти секундантах или при одном, или совсем без секундантов, а неужели Васильчиков решился пожертвовать собою только для того, чтобы оградить Мартынова в общественном мнении?»

«Подлог», «вымысел» неизвестно чьей «фабрики» — эти слова современника достаточно выразительны. Тайная взаимовыручка всех участников дуэли была, оказывается, секретом полишинеля. Николай I лучше, чем кто-нибудь другой, знал, что документы официального военно-судного дела представляли собой только бюрократическую отписку.

Законник Корф прекрасно понимал, что Васильчиков не для того объявил себя секундантом Лермонтова, что-

* заднюю мысль (фр.).

бы придать делу формально безупречный вид, а для того, чтобы облегчить участь подсудимых. Однако, как ни грочно было положение Васильчикова-отца, ни он, ни Корф не предполагали, что секунданты выйдут сухими из воды. «Если бы государь хотел оказать снисхождение моему сыну, то я сам буду первым ходатайствовать о наказании, — сказал И. В. Васильчиков М. А. Корфу 7 августа, — законы должны быть исполняемы в равной степени для всех; стану только просить об одной милости: чтобы не назначали ему местом заточения Кавказ, потому что там сущий вертеп разврата для молодых людей». 12 августа, излагая благоприятные для А. И. Васильчикова результаты царской аудиенции, Корф сообщает: «Обещано не заточать его на Кавказ, а всему прочему отец охотно его подвергает. Вероятно, что все кончится несколькими месяцами крепостного заключения». 21 августа, касаясь отъезда своего начальника из Петербурга, Корф добавляет: «Сын его, вместе с Мартыновым и Глебовым, судится на местах военным судом, и дело, разумеется, не может еще получить немедленного окончания». В это время Корф еще был уверен, что Васильчиков хоть несколько месяцев, но посидит в крепости. И только 30 сентября, рассказывая о «ловкой штуке» Гана, Корф уже понимает, что «наказание последует только для формы, не повредив ни ему лично, ни его карьере». К концу года, наблюдая течение событий в Петербурге, Корф уже не сомневался в благополучном исходе судебного рассмотрения. 12 января 1842 года он записывает: «Дело об участии молодого князя Васильчикова в дуэли Лермонтова получило тот конец, какого почти наверное ожидать надлежало. Несмотря на великодушное в прошлом году сопротивление старика, военный министр объявил нынче Блудову, — по служению молодого Васильчикова во II Отделении собственной его императорского величества канцелярии, — что государь всемилостивейше повелеть изволил его простить «во уважение к знаменитым заслугам отца». Новая цепь благодарности, привязывающая последнего к службе. Впрочем, об отставке теперь и речи нет, и в поднесенных самим же Васильчиковым к подписанию перед новым годом обыкновенных указах о подтверждении председателей и членов он опять подтвержден председателем на 1842-й год»⁷⁸. Так дело о гибели Лермонтова обернулось бюрократическими интригами в очень высоких инстанциях. Не удивительно, что московский

почт-директор А. Я. Булгаков, узнав об участии в дуэли сына председателя Государственного совета, воскликнул: «Князь Васильчиков будучи одним из секундантов, можно было предвидеть, что вину свалят на убитого, дабы облегчить наказание Мартынова и секундантов»⁷⁹. В такой же уверенности пребывал и начальник штаба А. С. Траскин, который писал из Кисловодска 3 августа: «Расследование по делу о дуэли закончено... Впрочем, я думаю, что прежде, чем все это примет юридический ход, из Петербурга прибудет распоряжение, которое решит участь этих господ»⁸⁰.

Понимая, насколько причастность к делу А. Васильчикова смягчит их участь, подсудимые, очевидно, потребовали от него, чтобы он явился к коменданту. Этим они не ограничились. М. А. Корф сообщает 7 августа: «Молодой Васильчиков в самый день дуэли отправил нарочного с известием об ней к своему отцу, который вследствие того тотчас и приехал сюда (третьего дня), прежде чем могло прийти к нему письмо Левашова».

Известие о дуэли пришло в Петербург лишь 1 или 2 августа, и Васильчиков, не дожидаясь, пока его родня вызовет отца из саратовского имения, поспешил сам с ним снестись.

Послал два письма в Петербург и М. П. Глебов. В них он дал полное описание дуэли (в духе официальной версии), переслал его младшему брату Монго, своему товарищу по юнкерской школе Д. А. Столыпину, с тем чтобы тот передал одно из них через А. И. Философова великому князю Михаилу Павловичу⁸¹.

Письма эти до нас не дошли, но и без того ясно, что оба секунданта, Васильчиков и Глебов, в день смерти Лермонтова проявили деловитость и расторопность, приняв необходимые меры для облегчения своей участи.

Но кто же из них был секундантом Лермонтова?

Фр. Боденштедт утверждал, что — Глебов, ссылаясь при этом на его же рассказы. Васильчиков же всю жизнь называл себя секундантом Лермонтова. Однако в известном печатном рассказе о дуэли он обмолвился в 1872 году, что был выбран свидетелем «по доверенности обеих сторон».

Когда П. А. Висковатов обратился к нему с прямым вопросом: кто же был секундантом со стороны Лермонтова, а кого выбрал своим доверенным лицом Мартынов, Васильчиков ответил: «Собственно секундантами были: Столыпин, Глебов, Трубецкой и я. На следствии же по-

казали: Глебов себя секундантом Мартынова, я — Лермонтова. Других мы скрыли, Трубецкой приехал в Пятигорск без отпуска и мог поплатиться серьезно. Столыпин уже раз был замешан в дуэли Лермонтова, следовательно, ему могло достаться серьезнее»⁸².

Зная, как любил Лермонтов Столыпина и Трубецко-го, можно полагать, что они и были его секундантами. В таком случае Глебов и Васильчиков остаются свидетелями со стороны Мартынова. Это подтверждается анализом документов.

На вопрос окружного суда, «чи были pistolеты», Мартынов ответил: «Чи были pistolеты, я не знаю, но Глебов мне сказал, что pistolеты будут».

На место дуэли Глебов приехал вместе с Васильчиковым на беговых дрожках Мартынова. «Я и Лермонтов ехали верхом на назначенное место. Васильчиков и Глебов на беговых дрожках», — писал Мартынов. Обои он сумел передать черновик своих показаний. Этот пункт вызвал особые возражения секундантов. «Прочие ответы твои совершенно согласуются с нашими, исключая того, что Васильчиков поехал верхом на своей лошади, а не на дрожках беговых со мною; ты так и скажи» (писал записку Глебов). Согласно указанию секундантов, Мартынов изменил ответ. В окончательной редакции он звучит так: «Я, Лермонтов и Васильчиков ехали верхом на назначенное место; [Васильчиков] (зачеркнуто) Глебов на беговых дрожках». Еще в одном черновике Мартынов указал, что дрожки принадлежали ему. «Я выехал немного ранее из своей квартиры верхом, — свои беговые дрожки дал Глебову. Он, Васильчиков и Лермонтов догнали меня уже на дороге, — Лермонтов был также верхом». Нет, это показание не удовлетворяло секундантов: Васильчиков тоже ехал верхом, втолковывают они Мартынову⁸³.

Из этих поправок отчетливо выясняется, что Васильчиков с Глебовым поехали на место встречи в беговых дрожках Мартынова, очевидно, они и были его секундантами.

Напомню, что эта уверенность долго сохранялась в Пятигорске. Н. А. Кузминский передавал, как поразило друзей Лермонтова, в частности Р. Дорохова, это решение Васильчикова⁸⁴. Теперь, когда мы узнали, какое горячее участие принимал Дорохов в попытках отклонить дуэль и как настроенно и враждебно упоминал

Васильчиков много лет спустя о знаменитом бретере, мы можем придать веру и позднему рассказу Кузминского.

Поскольку «тайна» участия Трубецкого и Столыпина была в 70-х годах уже открыта, Васильчикову, казалось бы, нечего было запутывать картину. Однако на вторичный прямой вопрос Висковатова, кто же был секундантом Лермонтова, Васильчиков ответил весьма странно: «Собственно не было определено, кто чей секундант. Прежде всего Мартынов просил Глебова, с коим жил, быть его секундантом, а потом как-то случилось, что Глебов был как бы со стороны Лермонтова»⁸⁵. Как же это могло случиться? И что значит «как бы со стороны»?

Вспомним обстановку.

«Из тихой и прекрасной погоды вдруг сделалась величайшая буря, — писал Полеводин, — весь город и окрестности были покрыты пылью, так что ничего нельзя было видеть». «Буря утихла, — продолжает он, — и чрез пять минут пошел проливной дождь. Секунданты говорили, что как скоро утихла буря, то тут же началась дуэль, — и лишь только Лермонтов испустил последний вздох, — пошел проливной дождь»⁸⁶. Мартынов, напротив, рассказывал Бетлингу: «На нашу общую беду шел резкий дождь и прямо бил в лицо секундантам»⁸⁷. Офицер Федоров писал, что «все обвиняют секундантов, которые, если не могли отклонить дуэли, могли бы отложить, когда пройдет гроза»⁸⁸. Васильчиков же уверял, в своей напечатанной статье, что стрелялись до грозы: «Черная туча, медленно поднимавшаяся на горизонте, разразилась страшной грозой, и перекаты грома пели вечную память новопреставленному рабу Михаилу». Эта эффектная сцена происходила, по словам Васильчикова, после того, как он уже вернулся из Пятигорска, в тщетных поисках врачей. В рукописи же его статьи было сказано об этом моменте иначе: «Наступила ночь, ливень прекратился». Бартенев поправил: «Ливень не прекращался»⁸⁹. Но Васильчиков не ошибся, потому что в акте осмотра места дуэли, составленном на следующий день, отмечено, что на месте падения тела Лермонтова «земля была пропитана кровью»⁹⁰. Следовательно, ливень, который вспоминают все пятигорцы, уже прекратился — в противном случае почва была бы размыта. Очевидно, как и вспоминал Мартынов, стрелялись под самым ливнем.

Как же могли это допустить четыре секунданта? «Пушкин Лев Сергеевич, родной брат бессмертного нашего поэта, весьма убит смертью Лермонтова, он был лучший его приятель... — писал Полеводин. — Пушкин уверяет, что эта дуэль никогда бы состояться не могла, если б секунданты были не мальчики, она сделана против всех правил и чести...» Но какие же «мальчики» двадцатилетний Трубецкой и двадцатипятилетний Столыпин? Вероятно, Л. Пушкин имел в виду только двадцатитрехлетнего Васильчикова и корнета Глебова, родившегося в 1819 году.

Создается впечатление, что на самом месте поединка, кроме Глебова и Васильчикова, из секундантов никого не оказалось и участники дуэли тут же перегруппировались. Оттого и получилось, что Глебов был секундантом и Мартынова и Лермонтова, так же, как и Васильчиков. Каким образом это могло случиться? Вероятно, Столыпин, Трубецкой и Дорохов, на которого настойчиво указывала Э. А. Шан-Гирей, на какие-нибудь минуты не поспели к месту встречи. Принимая во внимание внезапно поднявшуюся бурю, это вполне объяснимо. Может быть, эту заминку имел в виду Дружинин, когда, говоря о смерти Лермонтова, упомянул о «стечении самых неблагоприятных случайностей». Секунданты поэта не могли предполагать, что противники начнут стреляться под проливным дождем, не дождавшись законных свидетелей, но обстоятельства сложились иначе. Мартынов торопил Лермонтова. Лермонтов должен был принять дуэль при двух секундантах. Он не мог отказать в доверии Глебову.

Дружеские отношения Лермонтова с Глебовым несомненны, хотя, как уже говорилось, сведения о том, что по дороге к месту поединка Лермонтов рассказывал ему сюжет задуманной исторической эпопеи, вызывают сомнения.

Личность этого выдающегося офицера вырисовывается из его последующей, тоже короткой жизни. В 1847 году он был убит во время перестрелки при ауле Салты. «Этот честный храбрец и погиб славно, как подобает герою, — писал о Глебове в своих воспоминаниях генерал-майор В. А. Полторацкий. — Сидя верхом перед батальоном молодцов-ширванцев, Глебов под градом пуль блестящим хладнокровием подавал изумительный пример отваги, пока внезапно не рухнул с коня на руки до безумия его полюбивших солдат. Со смертью Глебова Кав-

каз лишился одного из храбрейших своих детищ»⁹¹. Несмотря на то что он в течение пяти лет состоял адъютантом — вначале нового командира Отдельного кавказского корпуса Нейдгардта, а затем и главнокомандующего князя Воронцова, — Глебов, как видим, находился в этом роковом для него деле в цепи застрельщиков. Глебов пользовался полным доверием высшего командования, но не принадлежал к числу «штабных» и карьеристов. В 1843 году с ним произошло происшествие, в котором он показал большое мужество и вместе с тем осмотрительность. Он был захвачен неприятелем среди бела дня недалеко от Ставрополя с важными документами, с которыми был командирован в Петербург к военному министру. Лишь через полтора месяца его выкрали подкупленные Нейдгардтом люди. Эта история окружила имя Глебова романтическим ореолом. В 1844 году в Петербурге он был встречен как герой. Но как ни блистал он в гостиных и каким уважением ни пользовался на Кавказе, он никогда никого не посвящал в тягостные подробности своего плена. «Ты знаешь, что покойник не любил рассказывать мне происшествие, — писал в 1847 году Сергей Илларионович Васильчиков брату Александру, — стало быть, оно решительно осталось во мраке неизвестности»⁹².

Глебов умел молчать.

Задумываясь над поведением секундантов в смертельной дуэли Лермонтова, нужно остановиться на личности Монго-Столыпина. Этот персонаж, по отзывам современников бывший воплощением благородства, подвергся в советском лермонтоведении последних лет незаслуженным нареканиям. К сожалению, толчком для «кампании» послужила моя же публикация отрывков из воспоминаний М. Б. Лобанова-Ростовского, который, как мы помним, чрезвычайно пренебрежительно отозвался о А. А. Монго-Столыпине*. Но наши исследователи не учитывают, что у Лобанова были свои причины плохо относиться к Столыпину. Они оба питали глубокое чувство к одной и той же женщине. Однако их личное соперничество не должно заслонять перед нами историю взаимоотношений Лермонтова и Монго. Что же ставят в вину Столыпину?

Снижают значение его перевода на французский язык «Героя нашего времени». Основываются на его парижском письме к сестре, посвященном денежным делам,

*См. выше с. 164, 166.

где он просит у сестры взаймы до получения гонорара за публикацию перевода романа Лермонтова. Смущает легкий тон этого письма⁹³. Но С. И. Недумов забыл, что подобный стиль — знамение времени. Вспомним, как А. П. Керн указывала даже на Пушкина: «Вот еще выражение века: непременно, во что бы то ни стало казаться хуже, чем он был... В этом по пятам за ним следовал и Лев Сергеевич»⁹⁴. То же наблюдение встречаем в романе «Проделки на Кавказе», вышедшем в Петербурге в 1844 году. Автор пишет о «майоре Льве», то есть о Льве Пушкине: «умный, честный, безукоризненный офицер, у которого страсть — казаться хуже, чем он есть, пренебрегая общим мнением: он основывается на том, что кто умеет ценить людей, тот его поймет»⁹⁵. Хорошо определил ту же черту Лермонтова А. И. Васильчиков, вспоминая манеру беседы поэта с декабристом М. А. Назимовым: «он напускал на себя *la fanfaronade du vice* (бахвальство порока — *фр.*) и тем сердил Назимова»⁹⁶. Подобный тон не позволяет выражать свои чувства приподнятыми выражениями. Да и кому должен был Монго объяснять, как высоко он ценит прозу Лермонтова? Он доказал свое понимание его романа превосходным переводом, признанным специалистами того времени лучшим во Франции, помещением его в прогрессивном органе печати и свидетельством все для той же печати о неясных причинах смертельной дуэли Лермонтова. Чего же больше?

Все остальные претензии к Столыпину почти смешотворны.

Почему, дескать, в тифлисских письмах к сестре 1840 года он упоминает всех товарищей, кроме Лермонтова? Весьма возможно, что он умышленно не упоминал его фамилии, не считая нужным доверять почте местопребывание, обстоятельства и самочувствие опального поэта. Наконец, нам не известно, как относились к Лермонтову сестры Столыпина.

Невозможно принять также суждение об отношении Монго к дуэли Лермонтова. Почему-то С. И. Недумову видится, что Столыпин считал Лермонтова виновником и дуэли, и собственной смерти. У нас нет таких материалов, но Недумов делает свой вывод на основании ответа Столыпина Мартынову на его вопрос о том, стоит ли просить о замене гражданского суда военным и освобождения с гауптвахты? Тот факт, что Столыпин дал исчерпывающие ответы Мартынову, приводит в негодо-

вание почитателей Лермонтова. Но Столыпин был внуком Мордвинова — «русского Катона»; преступник имеет право на защиту и добрые советы, таков закон нравственной и гражданской справедливости. А записку свою Столыпин закончил твердым, не вызывающим разпоречивых толкований словом: «Прощай».

У С. И. Недумова был еще один повод подозревать Столыпина в охлаждении к Лермонтову. Это — замечание Павла Вяземского о какой-то размолвке Лермонтова со Столыпинами в последний его приезд в Петербург. Напечатано оно уже в 80-х годах, когда Вяземский выступил со своей мистификацией «Лермонтов и г-жа Омер де Гелль». Но ведь С. И. Недумов сам публикует письмо Столыпина-Монго к П. П. Вяземскому, написанное в связи с браком его овдовевшей сестры с Вяземским. В этом письме ясно вырисовывается, что плохие отношения со Столыпинами были у самого Вяземского. «В письме от 20 ноября 1848 года ко второму мужу своей сестры Марьи Аркадьевны, князю П. П. Вяземскому, — читаем в книге С. И. Недумова, — А. А. Столыпин, высказывая свое восхищение сделаться его родственником, писал: «Я не был бы такого мнения десять лет тому назад, когда мы оба были еще очень молоды и очень безрассудны».

Очевидно, какая-то крупная ссора была между ними при жизни Лермонтова. Это лишает всякой объективности замечание Павла Вяземского о размолвке между Столыпинами и Лермонтовым.

И, наконец, последнее обвинение. Столыпин, мол, не оставил никаких воспоминаний о поэте. Позволю себе ответить за него. Это не является обязанностью каждого родственника великого человека. Вероятно, не было стимула писать мемуары, — кому? куда? в стол? Это не все умеют. Кроме того, личные обстоятельства Монго с началом войны до конца его короткой жизни не способствовали погружению в беспристрастные воспоминания. Столыпин воевал, участвовал в обороне Севастополя, пережил, как и все, потрясающие события окончания войны и конца царствования Николая I, личное горе. А затем он заболел чахоткой, от которой и умер в 1858 году. Какие уж тут мемуары? Впрочем, нам не известно, может быть, у Столыпина и были какие-нибудь записи, но они не дошли до нас. Ведь до сих пор даже не приложено усилий разыскать бумаги сенатора А. И. Халанского, бывшего, по свидетельству П. А. Вяземского, при по-

следних неделях жизни и смерти Столыпина во Флоренции⁹⁷.

Следует от догадок и соображений переходить к подлинным фактам. В последнюю поездку на Кавказ Лермонтов был неразлучен со Столыпиным. Выехав из Москвы в разные дни, они очень скоро съехались в пути. Вместе обедали у Меринского в Туле. Вместе остановились в Воронеже в гостинице, вместе прибыли в Ставрополь, оба получили назначение на левый фланг, но свернули в Пятигорск, где поселились под одной крышей на общем хозяйстве. Лермонтов выбрал его в свои секунданты на дуэли с Мартыновым, имея уже этот опыт в дуэли с Барантом. Вспомним, что Столыпин тогда сам явился в суд с требованием, чтобы его привлели к уголовной ответственности за участие в этом поединке. За это был послан на Кавказ для участия в военных экспедициях. В Пятигорске он похоронил Лермонтова: хлопотал об отпевании поэта, заказал Шведе портрет мертвого Лермонтова.

Не нравятся Т. А. Ивановой* и С. И. Недумову эпиголярный стиль, манеры и внешность Монго-Столыпина? А вот Лев Толстой, которому вначале знакомства Монго был неприятен, потом переменял с тем свое мнение и назвал его «славным и интересным малым»⁹⁸. Все это лишает нас права окружать имя Монго-Столыпина необоснованными подозрениями. Никому не возбраняется анализировать взаимоотношения Лермонтова со Столыпиным или глубже проникать в нравственный мир обоих, но для этого надо ввести в обращение новый обширный материал, каковым покойные исследователи — Т. А. Иванова и С. И. Недумов — не располагали.

Другое дело Васильчиков**. Многочисленные отзывы о нем современников показывают его человеком уклончивым и двуличным. Об этом свидетельствует и его двусмысленная статья 1872 года о гибели Лермонтова с ее возмутительным заключением о неизбежности «этого печального исхода».

Все, что мы знаем о поведении Лермонтова в дуэли с Мартыновым, находится в резком противоречии с этими словами Васильчикова.

* См. также «Лермонтов на Кавказе» (М., 1955).

** Подробнее см. главу «Тайный враг».

«Когда явились на место, где надобно было драться, Лермонтов, взяв пистолет в руки, повторил торжественно Мартынову, что ему не приходило никогда в голову его обидеть, даже огорчить, что все это была одна шутка, а что ежели Мартынова это обижает, он готов просить у него прощение не токмо тут, но везде, где он только захочет!.. Стреляй! Стреляй! был ответ исступленного Мартынова. Надлежало начинать Лермонтову, он выстрелил на воздух, желая все кончить глупую эту ссору дружелюбно, не так великодушно думал Мартынов, он был довольно бесчеловечен и злобен, чтобы подойти к самому противнику своему, и выстрелил ему à bout portant, прямо в сердце. Удар был так силен и верен, что смерть была столь же скоропостижна, как выстрел. Несчастный Лермонтов тотчас испустил дух. Удивительно, что секунданты допустили Мартынова совершить его зверский поступок. Он поступил противу всех правил чести и благородства, и справедливости. Ежели он хотел, чтобы дуэль совершалась, ему следовало сказать Лермонтову: извольте зарядить опять ваш пистолет. Я вам советую хорошенько в меня целиться, ибо я буду стараться вас убить. Так поступил бы благородный храбрый офицер, Мартынов поступил как убийца»⁹⁹.

Так описывал сцену поединка московский почт-директор А. Я. Булгаков, ссылаясь на письмо В. С. Голицына, полученное в Москве 26 июля. Следовательно, Голицын описывал катастрофу по самым свежим следам, когда она не успела еще обрасти вымышленными подробностями. 1 августа Булгаков написал два письма — П. А. Вяземскому в Петербург и А. И. Тургеневу во Францию, — где повторял тот же рассказ. Н. С. Мартынова он называл «ожесточенным и кровожадным мальчиком», а его отца «не по мудрости, а токмо по имени Соломоном»¹⁰⁰. Характеризуя убийцу Лермонтова в дневнике, Булгаков назвал его «сыном покойного Соломона Михайловича Мартынова, известного только потому, что он разбогател от винных откупов».

В течение августа в Москву приходили и другие известия о подробностях дуэли, но в основе рассказов москвичей лежала версия В. С. Голицына. 22 августа студент А. А. Елагин писал в уже упоминавшемся письме отцу: «Лермонтов выстрелил в воздух, а Мартынов подошел и убил его. Все говорят, что это убийство, а не

дуэль, но я думаю, что за сестру Мартынову нельзя было поступить иначе. Конечно, Лермонтов выстрелил в воздух, но этим он не мог отвратить удара и обезоружить обиженного. В одном можно обвинить Мартынова, зачем он не заставил Лермонтова стрелять. Впрочем, обстоятельства дуэли рассказывают различным образом, и всегда обвиняют Мартынова как убийцу».

Ту же московскую версию о выстреле Лермонтова на воздух повторяет М. Н. Катков: «Лермонтов, чувствуя себя не совсем правым, просил прощения и выстрелил в воздух»¹⁰¹.

И не только в Москве была распространена эта версия. Некто Любомирский, описывая дуэль в письме к родственникам, замечал: «за верность подробностей я не ручаюсь, но и теперь еще у нас рассказывают так, как описал я, может быть, впоследствии откроется что-либо достоверное». Что же слышал в Ставрополе Любомирский?

«Мартынов вызвал его на дуэль. Положено стреляться в шести шагах. Лермонтов отговаривал его от дуэли и, прибыв на место, когда должно было ему стрелять первому, снова говорил, что он не предполагал, чтобы эта шутка так оскорбила Мартынова, да и не имел намерения, и потому не хочет стрелять в него. Отвел руку и выстрелил мимо. Но Мартынов выстрелил метко, и Лермонтова не стало»¹⁰².

Когда П. К. Мартыанов приехал в 1870 году в Пятигорск, он еще застал подобные же рассказы о смерти Лермонтова. Они расходились в подробностях: все подтверждали, что Лермонтов не хотел стрелять, но многие уверяли, что поэт не успел дать своего выстрела. Эти слухи нам надлежит проверить.

П. Т. Полеводин, петербуржец, находящийся на лечении в Пятигорске, писал 21 июля, то есть через шесть дней после катастрофы:

«Приехав на место, назначенное для дуэли (в двух верстах от города на подошве горы Машука, близ кладбища), Лермонтов сказал, что он удовлетворяет желание Мартынова, но стрелять в него ни в каком случае не будет. Секунданты отмерили для барьера пять шагов, потом от барьера по пяти шагов в сторону, развели их по крайний след, вручили им пистолеты и дали сигнал сходитьсь. Лермонтов весьма спокойно подошел первый к барьеру, скрестив вниз руки, опустил пистолет и взгля-

дом вызвал Мартынова на выстрел. Мартынов, в душе подлец и трус, зная, что Лермонтов всегда держит свое слово, и радуясь, что не стреляет, прицелился в Лермонтова. В это время Лермонтов бросил на Мартынова такой взгляд презрения, что даже секунданты не могли его выдержать и *потушили очи долу* (все это сказание секундантов). У Мартынова опустился пистолет. Потом он, собравшись с духом и будучи подстрекаем презрительным взглядом Лермонтова, прицелился — выстрел... Поэта не стало!»¹⁰³

Этот рассказ показывает, что секундантам необходимо было оправдаться: как они могли допустить такое вопиющее нарушение «всех правил и чести»?

Версия о презрительном взгляде Лермонтова, смутившем даже секундантов, должна была принадлежать Васильчикову. Сохранился рассказ о том, как возмутило его чувство надменного превосходства, с которым, как ему казалось, Лермонтов отказывался целить в Мартынова.

«Когда Лермонтову, хорошему стрелку, был сделан со стороны секунданта намек, что он, конечно, не намерен убивать своего противника, то он и здесь отнесся к нему с высокомерным презрением со словами: «стану я стрелять в такого дурака», не думая, что были сочтены его собственные минуты. Так рассказывал князь Васильчиков об этой несчастной катастрофе, мы записываем его слова, как рассказ свидетеля смерти нашего поэта», — писал в 1881 году В. Стоюнин в некрологе А. И. Васильчикова¹⁰⁴.

Автор записи не смог скрыть злорадства Васильчикова, изобличающего никогда не затухающую обиду этого тайного врага Лермонтова. В «Русском архиве» Васильчиков не только ничего не сказал о презрительном взгляде Лермонтова, но, как нарочно, живописно изобразил совсем другое выражение лица поэта: «... в последний раз я взглянул на него и никогда не забуду того спокойного, почти веселого выражения, которое играло на лице поэта перед дулом пистолета, уже направленного на него».

Но уже в беседах с Висковатовым Васильчиков изменил свои воспоминания: «Вероятно, вид торопливо шедшего и целившего в него Мартынова, — передает Висковатов слова Васильчикова, — вызвал в поэте новое ощущение. Лицо приняло презрительное выражение»¹⁰⁵.

Менялись также рассказы Васильчикова о позе Лермонтова в последние минуты. В «Русском архиве» он писал:

«Лермонтов остался неподвижен и, взведя курок, поднял пистолет дулом вверх, заслоняясь рукой и локтем по всем правилам опытного дуэлиста».

Однако в разговоре с Висковатовым Васильчиков прибавил важную деталь:

«Он, все не трогаясь с места, вытянул руку кверху, по-прежнему кверху же направляя дуло пистолета».

От вытянутой кверху руки до выстрела на воздух — один шаг. Васильчиков как будто намекал на это Висковатову. «Когда я его спросил, — пишет биограф поэта, — отчего же он не печатал о вытянутой руке, свидетельствующее, что Лермонтов показывал явное нежелание стрелять, князь утверждал, что он не хотел подчеркивать этого обстоятельства, но поведение Мартынова снимает с него необходимость шадить его».

Вопрос о выстреле Лермонтова оставался самым важным обвинением против Мартынова. Вторым обвинением являлось нарушение установленной границы. Судя по первым откликам, Мартынов приблизился к Лермонтову, перейдя барьер. В рассказе, предназначенном для «Русского архива», Васильчиков написал (случайно или умышленно?) весьма неопределенно: «Мартынов быстрыми шагами подошел и выстрелил». В наборной рукописи этой статьи вставлено рукой П. И. Бартенева: «к барьеру»¹⁰⁶.

Опровержением слухов о нарушении Мартыновым границы и о выстреле Лермонтова на воздух занялось правительство еще в 1841 году. 8 августа А. Я. Булгаков писал А. И. Тургеневу: «Орлов сказывал мне, что дуэль Лермонтова с Мартыновым не так происходила, как я тебе ее описал. Лермонтов на воздух не стрелял, а Мартынов стрелял *à la distance requise*»¹⁰⁷.

Речь идет о царском приближенном А. Ф. Орлове, оказавшемся в эти дни в Москве. Он отрицал верность пятигорских сведений, опираясь на официальные донесения, полученные 2 августа в Петербурге. Но, вероятно, до III Отделения дошли также и другие сведения об истинной картине происшествия.

Передавая П. А. Вяземскому в уже цитированном письме 8 же августа «поправки» А. Ф. Орлова, Булгаков

* с должного расстояния (фр.).

не скрывал своего недоверия к официальной версии из-за участия в дуэли князя Васильчикова. Он считал, «что вину свалят на убитого... Намедни был я у Алексея Федоровича Орлова, и он дуэль мне совсем уже иначе рассказывал», — добавлял он.

Таким образом, опровержение слухов о преступном характере дуэли исходило от двора.

Что же показывают материалы официального дела о выстреле Лермонтова?

Обратимся к первым показаниям подсудимых.

В подспудной переписке с Мартыновым секунданты толковывали ему, как он должен отвечать на этот самый опасный пункт допроса: «Придя на барьер, ты напиши, что ждал выстрела Лермонтова»¹⁰⁸.

Оба секунданта дали 17 июля свои показания в соответствии со своим письмом к Мартынову. Но с пера Васильчикова срывается предательская фраза: «Дойдя до барьера, майор Мартынов выстрелил. Поручик Лермонтов упал уже без чувств и не успел дать своего выстрела, из его заряженного пистолета выстрелил я гораздо позже на воздух»¹⁰⁹. Последняя фраза в подлинном деле подчеркнута кем-то карандашом. И справедливо: верно или неверно показание Васильчикова, но оно свидетельствует, что пистолет Лермонтова после поединка оказался разряженным. В связи с толками о выстреле Лермонтова на воздух это обстоятельство должно было привлечь пристальное внимание следственной комиссии. Но, как ни странно, заявление Васильчикова не подверглось проверке. Мартынову, Глебову и Васильчикову не был устроен даже перекрестный допрос: когда, при каких обстоятельствах Васильчиков разрядил пистолет убитого? Кто это видел или слышал? Следственная комиссия этот вопрос обошла совсем.

Вскоре дело было передано в Пятигорский окружной суд. Городские толки не умолкали. В гражданском суде отнеслись к делу внимательнее. «Не заметили ли вы у Лермонтова пистолета осечки, или он выжидал вами произведенного выстрела, и не было ли употреблено с вашей стороны, или секундантов, намерения к лишению жизни Лермонтова и противных общей вашей цели мер?» — гласит пункт опросного листа.

«Хотя и было положено между нами считать осечку за выстрел, но у его пистолета осечки не было»¹¹⁰, — уклончиво отвечает Мартынов.

«Правда, конечно, в этом ответе, ибо он дан без всяких влияний и уговоров, — справедливо замечал еще в дореволюционное время лермонтовед Д. Павлов. — Куда стрелял поэт?.. Значит, он сдержал свое слово и «разрядил пистолет на воздух»¹¹¹. При этом надо учесть, что Павлову не были знакомы письма современников, опубликованные только в советское время. Но и он усмотрел в ответе Мартынова указание на выстрел Лермонтова в сторону.

Не были тогда доступны исследователям и все материалы военно-судного дела. Поэтому осталась без должного внимания одна важная подробность.

Как известно, гражданский суд не успел закончить рассмотрение дела о дуэли: его перенесли в Комиссию военного суда, учрежденную в Пятигорске по «высочайшему повелению». Под непрерывным нажимом военного министра комиссия закончила всю процедуру в течение трех дней. Но когда оставалось только послать определение в Тифлис на утверждение командира Отдельного кавказского корпуса Головина, из дела были изъяты вещественные доказательства: пистолеты, из которых стрелялись противники, были заменены другими.

29 сентября в комиссию поступило предписание пятигорского коменданта и окружного начальника Ильяшенкова вернуть пистолеты, находящиеся в суде, так как они взяты были частной управой... по ошибке. Вместо них комендант прислал другую пару, принадлежавшую, по его словам, самому Лермонтову, из которой якобы он стрелялся. Получив такое, неслыханное даже в дореформенных судах, распоряжение, судьи нимало не затруднились: они беспрекословно вернули пистолеты Ильяшенкову и 30 сентября решили «вновь препровожденные два пистолета представить обще с сим делом на благорассмотрение высшего начальства и согласно учиненному определению в 29-й день сего сентября дело сие закончить».

Подмену пистолетов Ильяшенков мотивировал будничными, житейскими причинами. Пистолеты, мол, в действительности принадлежали «ротмистру Столыпину». Но никакого заявления Столыпина о возвращении ему оружия в деле нет. Возвращенные комиссией пистолеты 5 октября взял под расписку деловитый Глебов — «для доставления владельцу»¹¹².

Два этих беспримерных факта — разряженный пистолет Лермонтова и официальная замена пистолетов

перед самым окончанием дела — могли бы показаться случайностью. Допустим, что Васильчиков действительно в растерянности разрядил пистолет Лермонтова после его смерти, а нерасторопные чины действительно по ошибке захватили в виде вещественного доказательства не те пистолеты. Но, зная опытность Васильчикова и благоразумие Глебова, трудно предположить, чтобы перед самым следствием они собственными руками приготовили такую улику против себя. Оба они прекрасно знали, что первым делом следствия при всех дуэлях являлось освидетельствование оружия, из которого был убит один из противников. Но на этот раз следственная комиссия пренебрегла этим основным правилом и посмотрела сквозь пальцы на странное заявление Васильчикова. Больше этот вопрос ни в одной инстанции не подымался.

Некоторые читатели, знакомясь с изложенными обстоятельствами в моих прежних работах, приходили к неверному выводу, будто бы пистолет Лермонтова вообще не был заряжен. У нас нет оснований подозревать секундантов в таком преступлении. Васильчиков, очевидно, был вынужден дать свое объяснение только для того, чтобы скрыть, что Мартынов целился в противника, который сам себя обезоружил выстрелом в сторону.

Кем-то искусственно взвинченный в предыдущие дни, Мартынов, видимо, усмотрел в нежелании Лермонтова драться еще одну обиду и, не помня себя, покончил дело преступным образом. Вероятно, это случилось так стремительно, что никто не мог дать себе ясного отчета в том, как это произошло.

Тут надо вспомнить педантичное показание Столыпина-Монго о выстреле Лермонтова на дуэли с Барантом. «Куда направлен был пистолет Лермонтова при выстреле: в противника ли его, или в сторону, он определить не может, но утверждает, что Лермонтов стрелял, не целясь», — так изложено содержание ответа Столыпина в определении генерал-аудиториата. Подобный же отзыв о смертельной дуэли принадлежит Е. П. Ростопчиной в ее письме к Дюма 1858 года. «Возможно ли, — сказал он (Лермонтов) секундантам, когда они передали ему заряженный пистолет, — чтобы я в него целил?

Целил ли он? Или не целил? Но известно только то, что раздалось два выстрела и что пуля противника смертельно поразила Лермонтова»¹¹³. Почему Ростопчина так уверенно говорила о двух выстрелах? Откуда у нее

могли быть такие сведения? Вернее всего — от Столыпина, с которым она продолжала встречаться в Петербурге после смерти Лермонтова.

Правила круговой поруки принудили всех секундантов к пожизненному молчанию о происшедшей трагедии. Но отношения их с Мартыновым с самого первого дня следствия были обостренными.

Вспомним подспудную переписку, которая, по словам Мартынова, «способна сама пролить немалый свет на темные стороны этой дуэли»¹¹⁴. Значит, Мартынов признавал, что в дуэли были «темные стороны»!

Из этой переписки ясно, что Мартынов опасался насмешек собственных секундантов. В ответ на их предложение взять назад свой вызов он, как видно из черновика его показаний, ответил: «Я сказал им, что не могу этого сделать, что мне на другой же день пришлось бы с ним [через платок стреляться] пойти на ножи!» Секундантам пришлось согласиться на свирепые условия дуэли, которые, по отзывам знатоков, дозволялись только в случае нанесения жёсточайшего оскорбления. «Я должен же сказать, — писал М. П. Глебов Мартынову, — что уговаривал тебя на условия болес легкие, если будет запрос. Теперь покамест не упоминай об условии 3 выстрелов; если же позже будет о том именно запрос, тогда делать нечего: надо будет сказать всю правду».

Эту тайную переписку сын Мартынова, выступивший в 1898 году, тоже считал «узлом всего дела»¹¹⁵.

Обвинения секундантов раздавались в семействе Мартынова постоянно. «К несчастью, посредниками были слишком молодые, неопытные люди, которые не умели отклонить дуэли», — говорила Я. К. Гроту Е. С. Ржевская. Тот же упрек звучит в пересказе Бетлинга: «Он был в дружеских отношениях с Михаилом Юрьевичем, но в последнее время вышло нечто, вызвавшее крупное объяснение. Приятели таки раздули ссору». Тенденция к обвинению секундантов наметилась у Мартынова в первые же дни после несчастья. «Признаться тебе, твое письмо несколько было нам неприятно, — пишет Глебов Мартынову 17 июля. — Я и Васильчиков не только по обязанности защищаем тебя везде и всем, но и потому, что не видим ничего дурного с твоей стороны в деле Лермонтова...»¹¹⁶ По-видимому, Мартынов упрекал в чем-то своих секундантов. На прямой вопрос гражданского суда, «не было ли употреблено с вашей стороны или секундантов намерения к лишению жизни Лермон-

това противных общей вашей цели мер», он ответил: «Остальное же все было предоставлено нами секундантам и как их прямая обязанность состояла в наблюдении за ходом дела [и потому и прошу господ следователей отнестись к ним для узнания], то они и могут объяснить, не было ли нами отступлено от принятых правил». Как видим, Мартынов перекладывал часть ответственности на секундантов. Относилось ли это только к самому ходу поединка? Нисколько. Так, когда М. И. Семевский, редактор «Русской старины», обратился к убийце Лермонтова в 1869 году с предложением высказаться в печати о причинах дуэли, Мартынов и тут рекомендовал Семевскому переадресовать свою просьбу А. И. Васильчикову.

После того как Семевский напечатал эту переписку, Васильчиков вынужден был откликнуться на предложение Мартынова статьей 1872 года.

7

Многие биографы Лермонтова не доверяют сведениям о выстреле поэта в воздух и о принесенных им Мартынову извинениях. Эти подробности, говорят они, психологически не вяжутся с обликом поэта. Но не кто иной, как Лермонтов, в предыдущей дуэли с Барантом выстрелил в сторону. А об извинениях поэта перед молодыми людьми, которые обижались на его насмешки, рассказывают самые разные люди. Таков эпизод с молодым князем, свидетелем которого в Москве был Фр. Боденштедт. Лермонтов изводил юношу, но, увидев, что тот обиделся, смягчил свой выпад дружеским поцелуем. Подобным же образом Лермонтов вел себя с Лисаевичем в Пятигорске и с Есаковым в Ставрополе. По-видимому, повзрослевший поэт, зная свои слабости, старался себя умерять и сглаживать неприятное впечатление.

Все очевидцы согласно показывают, что с Мартыновым у Лермонтова, несмотря на карикатуры и эпиграммы, были приятельские отношения. Для всех обида Мартынова была полной неожиданностью. Ее нельзя объяснить ничем другим, как нарочитым взвинчиванием Мартынова кем-то со стороны. При его ничтожном и трусливом характере, этого безмерно самолюбивого и мнительного человека нетрудно было довести до состояния аффекта.

Не более убедительна и ссылка на железные законы

дворянской чести, заставившие Мартынова вызвать и стреляться с Лермонтовым. Не говоря уже о том, что Мартынов сам заявил, что насмешки его противника «не касались до чести», самое суждение о дуэльных нравах лермонтовского времени оказывается неверным. Оно основано на глубоко антиисторичном сближении дворянского быта 30-х годов с нравами, описанными А. Куприным в начале нашего столетия.

Правила полковой чести, по которым офицер царской армии не только имел право, но обязан был кончать дело дуэлью в случае обиды, было подтверждено правительственным законом лишь в 1896 году. До тех пор дуэли, запрещенные еще при Петре I, подлежали уголовной ответственности. Естественно, что при Николае I, подчинившем все стороны общественной жизни строгой регламентации, преследования за поединки тоже приняли жестокий характер. Уже одно это придавало офицерским и дворянским дуэлям 30-х и 40-х годов XIX века оттенок конспиративного акта, открывавшего простор для всяческих злоупотреблений. После расцвета дуэльных столкновений среди бесшабашной и бурной офицерской молодежи 10-х и начала 20-х годов наступил спад и в этой области. Дуэльные истории лишились своего героического ореола и превратились скорее в способы замаскированных убийств, чем в классические образцы рыцарских турниров.

Время Лермонтова, вопрекиходячему мнению, было самым «недуэльным». Даже Э. А. Шан-Гирей обмолвилась: «В Пятигорске, где дуэли так редки...» Культура дуэльных встреч не было и в Петербурге. И Лермонтов был одним из самых ярких выразителей новых, трезвых взглядов на выродившийся варварский обычай.

Поединок Печорина с Грушницким изображен пародийно. Драгунский капитан придумал «ловкую штуку»: «Я был секундантом на пяти дуэлях, — обращается он к Грушницкому, — и уж знаю, как это устроить. Я все придумал. Пожалуйста, только мне не мешай. Пострадать не худо. А зачем подвергать себя опасности, если можно избавиться?..» Доктор Вернер, узнав о плане капитана зарядить пулею только один пистолет Грушницкого, иронически заметил: «Это немножко похоже на убийство, но в военное время, и особенно в азиатской войне, хитрости позволяют...»

В этом изображении реальной оборотной стороны дуэлей Лермонтов не был одинок. В «Большом свете»,

вышедшем из печати даже раньше «Княжны Мери», В. А. Соллогуб вкладывает в уста Сафьева сентенции, сходные с откровениями лермонтовского драгунского капитана. При этом речь идет уже о дуэли не в далеком Пятигорске, а в самом Петербурге. Сафьев цинично обращается к Леонину: «Слушайся только на месте моих советов. Я тебя так поставлю, что тебя пуля не тронет. По-моему, дуэль ужасная глупость; только если уж драться, так все-таки лучше убить своего противника, чем быть убитым». Развязка дуэли тоже развенчивает рыцарскую сторону этого обычая. Дуэль между Леониным и Щетининым не состоялась по очень простой причине: узнав про вызов Леонина, графиня Воротынская сообщила об этом бригадному генералу. Леонин был выслан на Кавказ. Знаменательно, что в следующих изданиях «Большого света» тирада Сафьева была изменена Соллогубом. Автор сохранил черты скептицизма у своего героя, но убрал намек на возможные злоупотребления при дуэльных встречах*.

Описание дуэлей у Лермонтова и Соллогуба в 1840 году было подсказано спецификой настроений молодежи военно-дворянской фронды именно в эти переходные годы. Так, в 1841 году Лермонтов «с неподражаемым юмором» рассказывал в Москве, как «Левицкий дурачил Иваненко» на петербургском поединке. По наблюдению Ю. Ф. Самарина, «дуэль напоминала некоторые черты дуэли «Героя нашего времени»¹¹⁷.

Под влиянием новых веяний А. И. Васильчиков тоже поучал товарищей-«бурсаков» в 1839 году, что «дуэли не должны быть так превозносимы, а некоторым образом постыдны».

Ксаверий Браницкий, офицер императорской гвардии, с которого на пирушке сорвали эполеты, ограничился тем, что перевелся на Кавказ. В конце прошлого века и в начале нынешнего подобная ситуация была бы в офицерской среде невероятна.

Сергей Долгорукий, в присутствии которого будущий зять Мартынова Лев Гагарин публично оскорбил в теат-

* «По-моему, — небрежно отвечал Сафьев, — всякая дуэль — ужасная глупость, во-первых, потому, что нет ни одного человека, который бы стрелялся с отменным удовольствием: обыкновенно оба противника ожидают с нетерпением, чтобы один из них первый струсил; а потом, к чему это ведет? Убью я своего противника — не стоит он таких хлопот. Меня убьют — я же в дураках. И к тому же, извольте видеть, я слишком презираю людей, чтоб с ними стреляться» (Сочинения В. А. Соллогуба, т. I. СПб., 1855, с. 137).

ре его даму, графиню А. К. Воронцову-Дашкову, «хотя и слышал все от слова до слова, оставался неподвижен» (Лобанов).

Когда рыцарским защитником Воронцовой явился Лобанов, он не смог драться на дуэли с Львом Гагариным, оказавшимся под защитой III Отделения.

Вмешательство Бенкендорфа в историю Лобанова проливает свет на обе петербургские дуэли — Пушкина с Дантесом и Лермонтова с Барантом.

Кажется, больше шуму, чем история травли Пушкина, не производило ни одно петербургское великосветское происшествие. За перипетиями афишированного ухаживания Дантеса за Натальей Николаевной следили десятки глаз. Обстоятельства его женитьбы обсуждались во всех гостиных, вплоть до покоев Аничкова дворца. Поведение Пушкина, доведенного до иступления, было у всех на глазах. Но царь, как справедливо указывают последние исследователи, предпочитал стоять в стороне, молча наблюдать и терпеливо ожидать роковой развязки.

Эта система поведения повторилась и в Пятигорске. По крайней мере, кадровый кавказский офицер Каченовский передавал, что в армии к поединку Лермонтова с Мартыновым всегда относились с подозрением. «Как могла состояться роковая дуэль?» — задавал Каченовский «недоуменный» вопрос от имени кавказского офицерства и утверждал, что «пятигорский комендант Ильяшенков, плац-адъютант Унтилов и командир Горского казачьего полка Мезенцев»¹¹⁸ знали о вызове Мартынова еще до поединка.

Каченовский говорил об этом как о широко известном факте. То же самое утверждал П. А. Висковатов, не называя, впрочем, имен, а просто указывая на пятигорские «власти».

«В обществе, — пишет, в свою очередь, И. П. Забелла, — смерть Лермонтова отозвалась сильным негодованием на начальство, так сурово и небрежно относившееся к поэту и томившее его из-за пустяков на Кавказе, а на Мартынова сыпались общие проклятия»¹¹⁹.

Говоря о «начальстве», мемуарист, конечно, имел в виду Николая I, самодержавно распорядившегося судьбами своих подданных.

В 70-х годах на страницах русской печати стали появляться обывательские рассказы о «бретерстве» Лер-

монтова, о его невыносимом характере и прочих обстоятельствах, послуживших причиной его неизбежной гибели.

Но реальная действительность лермонтовского времени показывает, что потомки получили уже искаженный образ поэта. Вместе с тем, украшенный историческими иллюзиями военной касты царской армии, образ Мартынова был положен в основу легенды о рядовой офицерской дуэли, случайно погубившей Лермонтова.

Весь приведенный выше материал опровергает эту ложную концепцию.

8

В эти годы с напряженным вниманием относился к личности Лермонтова Достоевский. След этого интереса остался во многих его произведениях, но настоящее художественное исследование психологических причин ссоры поэта с Мартыновым и портрет последнего мы найдем в главе «Поединок» романа «Бесы».

В 1861 году в июльской книге журнала «Время» в статье «Книжность и грамотность» Достоевский писал, останавливаясь на «Герое нашего времени»: «От злобы и как будто на смех Печорин бросается в дикую, странную деятельность, которая приводит его к глупой, смешной, ненужной смерти». Между тем в романе Лермонтова смерть Печорина вообще не описана, о ней сообщено одной-единственной фразой: «Недавно я узнал, что Печорин, возвращаясь из Персии, умер». «Здесь за судьбой Печорина стоит и заменяет ее судьба Лермонтова», — раскрывает смысл этой известной обмолвки Достоевского В. Б. Шкловский¹²⁰.

И верно: за полгода до разбора «Героя нашего времени» во введении к «Ряду статей о русской литературе» Достоевский уделил место поэтическому очерку жизненного и творческого пути Лермонтова. Заканчивалась эта замечательная лирическая проза интерпретацией смерти Лермонтова, перекликающейся с оценкой смерти Печорина: «Наконец, ему наскучило с нами; он нигде и ни с кем не мог ужиться; он проклял нас и осмелял» «насмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом» и улетел от нас.

И над вершинами Кавказа
Изгнанник рая пролетал.

Мы долго следили за ним, но, наконец, он где-то погиб — бесцельно, капризно и даже смешно. Но мы не смеялись».

Событие, полное трагизма, с житейской точки зрения смешно. Почему? Глупая причина — мальчишеская ссора. Странное поведение Лермонтова на дуэли, об этом доходили слухи.

В 1862 году в газете «Век» были напечатаны документы военно-судного дела о дуэли Лермонтова с Барантом. Как мы помним, и там фигурировал выстрел в сторону. Это повлекло за собой продолжение конфликта с Барантом. Следы этой дуэли мы встречаем в «Записках из подполья», вышедших из печати в 1864 году. Герой, в котором исследователи находят отзвуки Печорина, вызвал на дуэль одного из своих антагонистов — Ферфичкина, но вскоре заявляет всей компании своих мучителей:

«— Зверков, я прошу у вас прощения... Ферфичкин, и у вас тоже, у всех, у всех, я обидел всех!

— Ага! дуэль-то не свой брат! — ядовито прошипел Ферфичкин.

Меня больно резануло по сердцу.

— Нет, я не дуэли боюсь, Ферфичкин! Я готов с вами же завтра драться, уже после примирения... Я хочу доказать вам, что я не боюсь дуэли. Вы будете стрелять первый, а я выстрелю на воздух.

— Сам себя тешит, — заметил Симонов.

— Просто сбрендил! — отозвался Трудюлюбов»¹²¹.

В 1867 году было опубликовано военно-судное дело о смертельной дуэли Лермонтова. Так же, как и предыдущее, оно было перепечатано во многих газетах и не могло не воскресить всех суждений о кончине Лермонтова, основанных на воспоминаниях и рассказах современников. Нет сомнения, что шли разговоры о выстреле Лермонтова.

В 1868 году во время работы над «Идиотом» у Достоевского возникала идея повести «Юродивый (Присяжный поверенный)», где была намечена дуэль, в которой герой «не выстрелил и одумался на шаге расстояния. После дуэли примирение. Большой спор, зачем не выстрелил с шагу расстояния».

В первых набросках к «Бесам» 1869 года под названиями «Картузов», «Зависть» и в наброске без названия обязательно фигурирует дуэль и выстрел героя в воздух. В первой заметке: «Пересочинить Картузова. Графа вы-

гнали (скандальная дуэль)». В «Картузове»: «Переговоры о дуэли. Граф соглашается, но Картузов ставит условием, чтобы Граф стрелял первый, а что Картузов стрелять не будет. На это Граф смеется, удивляется и сердится». В следующем варианте под названием «Зависть» — дуэль, где Картузов, вызвавший графа, не стреляет («или лучше не вызывает»). А вот другой персонаж в этих же набросках: «Учитель, первоначально оставивший пощечину без ответа, потом вызывает обидчика на дуэль, выдерживает выстрел, но сам не стреляет»¹²².

Свое полное воплощение этот мотив находит в главе «Поединок». Однако и после «Бесов» мотив дуэли без выстрела не оставляет творческое сознание Достоевского. В «Братьях Карамазовых» он разрабатывается в форме сказа старца Зосимы о своей молодости.

Его внезапное обращение к богу произошло в ночь перед дуэлью, на которую он сам вызвал своего соперника. Приехав на место поединка, он выдержал выстрел противника, но швырнул свой пистолет в лес, не выстрелив. Рассерженный противник восклицает: «...если вы не хотели драться, к чему же беспокоили?» Секундант возмущен: «Как это срамить полк, на барьере стоя, прощения просить?» На объяснение новообращенного о пережитом им духовном перевороте, заставляющем его публично повиниться, секундант кричит: «Да не на барьере же». А в слова Зосимы вложено критическое суждение Достоевского о дуэлях: «...до того безобразно, говорю, мы сами себя в свете устроили, что... только после того, как я выдержал их выстрел в двенадцати шагах, слова мои могут что-нибудь теперь для них значить, а если бы до выстрела, как прибыли сюда, то сказали бы просто: трус, пистолета испугался...»¹²³

Тут скрывалась одна из важнейших причин круговой поруки о молчании всех участников дуэли. К защите собственных интересов прибавлялась защита памяти Лермонтова от нареканий. До нас дошло одно письмо представителя «грибоедовской Москвы», весьма враждебно относившегося к Лермонтову с давних пор. Сенатор Кикин, узнав от Мартыновых о случившемся, писал дочери 2 августа 1841 года: «Он был трус. Хотел и тут отделаться, как с Барантом прежде, сказал, что у него руки не поднимаются, выстрелил вверх, и тогда они с Барантом поцеловались и напились шампанским. Сделал то же и с Мартыновым, но этот, несмотря на то,

убил его»¹²⁴. В злобном выступлении сына Мартынова заключены выпады, сходные с этими перевернутыми деталями: «Дуэль Лермонтова с Барантом сделала как дуэлистов, так и секундантов их посмешищем всего Петербурга»¹²⁵. Но даже от старых сенаторов и других очевидцев исходили и другие оценки поведения Лермонтова. Такие, как записи «офицер поступил даже благородно...».

Общая тема и для Баранта и для Мартынова была обида за то, что противник пощадил их, им казалось это пренебрежением. Все это раскрыто с психологической глубиной Достоевским в его «Поединке».

В каждом новом сюжетном повороте этой главы мы находим отражение дуэли Лермонтова с Мартыновым.

Мотив четырехлетней семейной обиды является центральным. Семейный инцидент Мартыновых с Лермонтовым передавали по-разному. Одни говорили, что письма были ему поручены в Петербурге в последний приезд туда Лермонтова, другие знали, что дело было в 1837 году. Четыре года затаенной обиды — это мотив, органичный для Достоевского. Так же, как и Мартынов, Гаганов «не имел прямого предлога к вызову. В тайных же побуждениях своих, то есть просто в болезненной ненависти к Ставрогину за фамильное оскорбление четыре года назад, он почему-то совестился сознаться». Такова была самая живучая версия о причинах вызова Мартынова, не имеющая, как было показано выше, оснований.

Рассказам об удивившей всех настойчивости и спешности Мартынова соответствует «неукротимое желание Артемия Павловича драться во что бы ни стало», Мартынов и слышать не хотел о примирении с Лермонтовым. В соответствии с этим и Гаганов отказывался от этого: «Все извинения и неслыханные уступки Николая Всеволодовича были тотчас же с первого слова и с необыкновенным азартом отвергнуты». Гаганов «положил про себя, что тот бесстыдный трус; понять не мог, как тот мог снести пощечину от Шатова» — отголосок кривотолков о дуэли с Барантом.

Условия дуэли, предложенные Ставрогиным, были приняты секундантами. «Сделана была только одна прибавка, впрочем очень жестокая, именно: если с первых выстрелов не произойдет ничего решительного, то сходиться в третий. Кириллов нахмурился, поторговался насчет третьего раза, но, не выторговав ничего, согла-

сился с тем, однако ж, что «три раза можно, а четыре никак нельзя».

Фигурируют также у Достоевского щегольской экипаж Гаганова и верховые лошади противной стороны. Это соответствует беговым дрожкам, принадлежащим Мартынову. Согласно его показаниям, в них ехал Глебов, а Лермонтов и Васильчиков — верхом. Мотив этот был обработан Достоевским: «Гаганов с Маврикием Николаевичем прибыли на место в щегольском экипаже парой... Почти в ту же минуту явились Николай Всеволодович с Кирилловым, но не в экипаже, а верхами... Мнительный, быстро и глубоко оскорблявшийся Гаганов почел прибытие верховых за новое себе оскорбление, в том смысле, что враги слишком, стало быть, надеялись на успех, коли не предполагали даже нужды в экипаже на случай отвоза раненого. Он вышел из своего шараба, на весь желтый от злости...»

Не пропустил Достоевский и факт отставки Мартынова еще до поединка, который многие не учитывали, продолжая считать его кавалергардом. Вспомним, как Е. С. Ржевская уверяла Грота, что Мартынов вынужден был выйти в отставку из-за дуэли с Лермонтовым. Это было обыграно Достоевским. Причиной отставки он выставил не дуэль, за которую Мартынов был судим, а «столь долго и мучительно преследовавшую его мысль о сраме фамилии, после обиды, нанесенной отцу его в клубе четыре года тому назад Николаем Ставрогиным».

Предвосхищая образ князя Сокольского из «Подростка», Достоевский пишет о Гаганове: «Он принадлежал к тем странным, но еще уцелевшим на Руси дворянам, которые чрезвычайно дорожат древностью и чистотой своего дворянского рода и слишком серьезно этим интересуются... Еще в детстве его, в той специальной военной школе для более знатных и богатых воспитанников, в которой он имел честь начать и кончить свое образование, укоренились в нем некоторые поэтические воззрения: ему понравились замки, средневековая жизнь, вся оперная часть ее, рыцарство». Это тоже было навеяно рассказами защитников Мартынова, рисующих его как человека твердых правил, рыцарски честного, глубоко уязвленного за свою сестру. Все эта бутафория связывалась, по Достоевскому, с политическим консерватизмом Гаганова: с появлением манифеста 19 февраля об освобождении крестьян он почувствовал себя «как бы

лично обиженным. Это было что-то бессознательное, вроде какого-то чувства, но тем сильнее, чем безотчетнее».

В описании поединка использованы все варианты, представленные рассказами современников о выстреле Лермонтова на последней дуэли. Получается как бы социально-философский диалог:

«Мысль, что нельзя мириться на барьере, есть предрассудок, годный для французов» (Кириллов). «Если противник заранее объявляет, что стрелять будет вверх, то поединок действительно продолжаться не может... по причинам деликатным и... ясным» (Маврикий Николаевич). «Я опять подтверждаю мое предложение представить всевозможные извинения» (Ставрогин). «Такие уступки только усиление обиды! Он не находит возможным от меня обидеться!.. Он позора не находит уйти от меня с барьера!» (Гаганов). «Не хочу более никого убивать» (Ставрогин).

Так же как в дуэли Лермонтова с Барантом, Гаганов делает первый промах, а Ставрогин «поднял пистолет; но как-то очень высоко и выстрелил совсем почти не целясь». «Это опять обида! Он хочет сделать дуэль невозможною!» «Для чего он щадит меня? — бесновался Гаганов, не слушая. — Я презираю его пощаду... Я плюю... Я...» В этих возгласах соединились оба противника Лермонтова — и Барант и Мартынов. Спор о том, куда стрелял Лермонтов, отразился и в «Бесах»: «Про эти выстрелы вверх можно было бы и поспорить: Николай Всеволодович мог прямо утверждать, что он стреляет как следует, если бы сам не сознался в умышленном промахе. Он наводил пистолет не прямо в небо или в дерево, а все-таки как бы метил в противника, хотя, впрочем, брал на аршин поверх его шляпы. В этот второй раз прицел был даже еще ниже, еще правдоподобнее; но уже Гаганова нельзя было разуверить».

Это напоминает показания Столыпина о дуэли с Барантом, да и разноречивые рассказы о направлении пистолета Лермонтова на последней дуэли — вниз, дулом вверх, в сторону. «Ставрогин стоял с пистолетом, опущенным вниз, и неподвижно ожидал его выстрела» (вариант отголоска Полеводина).

Не забыл Достоевский и тот рассказ, в котором утверждали, что Столыпин крикнул: «Стреляйте! Или я вас разведу!» «Слишком долго, слишком долго прицел! — стремительно прокричал Кириллов. — Стреляй-

те! стре-ляй-те!» «Стреляйте, не держите противника! — прокричал в чрезвычайном волнении Маврикий Николаевич».

Финал поединка Ставрогина с Гагановым, конечно, разнится от трагического конца лермонтовской дуэли, но нравственный поединок изображен совершенно точно. Ставрогин «вздрогнул, поглядел на Гаганова, отвернулся и уже безо всякой на этот раз деликатности выстрелил в сторону, в рощу. Дуэль кончилась. Гаганов стоял как придавленный». Васильчиков утверждал, что Мартынов был сражен презрением Лермонтова. «Стану я стрелять в такого дурака!» Эти слова были будто бы сказаны Лермонтовым своему секунданту, когда тот подавал ему пистолет. В «Поединке» мы находим почти буквальное повторение этих слов, обращенное Ставрогиным к своему секунданту:

«— Я не хотел обидеть этого... дурака, а обидел опять, — проговорил он тихо.

— Да, вы обидели опять, — отрубил Кириллов, — и притом он не дурак».

В «Поединке» центральная фигура — Гаганов, а не Ставрогин. Это единственная глава, где ему дана развернутая характеристика. Вот почему трудно согласиться с комментарием к этой главе в академическом собрании сочинений, опирающимся на версию, выдвинутую Л. Г. Гофманом в 1926 году. Согласно этим наблюдениям, Достоевский только «художественно оформил» историю другой знаменитой дуэли между будущим декабристом М. С. Луниным и будущим же шефом жандармов А. Ф. Орловым. Она была описана в воспоминаниях, напечатанных в журнале как раз в ту пору, когда Достоевский работал над своим романом. Бесспорно, писатель много почерпнул из этой публикации для проведения параллели между Луниным, Лермонтовым и Ставрогиным. Некоторые детали дуэли в «Поединке» перекликаются с описанием дуэли Лунина, но психологические мотивировки служат толкованием конфликта Мартынова с Лермонтовым. Неслучайно к этой главе относится одна из важнейших реплик Ставрогина в ответ на восклицание Даши: «Да сохранит вас бог от вашего демона». — «О, какой это демон! Это просто маленький, гаденький и золотушный бесенок из неудавшихся». Тут мы подошли к большой историко-литературной проблеме о Достоевском и Лер-

монтове, которая выходит за рамки темы настоящей книги.

Возвращаясь к истории гибели Лермонтова, хочется подвести итог всему сказанному выше. Растет уверенность, что первоначальные сведения отражали истинную картину катастрофы: выстрел Лермонтова в воздух, аффект Мартынова, и как следствие этого — убийство. Отвергнута версия о распечатанном пакете как о причине дуэли. Но без всякого ответа остался вопрос о трех выстрелах. Что заставило Мартынова выставить такое жестокое условие и почему секунданты его приняли — удовлетворительного объяснения этому мы пока не находим.

Обращает на себя внимание, что все подозрения об участии властей в катастрофе исходили от людей, близко стоявших к высшей и местной администрации. Их непосредственная реакция на известие о смертельной дуэли поэта чрезвычайно показательна. Вспомним: в Петербурге бывший министр духовного просвещения, доверенное лицо Николая I князь А. Н. Голицын напоминает П. А. Вяземскому об изменнической дуэли екатерининского времени. В Москве — полицмейстер рассказывает о вмешательстве Кушинникова в показания подсудимых. В Париже А. И. Тургенев беседует с многолетним секретарем французского посольства о сходной судьбе Лунина и Лермонтова. На Кавказе боевые офицеры, хорошо знавшие свое начальство, подозревали его в попустительстве этой дуэли. Не говорил ли Дорохов Дружинину о том же?

Все эти намеки и прямые обвинения современников сами по себе имеют историческое значение. Пушкин, например, говоря по другому поводу о той же изменнической дуэли при дворе Екатерины II, считал необходимым указать на молву, обвинявшую Потемкина, хотя документальных доказательств этого преступления не имел. Но безусловным доказательством настороженного отношения царя Николая I и III Отделения к убийце Лермонтова мы располагаем. Вспомним приведенную уже выше резолюцию шефа жандармов на прошение о выезде Мартынова в Германию для лечения: «Невозможно. Всюду кроме за границу, даже на Кавказ. Могу пред(авить) г(осударю)». Так ответил А. Ф. Орлов на ходатайство министра внутренних дел Л. Перовского 27 ноября 1844 года. Чего они боялись? Излишней болливости Мартынова? Все эти не до конца проясненные

данные призывают биографов Лермонтова к продолжению поисков. Пусть подчас они сопровождаются необоснованными выступлениями неподготовленных энтузиастов, это не отменяет проблемы. И напрасно многие современные ученые рассматривают все попытки исследователей дознаться до истины неправомерно создаваемой мелодрамой. Темные обстоятельства гибели великого поэта — это не мелодрама, это история.

Двадцать лет глухого молчания после смерти Лермонтова сделали свое дело. Ближайшие потомки ошиблись в оценке личности поэта и положения его в крепостническом обществе.

На протяжении настоящей книги мы видели, что в лейб-гусарском полку и у Карамзиных, в Аничковом дворце и на Кавказе — всюду понимали значение Лермонтова как крупнейшего писателя современности. Но чем чаще указывали Николаю I на выдающийся литературный талант Лермонтова, тем беспощаднее было отношение к нему самодержца. А. Х. Бенкендорф, ревностный исполнитель царской воли, последовательно боролся с преемником Пушкина, с поэтом «молодой России».

Глухие рассказы о каких-то членах царской семьи, проявлявших интерес к личности и творчеству Лермонтова, подтвердились документально письмами и дневниками императрицы. Вмешательство Александры Федоровны в судьбу поэта только усугубило его тяжелое положение. До обращения к архиву бывшего Зимнего дворца эти обстоятельства оставались скрытыми. Приглушенным оставалось также значение социального состава «кружка шестнадцати». Выяснилось, что, по крайней мере, семеро из шестнадцати молодых людей принадлежали к семействам ближайших фаворитов царя. Следовательно, влияние Лермонтова проникло в эту замкнутую среду. Два этих фактора, несомненно, подогревали личную ненависть к Лермонтову, которая зародилась в Зимнем дворце в дни смерти Пушкина и сохранялась там до самой Октябрьской революции.

Со дня гибели Лермонтова осведомленные люди заподозрили, что поединок велся не по правилам, и догадывались о провокационной роли властей в этой катастрофе. Но они не смели высказать свои догадки полным голосом. Трагическая смерть вдохновенного поэта была представлена потомкам как пошлая «мальчишеская ис-

тория». Его, принципиального противника дуэлей, объявили «бретером»!

Жизнеописание Лермонтова было заменено обывательскими анекдотами о его «невыносимом характере». Дружинин, встретившись в Пятигорске с преданным другом Лермонтова, убедился, что русский читатель имел «самое превратное понятие» о мыслях, чувствах и поступках поэта. Но сигнал Дружинина не был услышан. Промелькнувшие затем в печати простые и правдивые рассказы о дружеских связях Лермонтова были забыты.

Неправильное представление о биографии Лермонтова не могло не оказать влияния и на понимание его творчества. Советскими литературоведами уже развеяна легенда о мнимом одиночестве Лермонтова. Но с этой устаревшей концепцией был связан миф о том, что поэт сторонился литературной и журнальной борьбы. Установив своеобразие полемической манеры Лермонтова, мы увидели, что отклики на злободневные события литературной и политической жизни встречаются в его произведениях чаще, чем это можно было предполагать.

Со времени выхода первого издания настоящей книги в лермонтовской литературе появилось много новых материалов и концепций, в большинстве случаев подтверждающих представленные здесь. Разительным примером может служить определение срока окончания работы Лермонтова над «Демоном». Оказывается, после ознакомления императрицы с этой поэмой в феврале 1839 года, в марте Лермонтов передал свою рукопись в цензуру и получил одобрение. Так укрепилась документальная основа новейшей точки зрения на центральное произведение Лермонтова. Отменено прочно бытовавшее в лермонтовские времена утверждение о том, что поэт продолжал работу над «Демоном» до конца своих дней.

Процесс обогащения биографии и творчества Лермонтова новыми данными еще не завершен. Планомерное изучение архивных сокровищ сулит молодому поколению исследователей много важных находок и неожиданных открытий.

ПРИМЕЧАНИЯ

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ПРИМЕЧАНИЯХ

А. Для архивных источников

- ГБЛ* — Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Москва.
- ГИМ* — Отдел письменных источников Государственного Исторического музея.
- ГПБ* — Отдел рукописей Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Ленинград.
- ГЛМ* — Государственный литературный музей. Москва.
- ИРЛИ* — Отдел рукописей Института русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР. Ленинград.
- МИД* — Архив Министерства иностранных дел СССР.
- ЦГАДА* — Центральный государственный архив древних актов. Москва.
- ЦГАЛИ* — Центральный государственный архив литературы и искусства. Москва.
- ЦГАОР* — Центральный государственный архив Октябрьской революции, высших органов государственной власти и государственного управления СССР. Москва.
- ЦГВИА* — Центральный государственный военно-исторический архив. Москва.
- ЦГИА* — Центральный государственный исторический архив СССР. Ленинград.
- ЦГИАМ* — Центральный государственный исторический архив. Москва.

Б. Для печатных источников

Тексты М. Ю. Лермонтова цитируются по изданию: Лермонтов М. Ю. Соч. в 6-ти томах. М., Изд-во АН СССР, 1954—1957.

Висковатов — Висковатов П. А. Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова. М., Изд-во Рихтера, 1891.

Воспоминания — М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М., Художественная литература, 1972.

ДУЭЛЬ С БАРАНТОМ

¹ Лермонтов М. Ю. Полн. собр. соч., т. V. СПб., Академическая библиотека, 1913, с. ХСІ.

² Из памятных заметок Н. М. Смирнова. — Русский архив, 1882, т. II, с. 240.

³ Сушкова Екатерина. Записки. Л., Academia, 1928, с. 225.

⁴ *Воспоминания*, с. 46.

⁵ Записки Ксенофонта Алексеевича Полевого. — Исторический вестник, 1887, кн. 11, с. 328.

⁶ *Висковатов*, с. 317—319.

⁷ Ростопчина Е. П. Из письма к Александру Дюма (1858). — *Воспоминания*, с. 284. Перевод с фр.

⁸ *Висковатов*, с. 320.

⁹ Петербург в 1840—1841 гг. (по дневнику П. Г. Дивова). — Русская старина, 1902, № XI, с. 392.

¹⁰ Терebeneина Р. Е. Записки о Пушкине, Гоголе, Глинке, Лермонтове и других писателях в дневнике П. Д. Дурново. — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. VIII. Л., Наука, 1978, с. 262. Перевод с фр.

¹¹ Дневник Л. И. Голенищева-Кутузова. — *ГПБ*. Перевод с фр.

¹² А. Я. Булгаков о дуэли и смерти Лермонтова. Публикация Леонида Каплана. — Литературное наследство, 1948, № 45-46, с. 708.

¹³ *Воспоминания*, с. 47.

¹⁴ Лермонтов и г-жа Гоммер-де-Гелль в 1840 году. Сообщено князем П. П. Вяземским. — Русский архив, 1887, № 9, с. 134—135.

¹⁵ *ЦГАЛИ*, ф. 195, оп. 1, № 3271, л. 153об. — 154, 156.

¹⁶ Остафьевский архив князей Вяземских, т. IV. СПб., 1899, с. 104.

¹⁷ Публикуемая здесь переписка французского посла Баранта с женой, сыном и секретарем посольства бароном д'Андрэ выявлена редакцией «Литературного наследства». Переписка хранится в архиве МИД СССР. Все документы переведены с французского. См.: Герштейн Эмма. Дуэль Лермонтова с Барантом. — Литературное наследство, 1948, № 45-46, с. 430.

¹⁸ См. примеч. 15, л. 162.

¹⁹ *ИРЛИ*, ф. 309, № 4715, л. 110 (копия).

²⁰ Гладыш И. Я., Динесман Т. Г. Архив А. М. Вереща-

гиной-Хюгель. — В кн.: Записки отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, вып. 26. М., 1963, с. 52.

²¹ ЦГАОР, ф. 728, оп. 1, ч. 2, № 1817, т. III, л. 61об., 62.

²² Дневник А. И. Тургенева. — ИРЛИ, ф. 309, № 319.

²³ Сведения из неподписанной статьи Карла Гуцкова «Therese von Bacheracht» в «Taschenbuch für das Jahr 1847». Перевод с нем.

²⁴ Wehl Feodor. Zeit und Menschen, Bd. II. Altona, 1899, S. 42. Перевод с нем.

²⁵ Беттина фон Арним — немецкая писательница, ранний романтик, прославилась книгой «Переписка Гете с ребенком», в которой перемежала подлинные письма к ней великого писателя со своими домыслами. Еще более экзальтированная, чем Беттина, Шарлотта Штиглиц, жена посредственного немецкого поэта, закололась кинжалом, вообразив, что сильное горе заставит ее мужа лучше писать.

²⁶ Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. X. М., Изд-во АН СССР, 1956, с. 242.

²⁷ Theresens Briefe aus dem Süden. Braunschweig, 1841, S. 51. Перевод с нем.

²⁸ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 1422. Перевод с фр.

²⁹ Paris und die Alpenwelt. Von Therese... Leipzig, 1846, S. 276.

³⁰ См. примеч. 24, с. 42, 265—266; т. I, с. 262—263.

³¹ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 3271, л. 110об.

³² Tagebücher von R. A. Varnhagen von Ense, Bd. IX. Hamburg, 1868, S. 414—415. Перевод с нем.

³³ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 3271, л. 40а, 46, 141.

³⁴ Остафьевский архив, т. IV. СПб., 1899, с. 112.

³⁵ Лермонтов М. Ю. Соч. в 6-ти томах, т. VI. М. — Л., Изд-во АН СССР, 1957, с. 450. В дальнейшем все письма Лермонтова цитируются по этому изданию, с указанием тома и страницы в тексте.

³⁶ Глассе А. Гогенлоэ-Лангенбург-Кирхберг. — В кн.: Лермонтовская энциклопедия. М., 1981, с. 114.

³⁷ Morgulis Grégoire. Un chantre russe de l'Empereur. Michel Lermontoff. 1814—1841. — Revue des études napoléoniennes, 1940, v. XLVI, Janvier — Février. Перевод с фр.

³⁸ См. примеч. 33, л. 158.

³⁹ См. примеч. 12.

⁴⁰ См. примеч. 10.

⁴¹ См. примеч. 37, с. 31.

⁴² См. примеч. 17.

⁴³ Revue rétrospective aux archives du dernier gouvernement. Paris, 1848, № 17, p. 270.

⁴⁴ МИД, из дела канцелярии министерства иностранных дел, 1840, № 137, л. 0054—0055. Перевод с фр.

⁴⁵ См. примеч. 43.

⁴⁶ См. примеч. 44.

⁴⁷ Сведения из воспоминаний М. Б. Лобанова-Ростовского (см. в главе «Кружок шестнадцати»). Ср.: Русский инвалид, 1839, 26 октября, № 262, с. 1063.

⁴⁸ См. примеч. 15, л. 153об.

⁴⁹ См. примеч. 36.

⁵⁰ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. XI. М., Изд-во АН СССР, 1956, с. 496.

⁵¹ См. примеч. 11.

⁵² Из переписки графов Нессельроде... — Русский архив, 1910, № 5, с. 128. Это письмо ошибочно датировано 28 февраля 1840 г. Очевидно, оно было написано 28 (16) марта, так как арест Столыпина, о котором дальше упоминает М. Д. Нессельроде, был произведен 15 марта. Однако Р. Е. Терехина, изучавшая камер-фурьерский журнал, датирует его 13 марта старого стиля (см. примеч. 10). Вопрос требует дополнительного изучения.

⁵³ Там же. Это письмо также ошибочно датировано 18 января 1840 г. Из контекста письма ясно, что оно написано 18(6) марта, то есть до ареста Лермонтова, но Терехина считает, что разговор с Нессельроде происходил 10 марта, накануне ареста Лермонтова. Это — день внеочередной аудиенции Николая I министру иностранных дел. Вопрос также требует дополнительного изучения.

⁵⁴ См. примеч. 37, с. 32. Перевод с фр.

⁵⁵ «Дело штаба отдельного гвардейского корпуса отделения аудиторжатского о поручике лейб-гвардии гусарского полка Лермонтове, преданном военному суду за произведенную им с французским подданным Барантом дуэль...» (ИРЛИ, ф. 524, оп. 3, № 13, л. 14 и 22). На л. 43 этого дела имеется надпись Михаила Павловича, где упоминается неизвестный факт биографии поэта: «собственная подписка Лермонтова от 4 марта 1838 г. об исполнении правил».

⁵⁶ МИД, из дела Главного архива, П-8, 1840, № 137.

⁵⁷ См. примеч. 55, л. 24.

⁵⁸ МИД, из дела канцелярии министерства иностранных дел, 1840, № 140, л. 40.

⁵⁹ ИРЛИ, ф. 524, оп. 1, № 35, л. 1.

⁶⁰ Воспоминания Юрия Арнольда, т. II. М., 1892, с. 216.

⁶¹ Эйхенбаум Б. Николай I о Лермонтове. — Литературный критик, 1940, № 2, с. 33.

ЛЕРМОНТОВ И ДВОР

¹ Литературное наследство, 1952, № 58, с. 148.

² Русский архив, 1895, № 8, с. 429.

³ ЦГАОР, ф. 678, оп. 1, № 831, л. 6об., 7, 7об.

⁴ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. I. М., Изд-во АН СССР, 1953, с. 72.

⁵ Заборова Р. Б. Лермонтов и Соллогуб. — Труды Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, т. V (8). Л., 1958, с. 191.

⁶ ЦГАОР, ф. 678, оп. 1, № 736, л. 162об. Перевод с фр.

⁷ Там же, ф. 672, оп. 1, № 415. Перевод с нем.

⁸ Там же, № 416, л. 1а, 1аоб., 2об. Перевод с нем.

⁹ Там же, ф. 851, оп. 1, № 16, л. 110об. Перевод с фр.

¹⁰ *Воспоминания*, с. 44.

¹¹ Мартьянов П. К. Дела и люди века, т. II, 1893, с. 124—125.

¹² Михайлова А. Н. Последняя редакция «Демона». — Литературное наследство, 1948, № 45-46.

¹³ См.: Гиреев Д. А. Поэма М. Ю. Лермонтова «Демон». Творческая история и текстологический анализ. Северо-Осетинское книжное изд-во, 1958; Иванова Т. А. Что говорят рукописи и книги (об основном тексте «Демона»). — Научные доклады высшей школы. Филологические науки, 1963, № 2, с. 176—186.

¹⁴ *Висковатов*, с. 315.

¹⁵ *Воспоминания*, с. 228—229.

¹⁶ Там же, с. 382.

¹⁷ С.-Петербургские ведомости, 1840, 4 января.

¹⁸ См.: Северная пчела, 1840, 4 января: «В здешнем Дворянском собрании 9-го сего января имеет быть маскарад, входящий в число шести балов, в течение года положенных. Члены имеют приезд по своим годовым билетам, при входе предъявляемым; билеты же для гостей, по запискам членов постоянных, равно и следующие сим членам для дам их семейств, те и другие именные, можно получать в конторе Собрания от бухгалтера ежедневно от двенадцати до трех часов утра и от восьми до двенадцати часов вечера». Этот маскарадный бал был четвертым из шести, назначаемых ежегодно.

Второй бал, так же как и третий, не маскарадный (30 декабря), состоялся 21 декабря; следовательно, И. С. Тургенев не мог видеть Лермонтова под Новый 1840 год ни на одном маскараде Дворянского собрания.

¹⁹ Мои статьи «Подлая расправа» (Известия, 1939, 14 октября) и «К вопросу о дуэли Лермонтова» (Альманах. Год XXII, № 16, 1940) отменяются с выходом данной книги (1 и 2 издания).

²⁰ ЦГАОР, ф. 632, оп. 1, № 17, л. 2—3.

²¹ Сон юности. Записки дочери императора Николая I вел. княгини Ольги Николаевны. Париж, 1963, с. 113—116.

²² См.: Яшин М. История гибели Пушкина. Л., Нева, 1969, № 4, с. 180; Лермонтов М. Ю. Собр. соч. в 4-х томах. Вступительная статья и примеч. И. Андронникова, т. I. М., Художественная литера-

тура, 1975, с. 531—532; Найдич Э. Э. Избранное самим поэтом... — Русская литература, 1976, № 3, с. 71.

²³ ЦГИА, ф. 516, оп. 120/2322, № 151, л. 16об.

²⁴ См. примеч. 18.

²⁵ Теребенина Р. Е. Записи о Пушкине... и других писателях в дневнике П. Д. Дурново. — В кн.: Пушкин: Исследования и материалы, т. VIII. Л., Наука, 1978, с. 270—271.

²⁶ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 3271, л. 120 — 120об.

²⁷ ЦГАОР, ф. 672, оп. 1, № 516, 1 янв. 1840.

²⁸ Там же. ф. 728, оп. 1, ч. 2, № 1817, т. II, л. 55об.

²⁹ См. примеч. 26, л. 133об.

³⁰ См.: Лермонтов М. Ю. Полн. собр. соч., т. II. М., Academia, 1936, с. 178—179.

³¹ Лермонтов М. Ю. Соч., т. V, с. 738, 743.

³² Раевский Н. Избранное. М., ИХЛ, 1978, с. 124. Перевод с фр. со следующим примечанием: «Перевод записи об этом приключении сделан с фотоконии с. 144—146 тетради дневника. В 1965 г. я смог воспользоваться лишь неточным изложением в статье А. В. Флоровского».

³³ Яшин М. Преддуэльная хроника. — Звезда, 1963, № 9, с. 170.

³⁴ ЦГАОР, ф. 672, оп. 1, № 413, л. 59. Перевод с нем.

³⁵ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. XII. М., Изд-во АН СССР, 1949, с. 336.

³⁶ Воспоминания, с. 196.

³⁷ Шостакович С. Лермонтов и Николай I. — Литературная газета, 1959, 14 октября, № 126, с. 3. Подлинник по-фр.

³⁸ Висковатов, с. 316.

³⁹ Русская старина, 1904, т. 167, кн. 2, с. 276—278.

⁴⁰ ЦГИА, ф. 516, оп. 120/2322, № 151, л. 16об., л. 32, 80об.

⁴¹ См. примеч. 28.

⁴² ЦГАОР, ф. 678, оп. 1, № 736, л. 117—117об. Перевод с фр.

⁴³ Русская старина, 1902, № 5, с. 225—227.

⁴⁴ ЦГАОР, ф. 851, оп. 1, № 15, л. 85об. Перевод с фр.

⁴⁵ Там же, ф. 672, оп. 1, № 415. Перевод с нем.

⁴⁶ Там же, № 432, л. 5. Перевод с фр.

⁴⁷ Там же, ф. 678, оп. 1, № 736, л. 166 — 166об. Перевод с фр.

⁴⁸ Там же, ф. 672, оп. 1, № 416, л. 82об. Перевод с нем.

⁴⁹ ЦГИА, ф. 516, оп. 120/2322, № 151, л. 56—59.

⁵⁰ Долгоруков П. В. Петербургские очерки. М., Север, 1934, с. 212.

⁵¹ ЦГАОР, ф. 728, оп. 1, ч. 2, № 1193, л. 18об. Перевод с фр.

⁵² Там же, № 1817, т. II, л. 153.

⁵³ Висковатов, с. 324.

⁵⁴ Известия Отделения русского языка и словесности имп. Академии наук, т. XIV, кн. 1. СПб., 1909, с. 90.

⁵⁵ См. примеч. 53.

⁵⁶ ИРЛИ, ф. 309, № 319, л. 17об.

⁵⁷ ЦГВИА, ф. 395, инспекторского департамента военного министерства, отд. 1, стол 4, св. 1200.

⁵⁸ Мережковский Д. С. М. Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества. СПб., Пантеон, 1909, с. 24.

⁵⁹ ЦГАОР, ф. 728, оп. 1, ч. 2, № 1904, л. 14, 14об., 11, 11об., 12 (листы в архиве неправильно пронумерованы).

Первая публикация в немецком переводе — см.: Schiemann Theodor. Geschichte Russlands unter Kaiser Nicolaus I, Bd. III, 1913, S. 411. В русском переводе — см.: Тарле Е. В. Теодор Шиман, кн. II. Дела и дни, 1921, с. 189; Эйхенбаум Б. М. Лермонтов и Николай I. — Литературный критик, 1940, № 2, с. 33.

Ввиду важности письма Николая I о Лермонгове, данного в этой книге в новом переводе, приводим его в подлиннике:

«(13/25) à 10¹/₂.

...J'ai travaillé et lu tout le *Герой*, qui est joliment écrit. Puis nous avons pris le thé avec Orlof, et causé toute la soirée; il est impayable...

Le 14/26 ...à 3 h. Depuis tantôt j'ai travaillé et continué à lire l'ouvrage de Лермонтов, je trouve le second volume moins joli que le premier. Le temps est devenu superbe et nous avons pu diner sur le tillac. Benkendorf a peur horrible des chats et nous en avons un à bord avec lequel Orlof et moi nous le tourmentons, ce qui fait un de nos passetemps d'oisiveté.

...à 7 h. ...Depuis tantôt j'ai lu et fini le *Герой*. Je trouve le second volume détestable et tout à fait digne d'être à la mode, car c'est la même peinture de caractères méprisables, exagérés que l'on rencontre dans les romans étrangers du jour. C'est avec ces romans-là que l'on gâte les mœurs et fausse les caractères, et quoique l'on lise ces soupirs de chats avec dégoût, ils laissent toujours une impulsion pénible, car l'on finit par s'habituer à croire que le monde n'est composé que d'individus pareils, où les meilleures actions en apparence ne proviennent que d'abominables ou sals motifs: quel en doit donc être le résultat? — le mépris ou la haine de l'humanité. Est-ce donc là le but de l'existence icibas? — L'on n'est que trop porté à être hypochondre ou misanthrope à quoi bon donc, par des peintures semblables développer ou exciter des dispositions pareilles? — je répète donc que selon moi c'est un pitoyable talent et dénote dans l'auteur une grande dépravation d'esprit. Le caractère du Capitaine est joliment ébauché en commençant l'histoire j'espérais et me réjouissais que lui probablement était le héros de nos temps, car il y en a dans cette classe de bien plus véritables que ceux que l'on gratifie trop vulgairement de cette épithète. Le Corps du Caucase en compte sûrement beaucoup — que l'on n'apprend que trop rarement à connaître; mais il paraît dans l'ouvrage comme un espoir

non réalisé et Mr Lermontoff n'a pas su suivre ce noble et si simple caractère, et remplace cet individu par des misérables et fort peu intéressants personnages qui s'ils ont ennuyé auraient mieux faits de rester ignorés pour ne pas provoquer le dégoût. Bon voyage à Mr Lermontoff, il n'a qu'à purifier la tête, si c'est possible, au milieu d'une sphère où il trouvera à achever son caractère de Capitaine si toutefois il est jamais capable de le saisir et de pouvoir le dépeindre. — Nous avons pris le thé avec Orlof et me voilà».

⁶⁰ ЦГАОР, ф. 678, оп. 1, № 737, л. 5об. — 6. Перевод с фр.

⁶¹ Там же, ф. 851, оп. 1, № 17, л. 2об. Перевод с фр.

⁶² Там же, ф. 672, оп. 1, № 416, л. 51об. Перевод с нем.

⁶³ Там же, № 432, л. 26.

⁶⁴ Там же, л. 28об.

⁶⁵ Эйгес И. Музыка в жизни и творчестве Лермонтова. — Литературное наследство, 1948, № 45-46, с. 511.

⁶⁶ См. примеч. 31 и 37.

⁶⁷ Исправляю неточность в транскрипции начертания Лермонтова «Г. Воронцовой». Обычно печатается «госпоже Воронцовой», нужно «графине Воронцовой», так как в письмах титул в то время обозначался прописной буквой и точкой. Проверено по подлиннику.

⁶⁸ ЦГАОР, ф. 728, оп. 1, № 1817, т. IV, л. 97об.

⁶⁹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. XII, с. 320.

⁷⁰ См. примеч. 68, л. 98.

⁷¹ ЦГВИА, ф. 395, оп. 31 инспекторского департамента военного министерства, отд. 1, стол 2, св. 2149. Ср.: Герштейн Э. Г. К истории высылки Лермонтова из Петербурга в 1841 году. — В сб.: Михаил Юрьевич Лермонтов. Ставрополь, 1960, с. 181—182.

⁷² Звезда, 1977, № 3.

⁷³ Модзалевский Л. Письма Е. А. Арсеньевой о Лермонтове. — Литературное наследство, 1948, № 45—46, с. 656—659.

⁷⁴ ИРЛИ, ф. 109, № 4715, л. 122.

⁷⁵ ЦГВИА, ф. 395, оп. 147/455, № 223, ч. 1, л. 74.

⁷⁶ ЦГАОР, ф. 728, оп. 1, ч. 2, № 1817, т. IV, л. 249об. — 250.

⁷⁷ Там же, № 1826, л. 39об.

⁷⁸ Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, т. I. СПб., 1896, с. 376.

⁷⁹ Examen de l'ouvrage intitulé «La Russie en 1839» par le marquis de Custine, par N. Gretsck. . . Paris, 1844, p. 68.

⁸⁰ См. примеч. 76, л. 259.

⁸¹ Вяземский П. П. Собр. соч. СПб., 1893, с. 643.

⁸² Русский архив, 1911, № 9, с. 160.

⁸³ ЦГАОР, ф. 672, оп. 1, № 417, л. 32об. Перевод с нем.

⁸⁴ Там же, ф. 728, оп. 1, ч. I, № 981; ч. III, л. 31—31об. Перевод с фр.

⁸⁵ Русский инвалид, 1841, 26 августа, № 99.

⁸⁶ ЦГАОР, ф. 851, оп. 1, № 18, л. 106об. — 107. Перевод с фр. «Зинаида» — княгиня З. И. Юсупова (ур. Нарышкина), жена кн. Н. Б. Юсупова.

⁸⁷ Мартьянов П. К. Дела и люди века, т. III. СПб., 1896, с. 88.

⁸⁸ ЦГАОР, ф. 728, оп. 1, ч. 2, № 1817, т. V, л. 304—305.

⁸⁹ Там же, ф. 851, оп. 1, № 17, л. 21об. Перевод с фр.

Сопоставление романа Шарля де Бернара «Жерфо» с «Героем нашего времени» впервые сделано Б. Томашевским в его статье «Проза Лермонтова и западноевропейские традиции» (Литературное наследство, 1941, № 43-44, с. 502—507).

⁹⁰ Вяземский П. А. Записные книжки (1813—1848). М., Изд-во АН СССР, 1963, с. 274.

⁹¹ ИРЛИ, ф. 309, № 319, л. 4.

⁹² Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. 9, кн. 1. М., 1938, с. 373—374.

⁹³ ЦГИА, ф. 516, оп. 120/2322, № 185, л. 22об.

⁹⁴ ЦГАОР, ф. III Отделения, эксп. 1, 1840, № 48.

⁹⁵ ИРЛИ, ф. 309, № 319, л. 104об. — 105.

⁹⁶ М. Ю. Лермонтов. Материалы и исследования. М., Соцэкгиз, 1939, с. 68.

⁹⁷ ИРЛИ, ф. 309, № 3155.

Далее Л. К. Виельгорская передает великосветские новости о других молодых людях, в том числе о смерти Н. А. Жерве, белой горячке Ланского и ожоге В. Н. Карамзина.

⁹⁸ Литературное наследство, 1952, № 58, с. 432.

⁹⁹ ИРЛИ, ф. 309, № 319, л. 106.

ЗА СТРАНИЦАМИ «БОЛЬШОГО СВЕТА»

¹ Воспоминания, с. 287.

² Заборова Р. Б. Лермонтов и Соллогуб. — Труды Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, т. V (8). Л., 1958.

³ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. XI. М., Изд-во АН СССР, 1956, с. 510.

⁴ В. Г. Белинский и его корреспонденты. М., 1948, с. 141.

⁵ См. примеч. 3.

⁶ Соллогуб В. А. Воспоминания. Под ред. Шестерикова М. — Л., Academia, 1931, с. 339.

⁷ Григорьев Аполлон. Лермонтов и его направление. Крайние грани развития отрицательного взгляда. Статья третья. — Время, 1862, № 12, с. 34.

⁸ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 3271, л. 156об.

⁹ ЦГАОР, ф. 672, оп. 1, № 416, л. 52об. Перевод с нем. Слова: «...повесть Салагуба *Большой свет*» — по-русски.

¹⁰ Русский архив, 1902, № 7, с. 446.

Письмо М. Ю. Виельгорского впервые привлечено к изучению повести «Большой свет» Р. Б. Заборовой в указанной публикации (см. примеч. 2).

¹¹ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 3271, л. 153.

¹² Русский архив, 1902, № 7, с. 436.

¹³ ГБЛ, ф. Веневитиновых-Виельгорских, М/8484/2. Перевод с фр.

¹⁴ См. примеч. 10.

¹⁵ Ср.: «Соболевский ходил по комнате, вздернув, по обыкновению, голову и запустив палец в отверстие жилета под мышкой. Вдруг он рассмеялся своим добродушно-циническим смехом» (Воспоминания В. А. Соллогуба. — Русский мир, 1874, 3 сентября, № 243, с. 1).

«Сафьев, задев палец за жилет, стоял в молчании подле нее и насмешливо улыбался». Или: «Один — высокого роста, уже не первой молодости, с пальцем, заложенным за жилет, в лондонском черном фраке...» (Соллогуб В. А. Сочинения, т. 1. СПб., 1855, с. 140).

¹⁶ См. примеч. 2.

¹⁷ Панаев И. И. Литературные воспоминания. М., Художественная литература, 1950, с. 270.

¹⁸ Воспоминания М. Б. Лобанова-Ростовского. — ГИМ, ф. 174, № 5. Перевод с фр.

¹⁹ Воспоминания, с. 228.

²⁰ См.: Шадури В. С. Новое о М. В. Дмитревском — приятеле Лермонтова и декабристов. — В кн.: М. Ю. Лермонгов. Исследования и находки. Л., Наука, 1979, с. 219—220.

²¹ Лермонтов М. Ю. Полн. собр. соч., т. 1. М., Правда, 1963, с. 390.

²² Пумпянский Л. Стиховая речь Лермонтова. — Литературное наследство, 1941, № 43-44, с. 399.

²³ Самарин Ю. Ф. Соч., т. XII. М., 1911, с. 145.

2 октября 1844 г. Ю. Ф. Самарин писал К. С. Аксакову: «Кстати, о литературе: один мой знакомый доставил мне бумаги Лермонтова; я нашел в них три недоконченные повести и несколько неизвестных стихотворений. Я получил право отдать их в любой журнал; дай мне совет, и пока я не напишу тебе об этом вторично, не говори никому».

Надо думать, что речь идет об отрывках «Я хочу рассказать вам...», «У графа В... был музыкальный вечер...» и «Кавказец», а также о стихотворениях, напечатанных, так же как и два первых отрывка, в сборниках «Вчера и сегодня», вышедших в свет в 1844 и 1845 гг. и издаваемых В. А. Соллогубом.

²⁴ Висковатов, с. 326—327.

²⁵ Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, т. I. СПб., 1896, с. 164.

²⁶ Соллогуб В. А. Воспоминания, с. 407—408.

²⁷ Гоголь Н. В. Полн. собр. соч., т. XII. М. — Л., Изд-во АН СССР, 1952, с. 345.

²⁸ Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, т. III, с. 32.

²⁹ См. воспроизведение в «Воспоминаниях» Соллогуба (М. — Л., Academia, 1931).

³⁰ Боборыкин П. Д. За полвека (Мои воспоминания). Ред. Козьмина Б. П. М. — Л., 1929, с. 117.

³¹ Соллогуб В. А. Воспоминания, с. 408.

³² ЦГАОР, ф. 632, оп. 1, № 31, л. 43.

³³ Гоголь Н. В. Полн. собр. соч., т. VIII, 1952, с. 788.

³⁴ См. комментарий Э. Найдича к этой повести в Полн. собр. соч., т. 4 (М. — Л., ОГИЗ, 1948, с. 469—470), в Соч. в 6-ти томах, т. VI (М. — Л., Изд-во АН СССР, 1957, с. 670—671) и в Собр. соч. в 4-х томах, т. 4 (М., Изд-во АН СССР, 1959, с. 658—660).

Проблеме романтизма и фантастического в «Штоссе» посвящена насыщенная обширным материалом интересная статья В. Э. Вацуро «Последняя повесть Лермонтова». Автор приходит к выводу, что трактовка всей повести как антиромантической встречает затруднения, почти непреодолимые (см. кн.: М. Ю. Лермонтов. Исследования и материалы. Л., Наука, 1979, с. 249).

³⁵ Александров Н. А. О. Смирнова. Об ее жизни и характере. — Историко-литературный сборник, посвященный В. И. Срезневскому. Л., 1924, с. 314.

³⁶ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 2761, л. 25об.

³⁷ Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, т. I, с. 169.

«По уходе многих, — пишет Плетнев 11 декабря 1840 г. о вечере у Соллогуба, — толковали об устройстве его середины, т. е. нужно ли допускать дам, подавать ли ужин, заниматься ли музыкой и кем ограничить общество? Хотят каждый раз приносить что-нибудь прочитывать вновь написанное, например: первый прочтет письмо (главу из романа), другой в следующий раз ответ на него — и так всякое лицо примет на себя роль в этом романе».

Об этой литературной игре упоминает и Веневитинов в письме к Комаровским (ГБЛ) от 13 января 1841 г.

³⁸ Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, т. I, с. 185.

³⁹ Ираклий Андроников, ссылаясь на Э. Найдича, пишет в комментарии к повести: «Лермонтов относится к своему герою с глубокой иронией. Это подчеркнуто игрой слов, имеющих такое важное значение для Лугина: фамилией домовладельца («Штосс»), игрой («штосс») и репликой старика («что-с?»). «Штосс» противостоит фан-

тастике Гофмана» (Лермонтов М. Ю. Полн. собр. соч., т. 4. М., Правда, 1953, с. 465).

Такое же толкование (восходящее к комментарию Э. Найдича) мы встречаем в исследовании Е. Слащева «О поздней прозе М. Ю. Лермонтова» (Ученые записки Киргизского государственного университета, филологический факультет, вып. 5. Славянский сборник, № 1. Фрунзе, 1958, с. 136). «В самый разговор двух партнеров, — пишет Слащев, — вставлен шуточный каламбур, имеющий, впрочем, отношение не столько к персонажам повести, сколько к ее восприятию читателями или слушателями — вспомним, кому была прочтена Лермонтовым эта повесть». Слащев имеет в виду рассказ Е. П. Ростопчиной с мистификации Лермонтова, пригласившего на чтение к Карамзиным избранное общество для слушания его нового романа и ограничившегося отрывком, условно называемым нами «Штосс». «Как видно, — продолжает Слащев, — Лермонтову было очень желательно отметить игру слов. . . Каламбур, определивший название повести, действительно звучит насмешливым вопросом, обращенным непосредственно к читателю по поводу всей повести».

⁴⁰ Никитенко А. В. Дневники. В 3-х томах, т. I. М., Гослитиздат, 1955, с. 216.

⁴¹ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 3271, л. 116об. — 117.

ЛЕРМОНТОВ И П. А. ВЯЗЕМСКИЙ

¹ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. XI. М., Изд-во АН СССР, 1956, с. 510.

² *Воспоминания*, с. 379.

³ Там же, с. 299, 298 (с разночтениями в переводе с фр.).

⁴ Из памятных заметок Н. М. Смирнова. — Русский архив, 1882, № 2, с. 257—258.

⁵ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 1397, л. 1. Перевод с фр.

⁶ См., примеч. 1.

⁷ Московские ведомости, 1838, 20 апреля, № 32, с. 257—258.

⁸ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 3271, л. 67об., 73об., 111об. — 112.

«Племянница» и «племянник» — прозвища М. Д. и К. В. Нессельроде в переписке П. А. Вяземского. Вероятно, намек на родство вице-канцлера с гр. Ф. К. Нессельроде, адъютантом цесаревича Константина Павловича, с 1830 г. начальником V округа корпуса жандармов. Вяземский сталкивался с ним в годы своей службы в Варшаве (см. в кн.: Вяземский П. А. Записные книжки (1813—1848). М., Изд-во АН СССР, 1963, с. 487).

⁹ Боричевский И. Пушкин и Лермонтов в борьбе с придворной аристократией. — Литературное наследство, 1948, № 45-46, с. 340.

«Племянник» — см. предыдущее примеч.

¹⁰ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 3271, л. 155.

О Е. П. Белосельской-Белозерской см.: А. С. Пушкин. в воспоминаниях современников. В 2-х томах, т. 2. М., 1974, с. 323, 497.

¹¹ *Воспоминания*, с. 298.

¹² Соллогуб В. А. Три повести. М., Советская Россия, 1978, с. 67.

¹³ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 3271, л. 153об., 154, 163об.

¹⁴ Мордовченко Н. И. Белинский и русская литература его времени. М. — Л., Гослитиздат, 1950, с. 95—103.

¹⁵ Лермонтов М. Ю. Собр. соч. в 4-х томах, т. 1. М., Гослитиздат, 1957, с. 352.

¹⁶ Лермонтовская энциклопедия. М., 1981, с. 170—171.

¹⁷ Эйхенбаум Б. М. Статьи о Лермонтове. М. — Л., Изд-во АН СССР, 1961, с. 105—106.

¹⁸ Ср.: Вяземский П. А. Записные книжки (1813—1848). М., Изд-во АН СССР, 1963, с. 88.

¹⁹ Вяземский П. А. Соч. В 2-х томах, т. II. М., Художественная литература, с. 99.

²⁰ Вяземский П. А. Соч., т. II, с. 128.

²¹ *Висковатов*, с. 331.

²² Герштейн Э. «Мятлевские» стихотворения Лермонтова. — Вопросы литературы, 1959, № 7.

П. А. Плетнев, однако, утверждал, что эта фраза восходит еще к Пушкину. «Но *войди в мое положение* (как любил в таких случаях говаривать покойный Пушкин)», — писал он Я. К. Гроту 5 мая 1845 г. (см.: Пушкин в воспоминаниях современников. В 2-х томах, т. 2. М., Художественная литература, 1974, с. 256).

²³ Современник, 1836, кн. II, с. 311.

²⁴ Вяземский П. А. Полн. собр. соч., т. II. СПб., 1879, с. 287, 290—293.

²⁵ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 3271, л. 122об., 131 об.

²⁶ ЦГАДА, ф. 1270, оп. 1, ч. 3, № 3319, л. 18. Перевод с фр.

²⁷ См. примеч. 25, л. 40, 144об., 151, 155.

²⁸ Из собрания автографов имп. Публичной библиотеки. СПб., 1898, с. 97.

²⁹ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. IV, 1954, с. 454—455.

³⁰ ГБЛ, ф. 178, папка 3099, № 54.

³¹ См. примеч. 24.

³² Герштейн Э. Г. Отклики современников на смерть Лермонтова. — В сб.: М. Ю. Лермонтов. Статьи и материалы. М., Соцэкгиз, 1939, с. 68; Бильбасов В. А. Ю. Ф. Самарин и И. С. Гагарин. — Новое слово, 1894, кн. 2, с. 44—45.

³³ Кюхельбекер В. К. Путешествия. Дневник. Статьи. Л., Наука, 1979, с. 415.

³⁴ Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, т. I. СПб., 1896, с. 145—146.

³⁵ Лермонтов в переписке Карамзиных. — В кн.: М. Ю. Лермонтов. Исследования и материалы. Л., Наука, 1979, с. 355. Перевод с фр.

³⁶ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. II. М., Изд-во АН СССР, 1949, с. 87.

³⁷ Полн. собр. соч. кн. П. А. Вяземского, т. II. СПб., 1879, с. 359.

³⁸ См. примеч. 35, с. 357.

³⁹ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 2761, л. 27об.

⁴⁰ Кулешов В. И. «Отечественные записки» и литература 40-х годов XIX в. М., 1958, с. 52—53.

⁴¹ Наблюдение Анны Андреевны Ахматовой. См. мои воспоминания «В Замоскворечье» (Литературное обозрение, 1985, № 7 с. 107).

⁴² Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. V, 1954, с. 267, 146, 503.

«КРУЖОК ШЕСТНАДЦАТИ»

¹ *Воспоминания*, с. 298, 299 (с небольшими разночтениями в переводе с фр.).

² Там же, с. 243—244 (с разночтениями в переводе с фр.).

³ ЦГАЛИ, ф. 1049, оп. 1, № 6, л. 5. Перевод с фр. Подробнее см. мою заметку «Двенадцатый» (в кн.: М. Ю. Лермонтов. Исследования и материалы. Л., Наука, 1979, с. 182—187).

⁴ ЦГАДА, ф. 1263, оп. 7, №№ 63—64, 120.

⁵ Эйхенбаум Б. М. Основные проблемы изучения Лермонтова. — Литературная учеба, 1935, № 6.

⁶ Петербургский рисунок — в *ИРЛИ*, кавказский — в Государственном Русском музее.

⁷ Савинов А. Лермонтов и художник Г. Г. Гагарин. — Литературное наследство, 1948, № 45-46, с. 449—450.

⁸ Дневник П. А. Валуева, министра внутренних дел. В 2-х томах, т. II, 1865—1876. М., Изд-во АН СССР, 1961, с. 355.

⁹ ЦГАОР, ф. 672, оп. 1, № 416, л. 41об. Перевод с нем.

¹⁰ ЦГВИА, ф. 395, инспекторского департамента военного министерства, отд. 1, стол 4, св. 1240, № 61. (Переписка не сохранилась.)

¹¹ ЦГАОР, ф. 851, оп. 1, № 17, л. 79—79об. Перевод с фр.

¹² ЦГВИА, ф. 395, инспекторского департамента военного министерства, отд. 1, стол 4, св. 1242, № 507.

¹³ ГБЛ, фонд А. И. Чернышева, 8/II 219, 9. Перевод с фр.

¹⁴ ЦГАОР, ф. 678, оп. 1, № 737, л. 5об. — 6. Перевод с фр.

¹⁵ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 1642, л. 17—18. Перевод с фр.

Опубл. Ф. Ф. Майским в статье «М. Ю. Лермонтов и Карамзины». — В сб.: Михаил Юрьевич Лермонтов. Ставрополь, 1960, с. 126.

- ¹⁶ ЦГВИА, ф. 395, инспекторского департамента военного министерства, отд. 1, стол 2, св. 1276, № 916.
- ¹⁷ ЦГАЛИ, ф. 1268, № 26.
- ¹⁸ ЦГАОР, ф. 728, оп. 1, ч. 2, № 1817, ч. III, л. 129.
- ¹⁹ Там же, ч. IV, л. 250об. — 251.
- ²⁰ Приказы по Отдельному гвардейскому корпусу.
- ²¹ ЦГВИА, ф. 395, инспекторского департамента военного министерства, отд. 1, стол 2, св. 1274, № 636, 26.III.1840 г.
- ²² Там же, стол 4, св. 1242, № 577, 21.III.1840 г. (Переписка не сохранилась.)
- ²³ ЦГАОР, ф. 728, оп. 1, ч. I, № 1467 (В), л. 15—15об. Перевод с фр.
- ²⁴ ИРЛИ, ф. 309, № 4715, л. 107.
- ²⁵ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 3271, л. 155.
- ²⁶ Викторов (Бурцев) Н. «Кружок шестнадцати». — Исторический вестник, 1895, № 10, с. 181.
- ²⁷ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 1702. Перевод с фр.
- ²⁸ ИРЛИ, ф. 309, № 319.
- ²⁹ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 3217, л. 139об., 140.
- ³⁰ Савинов А. Лермонтов и художник Г. Г. Гагарин. — Литературное наследство, 1948, № 45-46, с. 433—472.
- ³¹ ГБЛ, ф. 99.
- ³² Остафьевский архив князей Вяземских, т. IV. СПб., 1899, с. 39.
- ³³ ГБЛ, ф. 265. Письма И. С. Гагарина к Ю. Ф. Самарину.
- ³⁴ См. примеч. 32, с. 46, 49.
- ³⁵ Мануйлов В. Летопись жизни и творчества М. Ю. Лермонтова. М. — Л., Наука, 1964, с. 107—110.
- ³⁶ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 3271, л. 97об., 99об., 122об.
- ³⁷ ЦГИА, ф. 908, оп. 1, № 4, л. 41, 41об.
- ³⁸ См. примеч. 33.
- ³⁹ Бильбасов В. А. Ю. Ф. Самарин и И. С. Гагарин. — Новое слово, 1894, кн. 2, с. 39.
- ⁴⁰ ИРЛИ, ф. 309, № 319.
- ⁴¹ Бухштаб Б. «Благодарность». — Литературное наследство, 1952, № 58, с. 408.
- ⁴² Это мое наблюдение повторено без ссылки на первоисточник в статье Э. Э. Найдича «Стихотворение «М. А. Щербатовой» (Лермонтов и Е. Н. Гребенка)». — В кн.: М. Ю. Лермонтов. Исследования и материалы. Л., Наука, 1979, с. 407—408.
- ⁴³ Лермонтов М. Ю. Полн. собр. соч., т. 1. М., Правда, 1953, с. 399.
- ⁴⁴ Лермонтов М. Ю. Собр. соч. в 4-х томах, т. 1. М., Изд-во АН СССР, 1959, с. 699.
- ⁴⁵ Кулешов В. И. «Отечественные записки» и литература 40-х годов XIX в. М., 1958, с. 50.

⁴⁶ Эйхенбаум Б. М. Статьи о Лермонтове. М. — Л., Изд-во АН СССР, 1961, с. 105—106.

⁴⁷ Герштейн Э м м а. Лермонтов и кружок «шестнадцати». — Литературный критик, 1940, № 10-11, с. 263—264.

⁴⁸ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 3217, л. 180—180об.

⁴⁹ Дневник А. И. Тургенева. — ИРЛИ, ф. 309, № 316, л. 15об. Ср.: Боричевский И. Пушкин и Лермонтов в борьбе с придворной аристократией. — Литературное наследство, 1948, № 45-46, с. 346.

⁵⁰ См.: Орлов В. Н. Пути и судьбы (Денис Давыдов). М. — Л., 1963, с. 72—74.

⁵¹ Вяземский П. П. Собр. соч. СПб., 1893, с. 547.

⁵² Письмо к Н. Н. Пушкиной от 18 мая 1836 г. — Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. XVI. М. — Л., Изд-во АН СССР, 1949, с. 117.

⁵³ Заметки Н. М. Смирнова в передаче П. Бартенева. — Русский архив, 1882, № 1, с. 245.

⁵⁴ Герштейн Э. «Тамбовская казначейша». — Литературное наследство, 1952, № 58, с. 401—406.

⁵⁵ Русская старина, 1873, № 3, с. 386. Ср. неизданное письмо Н. М. Лонгинова к П. А. Ефремову от 27 февраля 1868 г.: «Кстати, вот две ошибки последнего издания: 1. «К портрету старого гусара» (Никол. Ив. Бухарова, которого я хорошо знал лично) и «К Бухарову» (с. 202) написаны не в 1834 году: тогда Лермонтов был еще юнкером, а в 1835, если не в 1836» (ЦГАЛИ, ф. 191, оп. 1. № 228, л. 22).

⁵⁶ Кс. Браницкий был прикомандирован к лейб-гусарскому полку 24 октября 1837 г. (ЦГВИА, ф. 395, инспекторского департамента военного министерства, отд. 1, стол 3, св. 1433, № 696). А. П. Шувалов приехал в Петербург в начале года. 27 января 1838 г. императрица записывает в дневнике: «Видела молодого Шувалова из Тифлиса» (ЦГАОР, ф. 672, оп. 1, № 415, л. 49. Перевод с нем.).

⁵⁷ Воспоминания М. Б. Лобанова-Ростовского. — ГИМ, ф. 174, № 5, л. 66об. Перевод с фр.

⁵⁸ Мещерский А. В. Из моей старины. — Русский архив, 1900, т. III, с. 617.

⁵⁹ Письмо И. К. Ламберта Я. О. Ламберту от 14 июня 1842 г. — ЦГАОР, ф. 785, оп. 1, № 134, л. 95об. Перевод с фр.

⁶⁰ ЦГАОР, ф. 632, оп. 1, № 28, л. 108.

⁶¹ Михайлова А. Н. Альбом Оленина. — Литературное наследство, 1952, № 58, с. 482—485.

⁶² Русская старина, 1873, № 3.

⁶³ Цит. по фр. переводу: Révélations sur la Russie ou l'empereur Nicolas et son empire en 1844. Paris, 1845 (trad. M. Noblet), p. 302—303.

⁶⁴ Воспоминания М. Б. Лобанова-Ростовского. — ГИМ, ф. 174, № 5, л. 88—91. Перевод с фр.

⁶⁵ См.: Вырыпаев П. А. Лермонтов. Новые материалы к биографии. Воронеж, 1972, с. 26—60.

⁶⁶ Письмо Г. А. Розена к М. М. Сперанскому от 27 июля 1835 г. — ГЛБ, фонд М. М. Сперанского.

⁶⁷ Лермонтов в переписке Карамзиных. — В кн.: М. Ю. Лермонтов. Исследования и материалы. Л., Наука, 1979, с. 344—345.

⁶⁸ См.: Тургенев И. С. Из литературных и житейских воспоминаний. — Собр. соч. в 12-ти томах, т. 10. М., Гослитиздат, 1956, с. 330—332.

⁶⁹ Сближение образа Печорина с лобановской характеристикой А. П. Шувалова ошибочно приписано в «Лермонтовской энциклопедии» (с. 628) современникам Лермонтова.

⁷⁰ Беляев А. Воспоминания о пережитом и пережитом. СПб., 1882, с. 479.

⁷¹ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 3271, л. 133об., 137об., 94об.; № 2761, л. 27об.

⁷² Воспоминания, с. 275.

⁷³ Там же, с. 305.

⁷⁴ ЦГВИА, ф. 395, инспекторского департамента военного министерства, отд. 1, стол 3, № 696.

⁷⁵ Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. XXIV. М. — Л., Изд-во АН СССР, 1961, с. 57, 68. Перевод с фр.

⁷⁶ Самарин Ю. Ф. Соч., т. XII. М., 1911, с. 423.

⁷⁷ ЦГАОР, ф. 672, оп. 1, № 86, л. 1. Записка прапорщика Нижегородского драгунского полка кн. Лобанова «Обзор последних событий на Кавказе с 1826 по 1844 гг.».

⁷⁸ Подробнее об этом см.: Андроников И. Лермонтов в Грузии в 1837 году. М., Советский писатель, 1955, с. 151 и др. (глава «Ученый татарин Али»).

⁷⁹ См. примеч. 63, с. 307. Перевод с фр.

⁸⁰ Из воспоминаний Г. И. Филиппсона. — Русский архив, 1884, кн. I, с. 370.

⁸¹ ЦГАОР, ф. 1126, оп. 1, № 334, л. 27. Перевод с фр.

⁸² Custine de marquis. La Russie en 1839, t. IV. Paris, 1843, p. 462. Ср.: Нечаев В. Воспоминания французского путешественника маркиза де Кюстина. — Русская быль, т. III, Николаевская эпоха. М., 1910, с. 125.

⁸³ Мартынов Н. С. Экспедиция действующего Кавказского отряда за Кубанью в 1837 году под начальством генерал-лейтенанта Бельянинова. — В кн.: Нарцов А. Н. Материалы для истории дворянских родов Мартыновых и Слепцовых. Приложения. Тамбов, 1904, с. 154—155.

⁸⁴ ЦГАОР, ф. 785, оп. 1, № 136, л. 103об., 104. Письмо К. О. Лам-

берта Я. О. Ламберту из Неаполя от 12(24) февраля 1840 г. № 134. Письмо И. К. Ламберта Я. О. Ламберту от 24 апреля 1840 г. из Одессы. Перевод с фр.

⁸⁵ ЦГИАЛ, ф. 1570, оп. 1, № 11, л. 2, 47, 50, 43.

⁸⁶ ЦГВИА, ф. 395, инспекторского департамента военного министерства, отд. 3, стол 1, св. 1094, № 223. «По представлению командования Отдельного кавказского корпуса о пожаловании наград генералу, штаб- и обер-офицерам, медицинским и нижним чинам и азиатцам, за отличие противу горцев в 1840 году в Большой и Малой Чечне».

⁸⁷ Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 годов. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1960, с. 215.

⁸⁸ ЦГАОР, ф. 3, отд. 109, экспед. 2, № 258.

⁸⁹ Чичерин Б. Н. Воспоминания (1803—1845). — ЦГИАМ, ф. 1154, ед. хр. 1, т. I, л. 149.

⁹⁰ Русский архив, 1884, т. II, № 5, с. 62. Примеч. П. И. Бартенева.

⁹¹ Старина и новизна, т. XVIII. СПб., 1914, с. 27.

⁹² Сборник биографий кавалергардов. 1826—1908. Составлен С. Панчулидзевым, т. IV. СПб., 1908, с. 74.

⁹³ См. кн.: Щеголев П. Е. Алексеевский рavelин. М., 1929.

⁹⁴ ЦГВИА, ф. 395, 856 инспекторского департамента военного министерства, стол 2, св. 84. По секретной части № 100.

⁹⁵ См. примеч. 92.

⁹⁶ См. примеч. 87, с. 341.

⁹⁷ ЦГАДА, ф. 1412, оп. 1, № 123, л. 7об. Перевод с фр.

⁹⁸ Русская старина, 1902, № 6, с. 633.

⁹⁹ Остафьевский архив князей Вяземских, т. IV. СПб., 1899, с. 25.

¹⁰⁰ ИРЛИ, ф. 309, № 316, л. 5.

¹⁰¹ ЦГВИА, ф. 62, оп. 1, № 15, л. 14.

¹⁰² ЦГАОР, ф. 851, оп. 1, № 17, л. 96. Перевод с фр.

¹⁰³ ЦГАОР, ф. 728, оп. 1, ч. 2, № 1193, л. 117—117об. Перевод с фр.

¹⁰⁴ ЦГВИА, ф. 395, инспекторского департамента военного министерства, отд. 1, стол 4, № 387. Начато 26 февраля 1841 г. Кончено 25 апреля 1841 г.

¹⁰⁵ Воспоминания, с. 205.

¹⁰⁶ Русская старина, 1892, № 3, с. 767. Ср.: Ученые записки Калужского гос. пед. ин-та, вып. IV, 1957, с. 190—192.

¹⁰⁷ Отечественные записки, 1841, т. XV, № 4, отд. IV, с. 68.

¹⁰⁸ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. V. М., Изд-во АН СССР, 1954, с. 455.

¹⁰⁹ ИРЛИ, ф. 309. Перевод с фр.

¹¹⁰ Воспоминания, с. 300.

- ¹¹¹ Литературное наследство, 1959, № 67, с. 635.
- ¹¹² Дружинин А. В. Собр. соч., т. VI. СПб., 1865, с. 672.
- ¹¹³ Мартьянов П. К. Дела и люди века, т. II. СПб., 1893, с. 50.
- ¹¹⁴ Тенгинский полк на Кавказе. 1819—1846. Составил поручик Ракович. Приложения. Тифлис, 1900, с. 33.
- ¹¹⁵ Дельвиг А. И. Мои воспоминания. М., 1913, т. 1, с. 296—297.
- ¹¹⁶ Андреев-Кривич С. А. Лермонтов. Вопросы творчества и биографии. М., Изд-во АН СССР, 1954, с. 95. Ср.: Андроников И. Лермонтов. М., Советский писатель, 1951, с. 277—291.
- ¹¹⁷ Богданова О. Э. Архивные материалы о П. И. Петрове — родственнике М. Ю. Лермонтова. — В сб.: Михаил Юрьевич Лермонтов. Ставрополь, 1960, с. 273—279.
- ¹¹⁸ ЦГВИА, ф. 62, оп. 1, № 76, л. 28; № 15, л. 12об.
- ¹¹⁹ Русская старина, 1871, т. III, кн. 12, с. 697—699.
- ¹²⁰ ЦГАЛИ, ф. 191, оп. 1, № 532, л. 2.
- ¹²¹ Вяземский П. А. Собр. соч., т. VIII. СПб., 1883, с. 171.
- ¹²² ЦГАОР, ф. 728, оп. 1, ч. 2, № 1817, ч. VII, л. 660.
- ¹²³ Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов, т. I. М., 1931, с. 263—264.
- ¹²⁴ См.: Шостакович С. В. Дипломатическая деятельность А. С. Грибоедова. М., 1960, с. 75.
- ¹²⁵ Из дневника А. И. Тургенева. — В кн.: Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. Исследования и материалы. Изд. 3. М. — Л., ГИЗ, 1928, с. 285.
- ¹²⁶ Андроников И. Лермонтов в Грузии в 1837 году. М., 1955, с. 201.
- ¹²⁷ Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1892, кн. 6, с. 203. Ср.: Андроников И. Лермонтов в Грузии в 1837 году, с. 203, 215.
- ¹²⁸ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. XII. М., Изд-во АН СССР, 1956, с. 57.
- ¹²⁹ Хомяков А. С. Полн. собр. соч., т. VIII. М., 1900, с. 104.
- ¹³⁰ Воспоминания, с. 277.
- ¹³¹ М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. Пенза, 1960, с. 303.
- ¹³² Кузминский Н. А. Дуэль Лермонтова с Мартыновым. — Петербургская газета, 1887, 13 июля, с. 4.
- ¹³³ Бродский Н. Л. Дуэль и смерть Лермонтова в откликах современников. — Литературный критик, 1939, № 10-11, с. 250.
- ¹³⁴ Висковатов, с. 368.
- ¹³⁵ См.: Андроников И. Лермонтов в Грузии в 1837 году. М., Советский писатель, 1955.

- ¹³⁶ См. примеч. 134.
- ¹³⁷ Мартьянов П. К. Дела и люди века, т. II. СПб., 1893, с. 93—94.
- ¹³⁸ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. V, 1954, с. 455.
- ¹³⁹ Эйхенбаум Б. М. Статьи о Лермонтове. М. — Л., Изд-во АН СССР, 1961, с. 284—285.
- ¹⁴⁰ Бобров Е. А. Из истории русской литературы XVIII и XIX столетий. — Известия ОРЯС, т. XIV, кн. 1, 1909, с. 90—91.
- ¹⁴¹ ЦГАОР, ф. 728, оп. 1, ч. 2, № 1817, т. II, л. 62; № 1826, л. 13.
- ¹⁴² Воспоминания, с. 363.
- ¹⁴³ Беляев А. Воспоминания о пережитом и пережитом. СПб., 1882, с. 456.
- ¹⁴⁴ См.: Любавский А. Д. Русские уголовные процессы, т. II. СПб., 1886, с. 39—43; Русский архив, 1900, т. III, с. 617.
- ¹⁴⁵ Васильки. Лит.-худ. сборник. СПб., 1901, с. 426.
- ¹⁴⁶ Дневник П. А. Валуева, министра внутренних дел. В 2-х томах, т. II, 1865—1876. М., Изд-во АН СССР, 1961, с. 355.
- ¹⁴⁷ Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. II, 1954, с. 257, 387—388.
- ¹⁴⁸ Лесков Н. С. Собр. соч. в 11-ти томах, т. XI. М., Гослитиздат, 1958, с. 418.
- ¹⁴⁹ Тургенев И. С. Собр. соч. в 12-ти томах, т. XII. М., Гослитиздат, 1958, с. 338.
- ¹⁵⁰ Вяземский П. А. Собр. соч., т. X, 1886, с. 26. Ср.: Ашуккина - Зенгер М. О воспоминаниях В. В. Боборыкина о Лермонтове. — Литературное наследство, 1948, № 45-46, с. 759.
- ¹⁵¹ См. примеч. 149, с. 340.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ДРУГ

- ¹ Библиотека для воспитания, 1845, отд. 1, ч. II, с. 1—11.
- ² Русская лирическая поэзия для девиц. Ред. Вл. Стоюнина. СПб., 1859, с. 190.
- ³ Русское слово, 1860, № 5, отд. II, с. 56.
- ⁴ Кавказ, 1853, № 47. Ср.: Русский архив, 1893, № II, с. 380.
- ⁵ Московские ведомости, 1953, 13 июня, № 71; Справочный энциклопедический словарь, издающийся под редакцией А. Старчевского, т. VII (Л — Мар). Прибавление. СПб., 1853.
- ⁶ Пантеон, 1853, № 9, с. 37—38.
- ⁷ С.-Петербургские ведомости, 1856, 16 июня.
- ⁸ Библиотека для чтения, 1852, № 1, с. 119—120. Ср.: Дружинин А. В. Полн. собр. соч., т. VI. СПб., 1865, с. 564.
- ⁹ Москвитянин, 1852, № 3, отд. V, с. 93.

¹⁰ ЦГАЛИ, ф. 168, оп. 1, № 108, л. 86об.

¹¹ Там же, № 53, л. 2.

¹² Там же, № 103, л. 92.

¹³ См. примеч. 11.

¹⁴ Ахматова Е. Н. Знакомство с А. В. Дружининым. — Русская мысль, 1891, № 12, с. 135.

¹⁵ Дружинин А. В. Полн. собр. соч., т. VI, 1865, с. 762.

¹⁶ ЦГАЛИ, ф. 168, оп. 1, № 109; л. 2.

¹⁷ Там же, л. 3.

¹⁸ Библиотека для чтения, 1852, № 8, отд. VI, с. 69. Принадлежность этой неподписанной рецензии А. В. Дружинину установлена мною.

¹⁹ См. примеч. 15, с. 431.

²⁰ ЦГАЛИ, ф. 168, оп. 1, № 93.

²¹ Литературная летопись. — Библиотека для чтения, 1860, № 9, с. 6. Принадлежность этой неподписанной заметки А. В. Дружинину установлена Н. В. Гербелем (Дружинин А. В. Полн. собр. соч., т. II, 1865, с. 596).

²² Воспоминания, с. 233.

²³ Там же, с. 288.

²⁴ Висковатов, с. 418.

²⁵ Местонахождение «дороховского» альбома Лермонтова, так же как и альбома самого Дорохова с рисунками и шуточными стихами поэта, должно будет еще служить предметом специальных разысканий.

²⁶ Неизвестный до сих пор факт из биографии Лермонтова о предполагавшейся его дуэли с Дороховым проливает свет на одно из французских писем, приписываемых поэту, скопированное неизвестной рукой и вклеенное вместе с несколькими другими подобными отрывками в тетрадь с ранними стихотворениями Лермонтова (см.: Мануйлов В. А. Утраченные письма Лермонтова. — Литературное наследство, 1948, № 45-46, с. 51—52). В одном из отрывков корреспондент рассказывает о своем вызове на дуэль офицера, который был старше его на десять лет, составил себе репутацию участием в двадцати поединках и битвах и отличался горячностью. Можно думать, что это выписка из письма Лермонтова к неизвестному лицу, в котором описывается его ссора с Дороховым. Это предположение поддерживается тем, что на обороте листа с отрывком переписано французское четверостишие, рисующее образ рыцаря-воина, соответствующий романтическому облику Руфина Дорохова:

«La guerre est ma patrie,
Mon harnois — ma maison,
Et en toute, saison
Combattre c'est ma vie».

Перевод

Моя родина — война,
И латы — вот мой дом,
И всюду и всегда
Сражаться — жизнь моя.

²⁷ Тифлисский листок, 1902, 17 апреля, с. 2. Е. Г. Вейденбаум, в распоряжении которого был формулярный список Дорохова, говорит, что он погиб в январе 1852 г., на сорок шестом году жизни. В формулярном списке Дорохова, составленном 17 февраля 1841 г., сказано, что ему тридцать пять лет (*ЦГВИА*, ф. 395, оп. 147/455, л. 223, ч. IV, л. 743—754). Подлинная дата рождения, 1801 г., установлена С. К. Кравченко по письму Р. И. Дорохова к М. В. Юзефовичу от 17 августа 1833 г., когда он пишет: «мне 32 года, прошу не прибавлять» (*Радянське літературознавство*, 1971, № 9, с. 84).

²⁸ Овсянников Н. Н. К биографии Жуковского (Неизданные письма его к М. А. Дороховой). — *Исторический вестник*. 1895, № 3, с. 934.

²⁹ Письмо К. Я. Булгакова к А. Я. Булгакову от 15 сентября 1819 г. — *Русский архив*, 1903, № 11, с. 338.

³⁰ Записки М. И. Пушина. — *Русский архив*, 1908, № 3, с. 424.

³¹ Тифлисский листок, 1902, 17 апреля, с. 2.

³² *Русский архив*, 1908, № 3, с. 514.

³³ Воспоминания декабриста А. С. Гангелова. М., 1888, с. 180—181.

³⁴ Пушин М. И. Встреча с Пушкиным за Кавказом. — В кн.: Пушин И. И. Записки о Пушкине. Письма. М., 1956, с. 366.

³⁵ Воспоминания декабриста А. С. Гангелова, с. 181.

³⁶ А. С. Гангелов считает, что столкновение Д. П. Папкова с Дороховым на улице произошло в Петербурге в 1849 г. Папков действительно приехал 22 февраля этого года в Петербург (см.: *С.-Петербургские ведомости*, 1849, 25 января, с. 76). Остается неясным, было ли в это время еще второе столкновение Дорохова с Папковым.

³⁷ *Архив Раевских*, т. II. СПб., 1909, с. 243.

³⁸ *ГБЛ*, ф. 120/14/8, письмо 13, л. 5об. Перевод с фр.

³⁹ *Исторический вестник*, 1895, № 3, с. 934.

⁴⁰ См. примеч. 37, с. 413.

⁴¹ Письмо Р. И. Дорохова к И. П. Липранди от 10 августа 1849 г. — *ГБЛ*, М., 8553, 70.

⁴² Письмо А. М. Дороховой (ур. Плещеевой) к В. А. Жуковскому от 12 мая 1838 г. — *ГБЛ*, ф. /4/, 35. Перевод с фр.

⁴³ Федоров М. Ф. Походные записки на Кавказе с 1835 по 1842 г. — В кн.: *Кавказский сборник*, III. Тифлис, 1879, с. 194.

⁴⁴ Из дневника и записной книжки графа П. Х. Граббе. — *Русский архив*, 1888, № 10, с. 394.

⁴⁵ См. примеч. 41.

⁴⁶ Тифлисский листок, 1902, 17 апреля, с. 2.

⁴⁷ См. примеч. 27.

⁴⁸ Потто В. История 44-го драгунского Нижегородского полка, ч. IV. СПб., 1894, с. 125.

⁴⁹ Вацуро В. Э. Новые материалы о дуэли и смерти Лермонтова (Письмо А. С. Траскина к П. Х. Граббе). — Русская литература, 1974, № 1, с. 125.

⁵⁰ Нива, 1885, № 8, с. 186.

⁵¹ Дуэль Лермонтова с Мартыновым. — Петербургская газета, 1887, 13 июля, с. 4.

Заметка является перепечаткой из «Курского листка» от 2, 9 июля 1887 г. В книге С. В. Чекалина «Наедине с тобою, брат...» (Ставрополь, 1984, с. 147—152) опубликовано продолжение статьи Кузмицкого из «Курского листка» от 16 июля. Оно содержит резко отрицательные, но субъективные характеристики Мартынова и Васильчикова.

⁵² Север, 1891, № 12, с. 747.

⁵³ Записки Екатерины Александровны Хвостовой, рожденной Сушковой. — Материалы для биографии М. Ю. Лермонтова. СПб., 1870, с. 250.

⁵⁴ См. примеч. 33, с. 182.

⁵⁵ Нива, 1885, № 20, с. 475.

⁵⁶ Север, 1891, № 12, с. 748.

⁵⁷ Висковатов, с. 421, 420, 426.

⁵⁸ Сборник литературных статей, посвященных русскими писателями памяти покойного книгопродавца А. Ф. Смирдина, т. III. СПб., 1858, с. 356. Ср.: Лермонтов М. Ю. Соч., т. 2, с. 378.

ТАЙНЫЙ ВРАГ

¹ Висковатов, с. 420.

² Русский архив, 1872, № 1, стлб. 205—213.

³ Воспоминания, с. 227.

⁴ Дневник А. С. Суворина. М. — Пг., 1923, с. 206.

⁵ М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. Составители В. А. Мануйлов и М. И. Гиллельсон. Пенза, 1960, с. 266. Переиздавая эту книгу в 1964 г. (Москва), составители отказались от этой аргументации, но она продолжает иметь хождение среди литераторов.

⁶ Воспоминания М. Б. Лобанова-Ростовского. — ГИМ, ф. 174, № 5. Перевод с фр.

⁷ Кн. А. И. Васильчиков. 1818—1881. Биографический очерк. Составил А. Голубев. СПб., 1882.

⁸ ЦГИАЛ, ф. 651, оп. 1, № 660, л. 1об. Перевод с фр.

- ⁹ Там же, № 668. Перевод с фр.
- ¹⁰ Там же, № 669, л. 5. Перевод с фр.
- ¹¹ Там же, № 671, л. 2об.
- ¹² Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 годов. М. — Л., Изд-во АН СССР, 1960, с. 215.
- ¹³ ИРЛИ, ф. 274, оп. 1, № 16, л. 121—122.
- ¹⁴ См. примеч. 7.
- ¹⁵ ЦГИАЛ, ф. 651, оп. 1, № 677, л. 1.
- ¹⁶ Там же, № 622.
- ¹⁷ Там же, № 699.
- ¹⁸ Там же, персвод с фр.
- ¹⁹ Там же, № 671, л. 4.
- ²⁰ Поляков А. С. О смерти Пушкина. Пг., ГИЗ, 1922, с. 36—45.
- ²¹ См. примеч. 10, л. 4—4об.
- ²² См. примеч. 9.
- ²³ Вяземский П. П. Собр. соч. СПб., 1893, с. 560.
- ²⁴ Воспоминания, с. 363.
- ²⁵ ЦГИАЛ, ф. 651, оп. 1, № 571. Перевод с фр.
- ²⁶ Там же, ф. 1268, оп. 1, № 26.
- В тот же день, 9 июня, Васильчиков впервые купил билеты на ванны (см.: Недумов С. И. Лермонтовский Пятигорск. Ставрополь, 1974, с. 130). Это подтверждает дату его приезда в Пятигорск.
- ²⁷ ЦГИАЛ, ф. 1261, оп. 1, № 22, л. 19. Ср. мою публикацию «Некоторые данные об А. И. Васильчикове» (в сб.: Михаил Юрьевич Лермонтов. Ставрополь, 1960, с. 291—292).
- ²⁸ Воспоминания, с. 373.
- ²⁹ Висковатов, с. 304.
- ³⁰ Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. II. М. — Л., Изд-во АН СССР, 1954, с. 267.
- ³¹ Там же, т. VIII, с. 124.
- ³² См.: Бронштейн Н. Доктор Майер. — Литературное наследство, 1948, № 45-46, с. 473—496.

ДУЭЛЬ И СМЕРТЬ

- ¹ ЦГВИА, ф. 395, инспекторского департамента военного министерства, отд. 1, стол 4, № 635.
- ² ЦГАОР, ф. 728, оп. 1, ч. 2, № 1817, ч. IV, л. 143.
- ³ ЦГВИА, ф. 62, оп. 1, № 15, л. 29, 5об. — 6.
- ⁴ Временник Гос. музея «Домик Лермонтова», т. I. Пятигорск, 1947, с. 21.
- ⁵ ЦГАОР, ф. 309, эксп. 2, № 228.
- ⁶ Ср.: Латышев С., Мануйлов В. Как погиб Лермонтов. — Русская литература, 1966, № 2, с. 108.

⁷ Ср.: Недумов С. И. Лермонтовский Пятигорск. Ставрополь, 1974, с. 224, 271.

⁸ Вацуро В. Э. Новые материалы о дуэли и смерти Лермонтова. — Русская литература, 1974, № 1, с. 181—192.

⁹ Андреев-Кривич С. А. М. Ю. Лермонтов в Кабардино-Балкарии. Нальчик, Эльбрус, 1979, с. 152.

¹⁰ Русская старина, 1887, № 6, с. 678.

¹¹ Соколов Л. Около смерти М. Ю. Лермонтова. Киев, 1915, с. 6, 10.

¹² Литературное наследство, 1952, № 58, с. 490.

¹³ См. выше, главу «Неизвестный друг».

¹⁴ Вестник знания, 1928, № 3, с. 131.

¹⁵ Литературное наследство, 1948, № 45-46, с. 715—719.

¹⁶ ЦГВИА, ф. 395, оп. 147/455, № 223, ч. 1.

¹⁷ Новые данные о друге Лермонтова М. В. Дмитриевском, ошибочно фигурировавшем в лермонтоведении как И. Д. Дмитриевский, приведены в статьях И. С. Чистовой и В. С. Шадури (в кн.: М. Ю. Лермонтов. Исследования и материалы. Л., Наука, 1979, с. 199, 209).

¹⁸ ИРЛИ, ф. 309.

¹⁹ Дневник А. С. Пушкина. 1833—1836. Под ред. Б. Л. Молзалева. М. — Пг., ГИЗ, 1923, с. 204.

²⁰ Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, т. 3. СПб., 1896, с. 575.

²¹ Меринский А. Воспоминания. — Атней, 1858, № 48, ч. VI, с. 288.

²² Все сочинения Василия Александровича Воилярлярского. СПб., 1853, ч. 1, с. III.

²³ Русский архив, 1893, кн. 8, с. 587.

²⁴ Мануйлов В. А. Записки неизвестного гусара о Лермонтове. — Звезда, 1936, № 5, с. 187.

²⁵ Воспоминания, с. 222—223.

²⁶ Нива, 1885, № 7, 8.

²⁷ Висковатов, с. 404.

²⁸ Воспоминания, с. 347.

²⁹ Огарев Н. П. Избранные произведения, т. 2. М., Гослитиздат, 1956, с. 381.

³⁰ Мартынов Н. С. Гуаша. — Русский архив, 1898, № 1, с. 318.

³¹ Нарцов А. Н. Материалы для истории дворянских родов Мартыновых и Слепцовых. Тамбов, 1904, с. 147.

³² ГБЛ, ф. 90, картон 5, № 29.

³³ Забелла И. П. Из моих воспоминаний. — ГПБ, фонд С. Н. Шубинского.

³⁴ Русский архив, 1893, № 8, с. 601.

85. Радянське літературознавство, 1973, № 1, с. 68—77.
86. *ИРЛИ*, ф. 524, оп. 1, № 23, л. 28—33.
87. Сборник биографий кавалергардов. 1826—1908. Составлен С. Панчулидзевым, т. IV. СПб., 1908. Статья «Н. С. Мартынов».
88. Маркевич А. Заметки к биографии М. Ю. Лермонтова. — Русский архив, 1900, № 12, с. 623.
89. *Висковатов*, с. 445.
90. Русский архив, 1887, № 1, с. 114.
91. Там же, 1900, № 9, с. 80.
92. *ЦГВИА*, ф. 395, инспекторского департамента военного министерства, отд. 1, стол 4, св. 1288, № 296.
93. *ЦГВИА*, ф. 395, оп. 147/455, № 223, ч. 1 и 2.
94. Голицын В. М. Воспоминания («Старая Москва»), ч. II, с. 56. — *ЦГАЛИ*, ф. 1337.
95. Петербургская газета. 1916, 5 июля, с. 2.
96. Герштейн Э. Г. Отклики современников на смерть Лермонтова. — В кн.: М. Ю. Лермонтов. Статьи и материалы. М., Соцэкгиз, 1939, с. 66 и 67.
97. Т. Н. Грановский и его переписка. М., 1897, т. II, с. 128. Перевод с фр.
98. Литературное наследство, 1952, № 58, с. 492.
99. Современник, 1861, № 2, Современное обозрение, с. 327.
100. Русский архив, 1893, № 2, с. 612.
101. Новое время, 1892, 6 марта.
102. См. примеч. 50.
103. См. примеч. 51.
104. Дневник А. И. Тургенева. — *ИРЛИ*, ф. 309.
105. *ГИМ*, ф. 445. Перевод с фр.
106. *ЦГАЛИ*, ф. 195, оп. 1, № 3271, л. 168об.
107. Из моей старины. Воспоминания кн. А. В. Мещерского. — Русский архив, 1900, № 10, с. 293.
108. *ГИМ*, ф. 174, № 5. Перевод с фр.
109. См. примеч. 56, л. 175 и 169.
110. Остафьевский архив князей Вяземских, т. IV. СПб., 1899, с. 123.
111. *ИРЛИ*, ф. 309, № 4715, л. 114.
112. *ЦГАОР*, ф. 728, оп. 1, № 1193, л. 112. Перевод с фр.
113. Там же, ф. 728, оп. 1, ч. 2, № 1817, т. IV, л. 250об.
114. *ЦГАЛИ*, ф. 195, оп. 1, № 3271, л. 178об. и 183об.
115. Нива, 1885, № 20, с. 474.
116. Нечаева В. С. Суд над убийцами Лермонтова. — М. Ю. Лермонтов. Статьи и материалы, с. 60, 53, 58.
117. Русский архив, 1889, № 6, с. 317.
118. Русское обозрение, 1898, № 1.
119. Русский архив, 1893, № 8, с. 604, 607, 610.

- ⁷⁰ Мартьянов П. К. Новые сведения о Лермонтове. — Исторический вестник, 1893, № 11, с. 380.
- ⁷¹ ГБЛ, 386/128, 44. Фонд В. Я. Брюсова, связанного с редакцией «Русского архива» в 1898—1899 гг. В этот журнал первоначально была дана статья С. Н. Мартынова (см. примеч. 68).
- ⁷² Мануйлов В. Отклик современника на смерть Лермонтова. — Литературное наследство, 1948, № 45-46, с. 720.
- ⁷³ Сочинения Лермонтова с портретом его, двумя снимками почерка и статьей о Лермонтове А. Пыпина. Изд. 3. Под ред. П. Ефремова. 1873, с. IX, XXIII.
- ⁷⁴ Вестник Европы, 1869, № 8.
- ⁷⁵ Эйхенбаум Б. М. Смысловая основа «Героя нашего времени». — Вопросы литературы, 1961, № 2.
- ⁷⁶ ИРЛИ, ф. 524, оп. 1, № 21, л. 4—6.
- ⁷⁷ Воспоминания, с. 225—226.
- ⁷⁸ ЦГАОР, ф. 728, оп. 1, ч. 2, № 1817, т. IV, л. 293—293об., 252, 259, 264об.
- ⁷⁹ Литературное наследство, 1948, № 45-46, с. 712.
- ⁸⁰ Андреев-Кривич С. А. М. Ю. Лермонтов в Кабардино-Балкарии. Нальчик, Эльбрус, 1979, с. 155.
- ⁸¹ Мартьянов П. К. Дела и люди века, т. II. СПб., 1893, с. 10—11.
- ⁸² Висковатов, с. 423.
- ⁸³ См. примеч. 66.
- ⁸⁴ Петербургская газета, 1887, 13 июля, с. 4.
- ⁸⁵ См. примеч. 82.
- ⁸⁶ Литературное наследство, 1952, № 58, с. 490.
- ⁸⁷ Нива, 1880, № 20, с. 475.
- ⁸⁸ Кавказский сборник, т. III. Тифлис, 1879, с. 194.
- ⁸⁹ Семенов Л. П. А. И. Васильчиков о дуэли и смерти Лермонтова. — Ученые записки Северо-Осетинского государственного педагогического института им. К. Л. Хетагурова, т. II (XV), вып. 1, 1940, с. 77—84.
- ⁹⁰ Акт от 16 июля 1841 г. об осмотре места дуэли Лермонтова с Мартыновым. — М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. Пенза, 1960, с. 304.
- ⁹¹ Исторический вестник, 1893, № 1, с. 35.
- ⁹² ЦГИАЛ, ф. 651, оп. 1, № 679, л. 2об.
- ⁹³ См.: Недумов С. И. Лермонтовский Пятигорск. Ставрополь, 1974.
- ⁹⁴ А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. В 2-х томах, т. 1. М., Художественная литература, 1974, с. 404.
- ⁹⁵ Хамар-Дабанов Е. Прodelки на Кавказе. СПб., 1844, ч. II, с. 40.
- ⁹⁶ Висковатов, с. 304.

- ⁹⁷ Ашукина-Зенгер М. О воспоминаниях В. В. Боборыкина о Лермонтове. — Литературное наследство, 1948, № 45-46, с. 760.
- ⁹⁸ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. в 90-ти томах, т. 47. М., Гослитиздат, 1937, с. 22.
- ⁹⁹ Каплан Л. А. Я. Булгаков о дуэли и смерти Лермонтова. — Литературное наследство, 1948, № 45-46, с. 710.
- ¹⁰⁰ Письмо А. Я. Булгакова к А. И. Тургеневу. — *ИРЛИ*, ф. 309.
- ¹⁰¹ См. примеч. 46, с. 67.
- ¹⁰² Бродский Н. Л. Дуэль и смерть Лермонтова в откликах современников. — Литературный критик, 1939, № 10-11, с. 250—251.
- ¹⁰³ *Воспоминания*, с. 350.
- ¹⁰⁴ Наблюдатель, 1881, № 1. Перепечатано в кн.: Кн. А. И. Васильчиков. 1818—1881. Биографический очерк. Составил А. Голубев. СПб., 1882.
- ¹⁰⁵ *Висковатов*, с. 424—425.
- ¹⁰⁶ См. примеч. 89.
- ¹⁰⁷ *ИРЛИ*, ф. 309.
- ¹⁰⁸ Русский архив, 1893, № 8, с. 599.
- ¹⁰⁹ *ИРЛИ*, ф. 524, оп. 1, № 26, л. 47.
- ¹¹⁰ См. примеч. 66, с. 60.
- ¹¹¹ Павлов Д. М. Суд над участниками лермонтовской дуэли. Б. м. и б. г.
- ¹¹² *ИРЛИ*, ф. 524, № 21, л. 73—74.
- ¹¹³ *Воспоминания*, с. 286.
- ¹¹⁴ Русский архив, 1885, № 3, с. 462.
- ¹¹⁵ Русское обозрение, 1898, № 1.
- ¹¹⁶ См. примеч. 114.
- ¹¹⁷ Самарин Ю. Ф. Соч., т. XII. М., 1911, с. 57.
- ¹¹⁸ Московские ведомости, 1891, 2 мая.
- ¹¹⁹ См. примеч. 33.
- ¹²⁰ Шкловский В. Б. За и против. Заметки о Достоевском. М., 1957, с. 232.
- ¹²¹ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти томах, т. 5. Л., Наука, 1973, с. 147.
- ¹²² Там же, т. 9, с. 114, 123; т. 11, с. 33, 50, 59.
- ¹²³ Там же, т. 14, с. 276 и далее.
- ¹²⁴ Русская старина, 1896, № 2, с. 316.
- ¹²⁵ См. примеч. 115.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Дуэль с Барантом	6
Лермонтов и двор	36
За страницами «Большого света»	78
Лермонтов и П. А. Вяземский	107
«Кружок шестнадцати»	129
Неизвестный друг	218
Тайный враг	241
Дуэль и смерть	255
Послесловие	322
Примечания	324

Эмма Григорьевна Герштейн

СУДЬБА ЛЕРМОНТОВА

Редактор С. Краснова

Художественный редактор

А. Максимов

Технический редактор

Л. Ковнацкая

Корректор Т. Сидорова

ИБ № 3390

Сдано в набор 19.04.85. Подписано к печати 30.04.86. А 10534. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 18,48+1 вкл.=18,53. Усл. кр.-отт. 18,53. Уч.-изд. л. 20,25+1 вкл.=20,28. Тираж 50 000 экз. Изд. № IX-811. Заказ № 1120. Цена 95 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 190000, Ленинград, центр, Красная ул., 1/3.

9516

Э. Герштон ❀ СУДЬБА ЛЕРМОНТОВА ❀